

С. ДОВЛАТОВ

ЗОНА
КОМПРОМИСС
ЗАПОВЕДНИК



ПИК
МОСКВА

С. ДОВЛАТОВ

ЗОНА
записки
надзирателя

КОМПРОМИСС

ЗАПОВЕДНИК

ПИК
Независимое издательство

МОСКВА

1991

Художник
ПЕТР ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ

© Независимое издательство ПИК, 1991
© Оформление Петра Перевезенцева

ISBN 5-7358-0002-7

ПИСЬМО ИЗДАТЕЛЮ

4 февраля 1982 года. Нью-Йорк

Дорогой Игорь Маркович!

Рискую обратиться к Вам с деликатным предложением. Суть его такова.

Вот уже три года я собираюсь издать мою лагерную книжку. И все три года — как можно быстрее.

Более того, именно «Зону» мне следовало напечатать ранее всего остального. Ведь с этого началось мое злополучное писательство.

Как выяснилось, найти издателя чрезвычайно трудно. Мне, например, отказали двое. И я не хотел бы этого скрывать.

Мотивы отказа почти стандартны. Вот, если хотите, основные доводы:

Лагерная тема исчерпана. Бесконечные тюремные мемуары надоели читателю. После Солженицына тема должна быть закрыта...

Эти соображения не выдерживают критики. Разумеется, я не Солженицын. Разве это лишает меня права на существование?

Да и книги наши совершенно разные. Солженицын описывает политические лагеря. Я — уголовные. Солженицын был заключенным. Я — надзирателем. По Солженицыну лагерь — это ад. Я же думаю, что ад — это мы сами...

Поверьте, я не сравниваю масштабы дарования. Солженицын — великий писатель и огромная личность. И хватит об этом.

Другое соображение гораздо убедительнее. Дело в том, что моя рукопись законченным произведением не является.

Это — своего рода дневник, хаотические записки, комплект неорганизованных материалов.

Мне казалось, что в этом беспорядке прослеживается общий художественный сюжет. Там действует один лирический герой. Соблюдено некоторое единство места и времени. Декларируется в общем-то единственная банальная идея — что мир абсурден...

Издателей смущала такая беспорядочная фактура. Они требовали более стандартных форм.

Тогда я попытался навязать им «Зону» в качестве сборника рассказов. Издатели сказали, что это нерентабельно. Что публика жаждет романов и эпосей.

Дело осложнялось тем, что «Зона» приходила частями. Перед отъездом я сфотографировал рукопись на микроплёнку. Куски ее мой душеприказчик раздал нескольким отважным француженкам. Им удалось провезти мои сочинения через таможенные кордоны. Оригинал находится в Союзе.

В течение нескольких лет я получаю крошечные бандероли из Франции. Пытаюсь составить из отдельных кусочков единое целое.

Местами плёнка испорчена. (Уж не знаю, где ее прятали мои благодетельницы.) Некоторые фрагменты утрачены полностью.

Восстановление рукописи с плёнки на бумагу — дело кропотливое. Даже в Америке с ее технической мощью это не легко. И, кстати, недешево.

На сегодняшний день восстановлено процентов тридцать.

С этим письмом я высылаю некоторую часть готового текста. Следующий отрывок вышлю через несколько дней. Остальное получите в ближайшие недели. Завтра же возьму напрокат фотоувеличитель.

Может быть, нам удастся соорудить из всего этого законченное целое. Кое-что я попытаюсь восполнить своими безответственными рассуждениями.

Главное — будьте снисходительны. И, как говорил зек Хамраев, отправляясь на мокрое дело, — с Богом!..

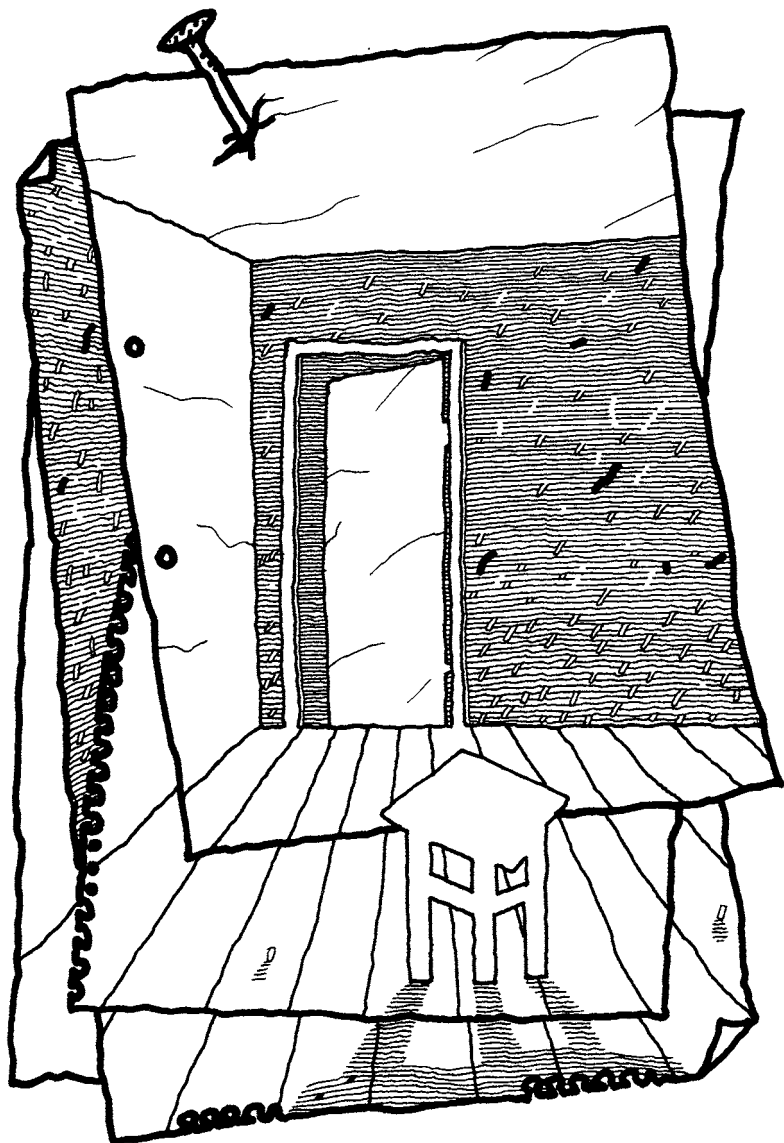
Имена, события, даты — все здесь подлинное. Выдумал я лишь те детали, которые несущественны.

Поэтому всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным. А всякий художественный домысел — непредвиденным и случайным.

Автор

ЗОНА

Записки
Надзирателя



Старый Калью Пахапиль ненавидел оккупантов. А любил он, когда пели хором, горькая брага нравилась ему да маленькие толстые ребятишки.

— В здешних краях должны жить одни эстонцы, — говорил Пахапиль, — и больше никто. Чужим здесь нечего делать...

Мужики слушали его, одобрительно кивая головами.

Затем пришли немцы. Они играли на гармошках, пели, угощали детей шоколадом. Старому Калью все это не понравилось. Он долго молчал, потом собрался и ушел в лес.

Это был темный лес, издали казавшийся непроходимым. Там Пахапиль охотился, глушил рыбу, спал на еловых ветках. Короче — жил, пока русские не выгнали оккупантов. А когда немцы ушли, Пахапиль вернулся. Он появился в Раквере, где советский капитан наградил его медалью. Медаль была украшена четырьмя непонятными словами, фигурой и восклицательным знаком.

«Зачем эстонцу медаль?» — долго раздумывал Пахапиль.

И все-таки бережно укрепил ее на лацкане шевиотового пиджака. Этот пиджак Калью надевал только раз — в магазине Лансмана.

Так он жил и работал стекольщиком. Но когда русские объявили мобилизацию, Пахапиль снова исчез.

— Здесь должны жить эстонцы, — сказал он, уходя, — а ванькам, фрицам и различным гренланам тут не место!..

Пахапиль снова ушел в лес, только издали казавшийся непроходимым. И снова охотился, думал, молчал. И все шло хорошо.

Но русские предприняли облаву. Лес огласился криком. Он стал тесным, и Пахапиля арестовали. Его судили как дезертира, били, плевали в лицо. Особенно старался капитан, подаривший ему медаль.

А затем Пахапиля сослали на юг, где живут казахи. Там он вскоре и умер. Наверное, от голода и чужой земли...

Его сын Густав окончил мореходную школу в Таллинне, на улице Луйзе, и получил диплом радиста.

По вечерам он сидел в Мюнди-баре и говорил легкомысленным девушкам:

— Настоящий эстонец должен жить в Канаде! В Канаде, и больше нигде...

Летом его призвали в охрану. Учебный пункт был расположен на станции Иоссер. Все делалось по команде: сон, обед, разговоры. Говорили про водку, про хлеб, про коней, про шахтерские заработки. Все это Густав ненавидел и разговаривал только по-своему. Только по-эстонски. Даже с карaulьными псами.

Кроме того, в одиночестве — пил, если мешали — дрался. А также допускал — «инциденты женского порядка». (По выражению замполита Хуриева.)

— До чего вы эгоцентричный, Пахапиль! — осторожно корил его замполит.

Густав смущался, просил лист бумаги и коряво выводил:

«Вчера, сего года, я злоупотребил алкогольный напиток. После чего уронил в грязь солдатское достоинство. Впредь обещаю. Рядовой Пахапиль».

После некоторого раздумья он всегда добавлял:

«Прошу не отказать».

Затем приходили деньги от тетушки Рээт. Пахапиль брал в магазине литр шартреза и отправлялся на кладбище. Там в зеленом полумраке белели кресты. Дальше, на краю водоема, была запущенная могила и рядом — фанерный обелиск. Пахапиль грузно садился на холмик, выпивал и курил.

— Эстонцы должны жить в Канаде, — тихо бормотал он под мерное гудение насекомых.

Они его почему-то не кусали...

Ранним утром прибыл в часть невзрачный офицер. Судя по очкам — идеологический работник. Было объявлено собрание.

— Заходи в ленкомнату, — прокричал дневальный солдатам, курившим около гимнастических брусев.

— Политику не хаваем! — ворчали солдаты.

Однако зашли и расселись.

— Я был тоненькой стрункой грохочущего концерта войны, — начал подполковник Мар.

— Стихи, — разочарованно протянул латыш Балодис...

За окном каптенармус и писарь ловили свинью. Друзья обвязали ей ноги ремнем и старались затащить по трапу в кузов грузового автомобиля. Свинья дурно кричала, от ее пронзительных воплей ныл затылок. Она падала на брюхо. Копыта ее скользили по испачканному навозом трапу. Мелкие глаза терялись в складках жира.

Через двор прошел старшина Евченко. Он пнул свинью ногой. Затем подобрал черенок лопаты, бесхозно валявшийся на траве...

...— В частях Советской Армии развивается благородная традиция, — говорил подполковник Мар.

И дальше:

— Солдаты и офицеры берут шефство над могилами павших воинов. Кропотливо воссоздают историю ратного подвига. Устанавливают контакты с родными и близкими героев. Всемерно развивать и укреплять подобную традицию — долг каждого. Пускай злопыхатели в мире чистогана трубят насчет конфликта отцов и детей. Пускай раздувают легенду о вымышленном антагонизме между ними... Наша молодежь свято чтит захоронения отцов. Утверждая таким образом неразрывную связь поколений...

Свинью волокли по шершавой доске. Борта машины гулко вздрагивали. Они были выкрашены светло-зеленой краской. Шофер наблюдал за происходящим, высунувшись из кабины.

Рядом вертелся на турнике молдаванин Дастьян, комиссованный по болезни. Он ждал приказа командира части и гулял без ремня, тихо напевая...

— Ваша рота дислоцирована напротив кладбища, — тянул подполковник, — и это глубоко символично. Нами установлено, что среди прочих могил тут имеются захоронения героев Отечественной войны. В том числе и орденосцев. Таким образом, создаются все условия для шефства над павшими героями...

Свинью затащили в кузов. Она лежала неподвижно, только вздрагивали розовые уши. Вскоре ее привезут на бойню, где стоит жирный туман. Боец отработанным жестом вздернет ее за сухожилие к потолку. Потом ударит в сердце длинным белым ножом. Надрезав, он быстро снимет кожу, поросшую грязной шерстью. И тогда военнослужащим станет плохо от запаха крови...

— Кто здесь Пахапиль?

Густав вздрогнул. Он поднялся и вспомнил, что было минуту назад. Как ефрейтор Петров вытянул руку и сказал, тайно давясь от смеха:

— В нашем подразделении уже есть такой солдат. Он взял шефство над павшим героем и ухаживает за его могилой. Это инструктор Пахапиль!

— Кто здесь Пахапиль? — недоверчиво отозвался Мар. — Вы, что ли, Пахапиль?

— Так, — ответил Густав, краснея.

— Именем командира роты объявляю вам благодарность. Ваша инициатива будет популяризирована. В штабе намечено торжественное собрание отличников боевой подго-

товки. Поедете со мной. Расскажите о своих достижениях. В дороге набросаем план.

— Я вообще-то эстонец, — начал было Пахапиль.

— Это даже хорошо, — оборвал подполковник, — с точки зрения братского интернационализма...

В штабе было людно. Под графиками, художественно оформленными стендами, материалами наглядной агитации, толпились военнослужащие. Сапоги и мокрые волосы блестели. Пахло табаком и дегтем.

Они взошли по лестнице. Мар обнимал Пахапиля. На площадке их окружили.

— Знакомьтесь, — гражданским тоном сказал подполковник, — это наши маяки. Сержант Тхапсаев, сержант Гафиатулин, сержант Чичиашвили, младший сержант Шамаметьев, ефрейтор Лаури, рядовые Кемоклидзе и Овсеян...

«Перкеле, — задумался Густав, — одни жиды...»

Но тут позвонили. Все потянулись к урнам. Кинули окурки и зашли в просторный зал...

И вот Пахапиль на трибуне. Внизу белеют лица, слева — президиум, графин, кумачовая штора. Сбоку — контрабас, из зала он не виден.

Пахапиль взглянул на людей, тронул металлическую бляху. Затем шагнул вперед.

— Я вообще-то эстонец, — начал он.

В зале было тихо. Под окнами, звякая, шел трамвай...

Вечером Густав Пахапиль трясся на заднем сиденье штабного автомобиля. Инструктор припоминал свое выступление. И то, как наливал он воду из графина. Как дребезжал стакан и улыбался генерал в президиуме. И то, как ему прикололи значок. (Три непонятных слова, фигура и глобус.) А затем говорил Мар, отметив ценную инициативу рядового Пахапиля... Что-то насчет — подхватить, развивать и стараться... И еще относительно патриотического воспитания... Что-то вроде преемственности и неразрывной связи... С целью шефства над могилами павших героев... Хотя Пахапиль эстонец вследствие братской дружбы между народами...

Перед ним возвышалась спина шофера. Мимо летели деревья с бедными кронами, выгоревшие холмы, убогая таежная зелень.

Когда машину тряхнуло на перегезде, Густав сказал шоферу:

— Здесь я сойду.

Тот, не оборачиваясь, помахал ему и развернулся.

Густав Пахапиль зашагал вдоль тусклых рельсов. Перобрался через железнодорожную насыпь. Лежневка привела его в кильдим.

Здесь его карманы тяжело наполнились.

Он пересек заброшенный стадион и шагнул на мостки кладбищенского рва.

Было сыро и тихо. Щebetали листья на ветру.

Густав расстегнул мундир. Сел на холмик. Положил ветчину на колени. Бутылку поставил в траву.

После чего закурил, облокотившись на красный фанерный монумент.

17 февраля 1982 года. Нью-Йорк

Если не ошибаюсь, мы познакомились в шестьдесят четвертом году. То есть вскоре после моей демобилизации из лагерной охраны. А значит, я был уже сложившимся человеком, наделенным всякого рода тяжелыми комплексами.

Не зная меня до армии, вы едва ли представляете себе, как я изменился.

Я ведь рос полноценным молодым человеком. У меня был комплект любящих родителей. Правда, они вскоре разошлись. Но развод мало повредил их отношениям со мной. Более того, развод мало повредил их отношениям друг с другом. В том смысле, что отношения и до развода были неважными.

Сиротского комплекса у меня не возникло. Скорее — наоборот. Ведь отцы моих сверстников погибли на фронте.

Оставшись с матерью, я перестал выделяться. Живой отец мог произвести впечатление буржуазного излшества. Я же убивал двух зайцев. (Даже не знаю, можно ли считать такое выражение уместным.) То есть использовал все преимущества любящего сына. Избегая при этом репутации благополучного мальчика.

Мой отец был вроде тайного сокровища. Алименты он платил не совсем регулярно. Это естественно. Ведь только явные сбережения дают хороший процент.

У меня были нормальные рядовые способности. Заурядная внешность с чуточку фальшивым неаполитанским оттенком. Заурядные перспективы. Все предвещало обычную советскую биографию.

Я принадлежал к симпатичному национальному меньшинству. Был наделен прекрасным здоровьем. С детства не имел болезненных пристрастий.

Я не коллекционировал марок. Не оперировал дождевых червей. Не строил авиамodelей. Более того, я даже не очень любил читать. Мне нравилось кино и безделье.

Три года в университете слабо повлияли на мою личность. Это было продолжение средней школы. Разве что на более высоком уровне. Плюс барышни, спорт и какой-то жалкий минимум фрондерства.

Я не знал, что именно тогда достиг вершины благополучия. Дальше все пошло хуже. Несчастливая любовь, долги, женитьба... И как завершение всего этого — лагерная охрана.

Любовные истории нередко оканчиваются тюрьмой. Просто я ошибся дверью. Попал не в барак, а в казарму.

То, что я увидел, совершенно меня потрясло.

Есть такой классический сюжет. Нищий малыш заглядывает в щелку барской усадьбы. Видит барчука, катающегося на пони. С тех пор его жизнь подчинена одной цели — разбогатеть. К прежней жизни ему уже не вернуться. Его существование отравлено причастностью к тайне.

В такую же щель заглянул и я. Только увидел не роскошь, а правду.

Я был ошеломлен глубиной и разнообразием жизни. Я увидел, как низко может пасть человек. И как высоко он способен парить.

Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие. Я увидел свободу за решеткой. Жестокость, бессмысленную, как поэзия. Насилие, обыденное, как сырость.

Я увидел человека, полностью низведенного до животного состояния. Я увидел, чему он способен радоваться. И мне кажется, я прозрел.

Мир, в который я попал, был ужасен. В этом мире дрались заточенными рапилами, ели собак, покрывали лица татуировкой и насиловали коз. В этом мире убивали за пачку чая.

В этом мире я увидел людей с кошмарным прошлым, отталкивающим настоящим и трагическим будущим.

Я дружил с человеком, засолившим когда-то в бочке жену и детей.

Мир был ужасен. Но жизнь продолжалась. Более того, здесь сохранялись обычные жизненные пропорции. Соотношение добра и зла, горя и радости — оставалось неизменным.

В этой жизни было что угодно. Труд, достоинство, любовь, разврат, патриотизм, богатство, нищета. В ней были люмпены и мироеды, карьеристы и прожигатели жизни, соглашатели и бунтари, функционеры и диссиденты.

Но вот содержание этих понятий решительным образом изменилось. Иерархия ценностей была полностью нарушена. То, что казалось важным, отошло на задний план. Мелочи заслонили горизонт.

Возникла совершенно новая шкала предпочтительных жизненных благ. По этой шкале чрезвычайно ценились — еда, тепло, возможность избежать работы. Обыденное становилось драгоценным. Драгоценное — нереальным.

Открытка из дома вызывала потрясение. Шмель, залетевший в барак, производил сенсацию. Перебранка с надзирателем воспринималась как интеллектуальный триумф.

На особом режиме я знал человека, мечтавшего стать хлеборезом. Эта должность сулила громадные преимущества. Получив ее, зек уподоблялся Ротшильду. Хлебные обрезки приравнялись к рассыпям алмазов.

Чтобы сделать такую карьеру, необходимы были фантастические усилия. Нужно было выслуживаться, лгать, карабкаться по трупам. Нужно было идти на подкуп, шантаж, вымогательство. Всеми правдами и неправдами добиваться своего.

Такие же усилия на воле открывают дорогу к симекурам партийного, хозяйственного, бюрократического руководства. Подобными способами достигаются вершины государственного могущества.

Став хлеборезом, зек психически надломился. Борьба за власть исчерпала его душевные силы. Это был хмурый, подозрительный, одинокий человек. Он напоминал партийного босса, измученного тяжелыми комплексами...

Я вспоминаю такой эпизод. Заключение рыли траншею под Иоссером. Среди них был домушник по фамилии Енин.

Дело шло к обеду. Енин отбросил лопатой последний ком земли. Мелко раздробил его, затем склонился над горстью праха.

Его окружили притихшие зеки.

Он поднял с земли микроскопическую вещь и долго тер ее рукавом. Это был осколок чашки величиной с трехкопеечную монету. Там сохранился фрагмент рисунка — девочка в голубом платице. Уцелело только плечико и голубой рукав.

На глазах у зека появились слезы. Он прижал стекло к губам и тихо выговорил:

— Сеанс!..

Лагерное «сеанс» означает всякое переживание эротического характера. Даже шире — всякого рода положительное чувственное ощущение. Женщина в зоне — сеанс. Порнографическая фотография — сеанс. Но и кусочек рыбы в баланде — это тоже сеанс.

— Сеанс! — повторил Енин.

И окружавшие его зеки дружно подтвердили:

— Сеанс!..

Мир, в который я попал, был ужасен. И все-таки улыбался я не реже, чем сейчас. Грустил — не чаще.

Будет время, расскажу об этом подробнее...

Как вам мои первые страницы? Высылаю следующий отрывок.

Р. С. В нашей русской колонии попадают чудные объявления. Напротив моего дома висит объявление:

ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЙ!

Чуть левее, на телефонной будке:

ПЕРЕВОДЫ С РУССКОГО И ОБРАТНО.

СПРОСИТЬ АРИКА...

Когда-то Мищук работал в аэросъемочной бригаде. Он был хорошим пилотом. Как-то раз он даже ухитрился посадить машину в сугроб. Притом что у него завис клапан в цилиндре и фактически горел левый двигатель.

Вот только зря он начал спекулировать рыбой, которую привозил из Африканды. Мищук выменивал ее у ненцев и отдавал дружку-халдею по шесть рублей за килограмм.

Мищуку долго везло, потому что он не был жадным. Как-то радист ОДС передал ему на борт:

— Тебя ждут «вилы»... Тебя ждут «вилы»...

— Вас понял, вас понял, — ответил Мищук.

Затем он без сожаления выбросил над Енисеем девять мешков розовой кумжи.

Но вот когда Мищук украл рулон парашютного шелка, его забрали. Знакомый радист передал друзьям в Африканду:

— Малыш испекся, наматывается трояк...

Мищука направили в ИТК-5. Он знал, что, если постараться, можно споловинить. Мищук стал передовиком труда, активистом, читателем газеты «За досрочное освобождение». А главное, записался в СВП (секция внутреннего порядка). И ходил теперь между бараками с красной повязкой на рукаве.

— СВП, — шипели зеки, — сука выпрашивает половинку!

Мищук и в голову не брал. Дружок-карманник учил его играть на мандолине. И дали ему в лагере кликуху — Пупс.

— Ну и прозвище у вас, — говорил ему зек Лейбович, — назвались бы Королем. Или же — Бонапартом.

Тут вмешивался начитанный «кукольник» Адам:

— По-вашему, бонапарт — это что? По-вашему, бонапарт — это должность?

— Вроде, — мирно соглашался Лейбович, — типа князя...

— Легко сказать — бонапарт, — возражал Мищук, — а если я не похож?..

В ста метрах от лагеря был пустырь. Там среди ромашек, осколков и дерьма гуляли куры. Бригаду сантехников выводили на пустырь рыть канализационную траншею.

Рано утром солнце появлялось из-за бараков, как надзиратель Чекин. Оно шло по небу, задевая верхушки деревьев и трубы лесобиржи. Пахло резиной и нагретой травой.

Каждое утро подконвойные долбили сухую землю. Затем шли курить. Они курили и беседовали, сидя под навесом. Кукольник Адам рассказывал о первой судимости.

Что-то было в его рассказах от этого пустыря. Может, запах пыльной травы или хруст битых стекол. А может, бормотание кур, однообразие ромашек — сухое поле незадавшейся жизни...

— И что вы себе мыслите — делает прокурор? — говорил Адам.

— Прокурор так делает выводы, — откликнулся зек Лейбович.

Конвой дремал у забора. Так было каждый день.

Но однажды появился вертолет. Он был похож на стрекозу. Он летел в сторону аэропорта.

— Турбовинтовой МИ-6, — заметил Пупс вставая. — Е-е! — лениво крикнул он.

Затем скрестил над головой руки. Затем растопырил их наподобие крыльев. Затем присел. И наконец повторил все это снова и снова.

— О-е-е! — крикнул Пупс.

И тут произошло чудо. Это признавали все. И карманник Чалый. И потомственный «скокарь» Мурашка. И расхититель государственной собственности Лейбович. И кукольник Адам. И даже фарцовщик Белуга. А этих людей трудно было чем-нибудь удивить...

Вертолет шел на посадку.

— Чудеса, — первым констатировал Адам.

— Чтоб я так жил! — воскликнул Лейбович.

— Зуб даю, — коротко поклялся Чалый.

— Сеанс, — одобрительно заметил Мурашка.

— Феноменально, — произнес Белуга, — итс вандерфул!

— Не положено, — забеспокоился конвоир, ефрейтор Дзавашвили.

— Зафлюгировал винт! — надсаживаясь, кричал Мищук. — Скинул обороты! О-е-е... (Непечатное, непечатное, непечатное...)

Куры разбежались. Ромашки пригнулись к земле. Вертолет подпрыгнул и замер. Отворилась дверца кабины, и по трапу спустился Маркони. Это был пилот Дима Маркони — самонадеянный крепыш, философ, умница, темных кровей человек. Мищук бросился к нему.

— До чего ты худой, — сказал Маркони.

Затем они час хлопали друг друга по животу.

— Как там Вадя? — спрашивал Мищук. — Как там Жора?

— Вадя киряет. Жоря переучивается на «ту». Ему коммандировки опротивели.

— Ну, а ты, старый пес?

— Женился, — трагически произнес Маркони, опустив голову.

— Я ее знаю?

— Нет. Я сам ее почти не знаю. Ты не много потерял...

— А помнишь вальдшнепную тягу на Ладого?

— Конечно, помню. А помнишь ту гулянку на Созьве, когда я утопил бортовое ружье?

— А мы напьемся, когда я вернусь? Через год, пять месяцев и шестнадцать дней?

— Ох и напьемся... Это будет посильнее, чем «Фауст» Гете...

— Явлюсь к самому Покрышеву, упаду ему в ноги...

— Я сам зайду к Покрышеву. Ты будешь летать. Но сначала поработаешь механиком.

— Естественно, — согласился Мищук.

Помолчав, он добавил:

— Зря я тогда пристегнул этот шелк.

— Есть разные мнения, — последовал корректный ответ.

— Мне-то что, — сказал ефрейтор Дзавашвили, — режим не предусматривает...

— Ясно, — сказал Маркони, — узнаю восточное гостеприимство... Денег оставить?

— Деньги иметь не положено, — сказал Мищук.

— Ясно, — сказал Маркони, — значит, вы уже построили коммунизм. Тогда возьми шарф, часы и зажигалку.

— Мерси, — ответил бывший пилот.

— Ботинки оставить? У меня есть запасные в кабине.

— Запрещено, — сказал Мищук, — у нас единая форма.

— У нас тоже, — сказал Маркони, — ясно... Ну, мне пора.

Он повернулся к Дзавашвили:

— Возьмите три рубля, ефрейтор. Каждому по способностям...

— Запрещено, — сказал конвоир, — мы на довольствии.

— Прощайте, — сунул ему руку Маркони.

И взошел по трапу.

Мищук улыбался.

— Мы еще полетим, — крикнул он, — мы еще завинтим штопор! Мы еще плюнем кому-то на шляпу с высоты!

— В элементе, — подтвердил Мурашка.

— Зуб даю, — однообразно высказался Чалый.

— Оковы тяжкие падут! — закричал фарцовщик Белуга.

— Жизнь продолжается, даже когда ее, в сущности, нет, — философски заметил Адам.

— Вы можете хохотать, — застенчиво произнес Лейбович, — но я скажу. Мне кажется, еще не все потеряно...

Вертолет поднялся над землей. Тень от него становилась все прозрачнее. И мы глядели ему вслед, пока он не скрылся за бараками.

Мищука освободили через три года, по звонку. Покрывшись к этому времени умер. О его смерти писали газеты. В аэропорт Мищука не допустили. Помешала судимость.

Он работал механиком в НИИ, женился, забыл блатной язык. Играл на мандолине, пил, старел и редко думал о будущем...

А Дима Маркони разбился под Углегорском. Среди обломков его машины нашли пудовую канистру белужьей икры...

23 февраля 1982 года. Нью-Йорк

Спасибо за письмо от 18-го. Я рад, что вам как будто по душе мои заметки. Я тут подготовил еще несколько страниц. Напишите, какое они произведут впечатление.

Отвечаю на вопросы.

«Кукольник» по-лагерному — аферист. «Кукла» — афера.

«Скокарь» означает — грабитель. «Скок» — грабеж. Ну, кажется, все. Я в тот раз остановился на ужасах лагерной жизни. Не важно, что происходит кругом. Важно, как мы себя при этом чувствуем. Поскольку любой из нас есть то, чем себя ощущает.

Я чувствовал себя лучше, нежели можно было предполагать. У меня началось раздвоение личности. Жизнь превратилась в сюжет.

Я хорошо помню, как это случилось. Мое сознание вышло из привычной оболочки. Я начал думать о себе в третьем лице.

Когда меня избивали около Ропчинской лесобиржи, сознание действовало почти невозмутимо:

«Человека избивают сапогами. Он прикрывает ребра и живот. Он пассивен и старается не возбуждать ярость масс... Какие, однако, гнусные физиономии! У этого татарина видны свинцовые пломбы...»

Кругом происходили жуткие вещи. Люди превращались в зверей. Мы теряли человеческий облик — голодные, униженные, измученные страхом.

Мой плотский состав изнемогал. Сознание же обходилось без потрясений.

Видимо, это была защитная реакция. Иначе я бы помер от страха.

Когда на моих глазах под Ропчей задушили лагерного вора, сознание безотказно фиксировало детали.

Конечно, в этом есть значительная доля аморализма. Таково любое действие, в основе которого лежит защитная реакция.

Когда я замерзал, сознание регистрировало этот факт. Причем в художественной форме:

«Птицы замерзали на лету...»

Как я ни мучился, как ни проклинал эту жизнь, сознание функционировало безотказно.

Если мне предстояло жестокое испытание, сознание тихо радовалось. В его распоряжении оказывался новый материал.

Плоть и дух существовали раздельно. И чем сильнее была угнетена моя плоть, тем нахальнее резвился дух.

Даже когда я физически страдал, мне было хорошо. Голод, боль, тоска — все становилось материалом неутраченного сознания.

Фактически я уже писал. Моя литература стала дополнением к жизни. Дополнением, без которого жизнь оказывалась совершенно непотребной.

Оставалось перенести все это на бумагу. Я пытался найти слова...

Шестой лагпункт находился в стороне от железной дороги. Так что попасть в это унылое место было нелегко. Нужно было долго ждать попутного лесовоза. Затем

трястись на ухабах, сидя в железной кабине. Затем два часа шагать по узкой, исчезающей в кустах тропинке. Короче, действовать так, будто вас ожидает на горизонте приятный сюрприз. Чтобы наконец оказаться перед лагерными воротами, увидеть серый трап, забор, фанерные будки и мрачную рожу дневального...

Алиханов был в этой колонии надзирателем штрафного изолятора, где содержались провинившиеся зеки.

Это были своеобразные люди.

Чтобы попасть в штрафной изолятор лагеря особого режима, нужно совершить какое-то фантастическое злодеяние. Как ни странно, это удавалось многим. Тут действовало нечто противоположное естественному отбору. Происходил конфликт ужасного с еще более чудовищным. В штрафной изолятор попадали те, кого даже на особом режиме считали хулиганами...

Должность Алиханова были поистине сучьей. Тем не менее Борис добросовестно выполнял свои обязанности. То, что он выжил, является показателем качественным.

Нельзя сказать, что он был мужественным или хладнокровным. Зато у него была драгоценная способность терять рассудок в минуту опасности. Видимо, это его и спасало.

В результате его считали хладнокровным и мужественным. Но при этом считали чужим.

Он был чужим для всех. Для зеков, солдат, офицеров и вольных лагерных работяг. Даже караульные псы считали его чужим.

На лице его постоянно блуждала рассеянная и одновременно тревожная улыбка. Интеллигента можно узнать по ней даже в тайге.

Это выражение сохранялось при любых обстоятельствах. Когда от мороза трещали заборы и падали на лету воробьи. Когда водка накануне очередной демобилизации переполняла солдатскую борщевую лохань. И даже когда заключенные около лесобиржи сломали ему ребро.

Алиханов родился в интеллигентном семействе, где недолюбливали плохо одетых людей. А теперь он имел дело с уголовниками в полосатых бушлатах. С военнослужащими, от которых пахло ядовитой мазью, напоминающей деготь. Или с вольными лагерными работягами, еще за Котласом прокутившими гражданское тряпье.

Алиханов был хорошим надзирателем. И это все же лучше, чем быть плохим надзирателем. Хуже плохого надзирателя только зеки в ШИЗО...

В ста метрах от изолятора темнело здание казармы. Над его чердачным окном висел бледно-розовый застиранный флаг. За казармой на питомнике глухо лаяли овчарки. Овчарок дрессировали Воликов и Пахапиль. Месяцами они учили собак ненавидеть людей в полосатых бушлатах. Од-

нако голодные псы рычали и на солдат в зеленых телогрейках. И на сверхсрочников в офицерских шинелях. И на самих офицеров. И даже на Воликова с Пахапилем.

Ходить мимо отгороженных проволочными сетками вольтеров — было небезопасно.

Ночью Алиханов дежурил в изоляторе, а потом целые сутки отдыхал. Он мог курить, сидя на гимнастических брусьях. Играть в домино под хриплые звуки репродуктора. Или, наконец, осваивать ротную библиотеку, в которой преобладали сочинения украинских авторов.

В казарме его уважали, хоть и считали чужим. А может, как раз поэтому и уважали. Может быть, сказывалось российское почтение к иностранцам? Почтение без особой любви...

Чтобы заслужить казарменный авторитет, достаточно было игнорировать начальство. Алиханов легко игнорировал ротное командование, потому что служил надзирателем. Ему было нечего терять...

Раз Алиханова вызвал капитан Прищепа. Это было в конце декабря.

Капитан протянул ему сигареты в знак того, что разговор будет неофициальный. Он сказал:

— Приближается Новый год. К сожалению, это неизбежно. Значит, в казарме будет пьянка. А пьянка — это неминуемое чепе... Если бы ты постарался, употребил, как говорится, свое влияние... Поговори с Балодисом, Воликовым... Ну и, конечно, с Петровым. Главный тезис — пей, но знай меру. Вообще не пить — это слишком. Это, как говорится, антимарксистская утопия. Но свою меру знай... Зона рядом, личное оружие, сам понимаешь...

В тот же день Борис заметил около уборной ефрейтора Петрова, которого сослуживцы называли — Фидель. Эту кличку ефрейтор получил год назад. Лейтенант Хуриев вел политзанятия. Он велел назвать фамилии членов Политбюро. Петров сразу вытянул руку и уверенно назвал Фиделя Кастро...

Алиханов заговорил с ним, ловко копируя украинский выговор Прищепы:

— Скоро Новый год. Устранить или даже отсрочить это буржуазное явление партия не в силах. А значит, состоится пьянка. И произойдет неминуемое чепе. В общем, пей, Фидель, но знай меру...

— Я меру знаю, — сказал Фидель, подтягивая брюки, — кило на рыло, и все дела! Гужу, пока не отключусь... А твой Прищепа — гондонья и фрайер. Он думает — праздник, так мы и киряем. А у нас, бляха-муха, свой календарь. Есть «капуста» — гудим. А без «капусты» что за праздник?! И вообще, тормознуться пора. Со Дня Конституции не просыхаем. Так ведь можно ненароком и дубаря секануть... Давай

скорее, я тебя жду... Ну и погодка! Дерьмо замерзает, рукой приходится отламывать...

Алиханов направился к покосившейся будке. Снег около нее был покрыт золотистыми вензелями. Среди них выделялся каллиграфический росчерк Потапа Якимовича из Белоруссии.

Через минуту они шли рядом по ледяной тропинке.

— Наступит дембель, — мечтал Фидель, — приеду я в родное Запорожье. Зайду в нормальный человеческий сортир. Постелю у ног газету с кроссвордом. Открою полбанки. И закайфую, как эмирский бухар...

Подошел Новый год. Утром солдаты пилили дрова возле казармы. Еще вчера снег блестел под ногами. Теперь его покрывали желтые опилки.

Около трех вернулась караульная смена из наряда. Разводящий Мелешко был пьян. Шапка его сидела задом наперед.

— Кругом! — закричал ему старшина Евченко, тоже хмельной. — Кругом! Сержант Мелешко — кру-у-гом! Головной убор — на месте!..

Ружейный парк был закрыт. Дежурный запер его и уснул. Караульные бродили по двору с оружием.

На кухне уже пили водку. Ее черпали алюминиевыми кружками прямо из борщовой лохани. Ленька Матыцын затянул старый вохровский гимн:

Хотят ли цырики войны?..
Ответ готов у старшины,
Который пропилил все, что мог,
От португепи до сапог.

Ответ готов у тех солдат,
Что в доску пьяные лежат,
И сами вы понять должны,
Хотят ли цырики войны...

Замполит Хуриев был дежурным офицером. На всякий случай он захватил из дома пистолет. Правый карман его галифе был заметно оттянут.

Хмельные солдаты в расстегнутых гимнастерках без дела шатались по коридору. Глухая и темная энергия накапливалась в казарме.

Замполит Хуриев приказал собраться в ленинской комнате. Велел построиться у стены. Однако пьяные вохровцы не могли стоять. Тогда он разрешил сесть на пол. Некоторые сразу легли.

— До Нового года еще шесть часов, — отметил замполит, — а вы уже пьяные, как свиньи.

— Жизнь, товарищ лейтенант, обгоняет мечту, — сказал Фидель.

У замполита было гордое красивое лицо и широкие плечи. В казарме его не любили...

— Товарищи, — сказал Хуриев, — нам выпала огромная честь. В эти дни мы охраняем покой советских граждан. Вот ты, например, Лопатин...

— А чего Лопатин? Чего Лопатин-то? Всегда — Лопатин, Лопатин... Ну, я Лопатин, — басом произнес Андрей Лопатин.

— Для чего ты, Лопатин, стоишь на посту? Чтобы мирно спали колхозники в твоей родной деревне Бежаны...

«Политработа должна быть конкретной». Так объясняли Хуриеву на курсах в Сыктывкаре.

— Ты понял, Лопатин?

Лопатин подумал и громко сказал:

— Поджечь бы эту родную деревню вместе с колхозом!..

Алиханов водку пить не стал. Он пошел в солдатский кубрик, где теснились двухъярусные нары. Потом стащил валенки и забрался наверх.

На соседней койке, укрывшись, лежал Фидель. Вдруг он сел на постели и заговорил:

— Знаешь, что я сейчас делал? Богу молился... Молитву сам придумал. Изложить?

— Ну, — произнес Алиханов.

Фидель поднял глаза и начал:

— Милый Бог! Надеюсь, ты видишь этот бардак?! Надеюсь, ты понял, что значит вохра?!.. Так сделай, чтобы меня перевели в авиацию. Или, на худой конец, в стройбат. И еще распорядись, чтобы я не спился окончательно. А то у бесконвойников самогона навалом, и все идет против морального кодекса...

Милый Бог! За что ты меня ненавидишь? Хотя я и гопник, но перед законом чист. Ведь не крал же я, только пью... И то не каждый день...

Милый Бог! Совесть есть у тебя или нет? Если ты не фрайер, сделай, чтобы капитан Прищепа вскорости лыжи отбросил. А главное, чтобы не было этой тоски... Как ты думаешь, Бог есть?

— Маловероятно, — сказал Алиханов.

— А я думаю, что пока все о'кей, то, может быть, и нет его. А как прижмет, то, может быть, и есть. Так лучше с ним заранее контакт установить...

Фидель наклонился к Алиханову и тихо произнес:

— Мне в рай попасть охота. Я еще со Дня Конституции такую цель поставил.

— Попадешь, — заверил его Алиханов, — в охране у тебя не много конкурентов.

— Я и то думаю, — согласился Фидель, — публика у нас бесподобная. Ворюги да хулиганы... Какой уж там рай... Таких и в дисбат не примут... А я на этом фоне, может, и проскочу как беспартийный...

...К десяти часам перепилась вся рота. Очередную смену набрали из числа тех, кто мог ходить. Старшина Евченко уверял, что мороз отрезвит их.

По казарме бродили чекисты, волоча за собой автоматы и гитары.

Двоих уже связали телефонным проводом. Их уложили в сушилке на груди тулупов.

В ленинской комнате охранники затеяли игру. Она называлась «Тигр идет». Все уселись за стол. Выпили по стакану зверобоя. Затем ефрейтор Кунин произнес:

— Тигр идет!

Участники игры залезли под стол.

— Отставить! — скомандовал Кунин.

Участники вылезли из-под стола. Снова выпили зверобоя. После чего ефрейтор Кунин сказал:

— Тигр идет!

И все опять залезли под стол.

— Отставить! — скомандовал Кунин...

На этот раз кто-то остался под столом. Затем — второй и третий. Затем надломился сам Кунин. Он уже не мог произнести: «Тигр идет!» Он дремал, положив голову на кумачовую скатерть...

Около двенадцати прибежал инструктор Воликов с криком:

— Охрана, в ружье!

Его окружили.

— На питомнике девка кирная лежит, — объяснил инструктор, — может, с высылки забрела...

В нескольких километрах от шестого лагпункта был расположен поселок Чир. В нем жили сосланные тунеядцы, главным образом — проститутки и фарцовщики. На высылке они продолжали бездельничать. Многие из них были уверены, что являются политическими заключенными...

Парни толпились возле инструктора.

— У Дзавашвили есть гандон, — сказал Матыцын, — я видел.

— Один? — спросил Фидель.

— Тоже мне, доцент! — рассердился Воликов. — Личный гандон ему подавай! Будешь на очереди...

— Банальный гандон не поможет, — уверял Матыцын, — знаю я этих, с высылки... У них там гонококки, как псы... Вот если бы из нержавейки...

Алиханов лежал и думал, какие гнусные лица у его сослуживцев.

«Боже, куда я попал?!» — думал он.

— Урки, за мной! — крикнул Воликов.

— Люди вы или животные?! — произнес Алиханов. Он прыгнул вниз. — Попретесь целым взводом к этой грязной бабе?!

— Политику не хаваем! — остановил его Фидель.

Он успел переодеться в диагональную гимнастерку.

— Ты же в рай собирался?

— Мне и в аду не худо, — сказал Фидель.

Алиханов стоял в дверном проеме.

— Всякую падаль охраняем!.. Сами хуже зеков!.. Что, не так?!..

— Не возникай, — сказал Фидель, — чего ты разорался?!.. И помни, в народе меня зовут — отважным...

— Кончайте базарить, — сказал верзила Герасимчук.

И вышел, задев Алиханова плечом. За ним потянулись остальные.

Алиханов выругался, залез под одеяло и раскрыл книгу Мирошниченко «Тучи над Брянском»...

Латыш Балодис разувался, сидя на питьевом котле. Балодис монотонно дергал себя за ногу. И при этом всякий раз бился головой об угол железной кровати.

Балодис служил поваром. Главной его заботой была продовольственная кладовая. Там хранились сало, джем и мука. Ключи Балодис целый день носил в руках. Засыпая, привязывал их шпагатом к своему детородному органу. Это не помогало. Ночная смена дважды отвязывала ключи и воровала продукты. Даже мука была съедена...

— А я не пошел, — гордо сказал Балодис.

— Почему? — Алиханов захлопнул книгу.

— У меня под Ригой дорогая есть. Не веришь? Анеле зовут. Любит меня — страшно.

— А ты?

— И я ее уважаю.

— За что же ты ее уважаешь? — спросил Алиханов.

— То есть как?

— Что тебя в ней привлекает? Я говорю, отчего ты полюбил именно ее, эту Анеле?

Балодис подумал и сказал:

— Не могу же я любить всех баб под Ригой...

Читать Алиханов не мог. Заснуть ему не удавалось. Борис думал о тех солдатах, которые ушли на питомник. Он рисовал себе гнусные подробности этой вакханалии и не мог уснуть.

Пробило двенадцать, в казарме уже спали. Так начался год.

Алиханов поднялся и выключил репродуктор...

Солдаты возвращались поодиночке. Алиханов был уверен, что они начнут делиться впечатлениями. Но они молча легли.

Глаза Алиханова привыкли к темноте. Окружающий мир был знаком и противен. Свисающие темные одеяла. Ря-

ды обернутых портянками сапог. Лозунги и плакаты на стенах.

Неожиданно Алиханов понял, что думает о женщине с высылки. Вернее, старается не думать об этой женщине.

Не задавая себе вопросов, Борис оделся. Он натянул брюки и гимнастерку. Захватил в сушилке полушубок. Затем, прикурив у дневального, вышел на крыльцо.

Ночь тяжело опустилась до самой земли. В холодном мраке едва угадывалась дорога и очертание сужающегося к горизонту леса.

Алиханов миновал заснеженный плац. Дальше начинался питомник. За оградой хрипло лаяли собаки на блокпостах.

Борис пересек заброшенную железнодорожную ветку и направился к магазину.

Магазин был закрыт. Но рядом жила продавщица Тонечка с мужем-электромонтером. Еще была дочь, приезжавшая только на каникулы.

Алиханов шел на свет в полузанесенном окне.

Затем постучал, и дверь отворилась. Из узкой, неразличимой от пьянства комнаты вырвались звуки старомодного танго. Алиханов, щурясь от света, вошел. Сбоку косо возвышалась елка, украшенная мандаринами и продуктами этикетками.

— Пей! — сказал электромонтер.

Он подвинул надзирателю фужер и тарелку с дрогнувшим холодцом.

— Пей, душегуб! Закусывай, сучья твоя порода!

Электромонтер положил голову на клеенку, видимо совершенно обессилев.

— Премного благодарен, — сказал Алиханов.

Через пять минут Тонечка сунула ему бутылку вина, обернутую клубной афишей.

Он вышел. Грохнула дверь за спиной. Мгновенно исчезла с забора нелепая, длинная тень Алиханова. И вновь темнота упала под ноги.

Надзиратель положил бутылку в карман. Афишу он скомкал и выбросил. Было слышно, как она разворачивается, шурша.

Когда Борис снова шел мимо вольеров, псы опять зарычали.

На питомнике было тесно. В одной комнате жили инструкторы. Там висели диаграммы, графики, учебные планы, мерцала шкала радиоприемника с изображением кремлевской башни. Рядом были приклеены фотографии кинозвезд из журнала «Советский экран». Кинозвезды улыбались, чуть разомкнув губы.

Борис остановился на пороге второй комнаты. Там на груди дрессировочных костюмов лежала женщина. Ее фио-

летовое платье было глухо застегнуто. При этом оно задралось до бедер. А чулки были спущены до колен. Волосы ее, недавно обесцвеченные пергидролем, темнели у корней. Алиханов подошел ближе, нагнулся.

— Девушка, — сказал он.

Бутылка «Пино-гри» торчала у него из кармана.

— Ой, да ну иди ты! — Женщина беспокойно заворочалась в полусне.

— Сейчас, сейчас, все будет нормально, — шептал Алиханов, — все будет о'кей...

Борис прикрыл настольную лампу обрывком служебной инструкции. Припомнил, что обоих инструкторов нет. Один ночует в казарме. Второй ушел на лыжах к переезду, где работает знакомая телефонистка...

Дрожащими руками он сорвал красную пробку. Начал пить из горлышка. Затем резко обернулся — вино пролилось на гимнастерку. Женщина лежала с открытыми глазами. Ее лицо выражало чрезвычайную сосредоточенность. Несколько секунд молчали оба.

— Это что? — спросила женщина.

В голосе ее звучало кокетство, подавляемое нетрезвой дремотой.

— «Пино-гри», — сказал Алиханов.

— Чего? — удивилась женщина.

— «Пино-гри», розовое крепкое, — добросовестно ответил надзиратель, исследуя винную этикетку.

— Один говорил тут — пожрать захвачу...

— У меня нет, — растерялся Алиханов, — но я добуду... Как вас зовут?

— По-разному... Мамаша Лялей называла.

Женщина одернула платье.

— Чулок у меня все отстЯгивается. Я его застЯгиваю, а он все отстЯгивается да отстЯгивается... Ты чего?

Алиханов шагнул, наклонился, содрогаясь от запаха мокрых тряпок, водки и лосьона.

— Все нормально, — сказал он.

Огромная янтарная брошка царапала ему лицо.

— Ах ты, сволочь! — последнее, что услышал надзиратель...

Он сидел в канцелярии, не зажигая лампы. Потом выпрямился, уронив руки. Звякнули пуговицы на манжетах.

— Господи, куда я попал, — выговорил Алиханов, — куда я попал?! И чем все это кончится?!..

Невнятные ускользающие воспоминания коснулись Алиханова.

...Зимний сквер, высокие квадратные дома. Несколько школьников окружили ябеду Вову Машбица. У Вовы испуганное лицо, нелепая шапка, рейтузы...

Кока Дементьев вырывает у него из рук серый мешочек. Вытряхивает на снег галоши. Потом, изнемогая от смеха, мочится... Школьники хватают Вову, держат его за плечи... Суют его голову в потемневший мешок... Мальчик уже не вырывается. В сущности, это не больно...

Школьники хохочут. Среди других — Боря Алиханов, звеньевой и отличник...

...Галоши еще лежат на снегу, такие черные и блестящие. Но уже видны разноцветные палатки спортивного лагеря за Коктебелем. На веревках сушатся голубые джинсы. В сумерках танцуют несколько пар. На песке стоит маленький черный и блестящий транзистор.

Борис прижимает к себе Галю Водяницкую. На девушке мокрый купальник. Кожа у нее горячая, чуть шершавая от загара. Галин муж, аспирант, сидит на краю волейбольной площадки. Там, где место для судей. В его руке белеет свернутая газета.

Галя — студентка индонезийского отделения. Она шепотом произносит непонятные Алиханову индонезийские слова. Он, тоже шепотом, повторяет за ней:

— Кером даш ахнан... Кером ланав...

Галя прижимается к нему еще теснее.

— Ты можешь не задавать вопросов? — говорит Алиханов. — Дай руку!

Они почти бегут с горы, исчезают в кустах. Наверху — бесформенный силуэт аспиранта Водяницкого. Потом — его растерянный окрик:

— Э, э?!..

Воспоминания Алиханова стали еще менее отчетливыми. Наконец замелькали какие-то пятна. Обозначились яркие светящиеся точки. Похищенные у отца серебряные монеты... Растоптанные очки после драки на углу Литейного и Кирочной... И брошка, ослепительная желтая брошка в грубом, анодированном корпусе.

Затем Алиханов снова увидел квадрат волейбольной площадки, белеющий на фоне травы. Но теперь он был собой, и женщиной в мокром купальнике, и любым посторонним. И даже хмурым аспирантом с газетой в руке...

Что-то неясное происходило с Алихановым. Он перестал узнавать действительность. Все близкое, существенное, казавшееся делом его рук, представлялось теперь отдаленным, невнятным и малозначительным. Мир сузился до размеров телеэкрана в чужом жилище.

Алиханов перестал негодовать и радоваться. Он был убежден, что перемена в мире, а не в его душе.

Ощущение тревоги прошло. Алиханов бездумно выдвинул ящик письменного стола. Обнаружил там хлебные корки, моток изоляционной ленты, пачку ванильных сухарей.

Затем — мятые погоны с дырочками от эмблем. Две разбитые елочные игрушки. Гибкую коленкорковую тетрадь с наполовину вырванными листами. Наконец — карандаш.

И тут Алиханов неожиданно почувствовал запах морского ветра и рыбы. Услышал довоенное танго и шершавые звуки индонезийских междометий. Разглядел во мраке геометрические очертания палаток. Вспомнил ощущение горячей кожи, стянутой мокрыми, тугими лямками...

Алиханов закурил сигарету, подержал ее в отведенной руке. Затем крупным почерком вывел на листе из тетради:

«Летом так просто казаться влюбленным. Зеленые теплые сумерки бродят под ветками. Они превращают каждое слово в таинственный и смутный знак...»

За окном начиналась метель. Белые хлопья косо падали на стекло из темноты.

— Летом так просто казаться влюбленным, — шептал надзиратель.

Полусонный ефрейтор брел коридором, с шуршанием задевая обои.

«Летом так просто казаться влюбленным...»

Алиханов испытывал тихую радость. Он любовно перечеркнул два слова и написал:

«Летом... непросто казаться влюбленным...»

Жизнь стала податливой. Ее можно было изменить движением карандаша с холодными твердыми гранями и рельефной надписью — «Орион»...

— Летом непросто казаться влюбленным, — снова и снова повторял Алиханов...

В десять часов утра его разбудил сменщик. Он пришел с мороза, краснолицый и злой.

— Всю ночь по зоне бегал, как шестерка, — сказал он, — это — чистый театр... Кир, поножовщина, изолятор набит бакланьем...

Алиханов тоже достал сигарету и пригладил волосы. Целый день он проведет в изоляторе. За стеной будет ходить из угла в угол рецидивист Анаги, позвякивая наручниками...

— Обстановка напряженная, — говорил сменщик, раздвываясь. — Мой тебе совет — возьми Гаруна. Он на третьем блоkpосту. Спокойнее, когда пес рядом...

— Это еще зачем? — спросил Алиханов.

— То есть как? Может, ты Анаги не боишься?

— Боюсь, — сказал Алиханов, — очень даже боюсь... Но все равно Гарун страшнее...

Накинув телогрейку, Алиханов пошел в столовую.

Повар Балодис выдал ему тарелку голубоватой овсяной каши. На краю желтело пятнышко растаявшего масла.

Надзиратель огляделся.

Выцветшие обои, линолеум, мокрые столы...

Он захватил алюминиевую ложку с перекрученным стеблем. Сел лицом к окну. Вяло начал есть. Тут же вспомнил минувшую ночь. Подумал о том, что ждет его впереди... И спокойная торжествующая улыбка преобразила его лицо.

Мир стал живым и безопасным, как на холсте. Он приглядывался к надзирателю без гнева и укоризны.

И казалось, чего-то ждал от него...

11 марта 1982 года. Нью-Йорк

Простите, что задержал очередную главу. Отсутствие времени стало кошмаром моей жизни. Пишу я только рано утром, с шести и до восьми. Дальше — газета, радиостанция «Либерти»... Одна переписка чего стоит. Да еще — младенец... И так далее.

Развлечение у меня единственное — сигареты. Я научился курить под душем...

Однако вернемся к рукописи. Я говорил о том, как началась моя злосчастная литература.

В этой связи мне бы хотелось коснуться природы литературного творчества. (Я представляю себе вашу ироническую улыбку. Помните, вы говорили: «Серезу мысли не интересуют...» Вообще, слухи о моем интеллектуальном бессилии носят подозрительно упорный характер. Тем не менее — буквально два слова.)

Как известно, мир несовершенен. Устоями общества являются корыстолюбие, страх и продажность. Конфликт мечты с действительностью не утихает тысячелетиями. Вместо желаемой гармонии на земле царят хаос и беспорядок.

Более того, нечто подобное мы обнаружили в собственной душе. Мы жаждем совершенства, а вокруг торжествует пошлость.

Как в этой ситуации поступает деятель, революционер? Революционер делает попытки установить мировую гармонию. Он начинает преобразовывать жизнь, достигая иногда курьезных мичуринских результатов. Допустим, выводит морковь, совершенно неотличимую от картофеля. В общем, создает новую человеческую породу. Известно, чем это кончается...

Что в этой ситуации предпринимает моралист? Он тоже пытается достичь гармонии. Только не в жизни, а в собственной душе. Путем самоусо-

вершенствования. Тут очень важно не перепутать гармонию с равнодушием...

Художник идет другим путем. Он создает искусственную жизнь, дополняя ее пошлую реальность. Он творит искусственный мир, в котором благородство, честность, сострадание являются нормой.

Результаты этой деятельности заведомо трагичны. Чем плодотворнее усилия художника, тем острее мы ощущаем разрыв мечты с действительностью. Известно, что женщины, злоупотребляющие косметикой, раньше стареют...

Я понимаю, что все мои рассуждения достаточно тривиальны. Недаром Вайль и Генис прозвали меня «Трубадуром отточенной банальности». Я не обижаюсь. Ведь прописные истины сейчас необычайно дефицитны.

Моя сознательная жизнь была дорогой к вершинам банальности. Ценой огромных жертв я понял, что мне внушали с детства. Но теперь эти прописные истины стали частью моего личного опыта.

Тысячу раз я слышал: «Главное в браке — общность духовных интересов».

Тысячу раз отвечал: «Путь к добродетели лежит через уродство».

Понадобилось двадцать лет, чтобы усвоить внушаемую мне банальность. Чтобы сделать шаг от парадокса к трюизму.

В лагере я многое понял. Постиг несколько драгоценных в своей банальности истин.

Я понял, что величие духа не обязательно сопутствует телесной мощи. Скорее — наоборот. Духовная сила часто бывает заключена в хрупкую, неуклюжую оболочку. А телесная доблесть нередко сопровождается внутренним бессилием.

Древние говорили:

«В здоровом теле — соответствующий дух!»

По-моему, это не так. Мне кажется, именно здоровые физически люди чаще бывают подвержены духовной слепоте. Именно в здоровом теле чаще царит нравственная апатия.

В охране я знал человека, который не испугался живого медведя. Зато любой начальственный окрик выводил его из равновесия.

Я сам был очень здоровым человеком. Мне ли не знать, что такое душевная слабость...

Вторая усвоенная мною истина еще банальнее.

Я убедился, что глупо делить людей на плохих и хороших. А также — на коммунистов и беспартийных. На злодеев и праведников. И даже — на мужчин и женщин.

Человек неузнаваемо меняется под воздействием обстоятельств. И в лагере — особенно.

Крупные хозяйственные деятели без следа растворяются в лагерной шушере. Лекторы общества «Знание» пополняют ряды стукачей. Инструкторы физкультуры становятся завзятыми наркоманами. Расхитители государственного имущества пишут стихи. Боксеры-тяжеловесы превращаются в лагерных «дунк» и разгуливают с накрашенными губами.

В критических обстоятельствах люди меняются. Меняются к лучшему и к худшему. От лучшего к худшему и наоборот.

Со времен Аристотеля человеческий мозг не изменился. Тем более не изменилось человеческое сознание.

А значит, нет прогресса. Есть — движение, в основе которого лежит неустойчивость.

Все это напоминает идею переселения душ. Только время я бы заменил пространством. Пространством меняющихся обстоятельств...

Как это поется:

«Был Якир героем, стал врагом народа...»

И еще — лагерь представляет собой довольно точную модель государства. Причем именно Советского государства. В лагере имеется диктатура пролетариата (то есть — режим), народ (заключенные), милиция (охрана). Там есть партийный аппарат, культура, индустрия. Есть все, чему положено быть в государстве.

Советская власть давно уже не является формой правления, которую можно изменить. Советская власть есть образ жизни нашего государства.

То же происходит и в лагере. В этом плане лагерная охрана — типично советское учреждение...

Как видите, получается целый трактат. Может быть, зря я все это пишу? Может, если этого нет в рассказах, то все остальное — бесполезно?..

Посылаю вам очередные страницы. Будет минута, сообщите, что вы о них думаете.

У нас все по-прежнему. Мать в супермаркете переходит от беспомощности на грузинский язык.

Дочка презирает меня за то, что я не умею водить автомашину.

Только что звонил Моргулис, просил напомнить ему инициалы Лермонтова.

Лена вам кланяется...

Наша рота дислоцировалась между двумя большими кладбищами. Одно было русским, другое — еврейским. Происхождение еврейского кладбища было загадкой. Поскольку живых евреев в Коми нет.

В полдень с еврейского кладбища доносились звуки траурных маршей. Иногда к воротам шли бедно одетые люди с детьми. Но чаще всего там было пустынно и сыро.

Кладбище служило поводом для шуток и рождало мрачные ассоциации.

Выпивать солдаты предпочитали на русских могилах...

Я начал с кладбища, потому что рассказываю историю любви.

Медсестра Раиса была единственной девушкой в нашей казарме. Она многим нравилась, как нравилась бы любая другая в подобной ситуации. Из ста человек в нашей казарме девяносто шесть томилось похотью. Остальные лежали в госпитале на Койне.

При всем желании Раю трудно было назвать хорошенькой. У нее были толстые щиколотки, потемневшие мелкие зубы и влажная кожа.

Но она была добрая и приветливая. Она была все же лучше хмурых девиц с торфоразработок. Эти девицы брели по утрам вдоль ограды, игнорируя наши солдатские шутки. Причем глаза их, казалось, были обращены внутрь...

Летом в казарму явился новый инструктор — Пахапиль. Он разыскал своего земляка Ханнисте, напоил его шартрезом и говорит:

— Ну, а барышни тут есть?

— И даже много, — заверил его Ханнисте, подрезая ногти штыком от автомата.

— Как это? — спросил инструктор.

— Солоха, Рая и восемь «дунок»...

— Сууре пярасельт! — воскликнул Густав. — Тут можно жить!

Солохой звали лошадь, на которой мы возили продукты. «Дуньками» называют лагерных педерастов. Рая была медсестрой...

В санчасти было прохладно даже летом. На окнах покачивались белые марлевые занавески. Еще там стоял запах лекарств, неприятный для больных.

Инструктор был абсолютно здоров, но его часто видели те, кто ходил под окнами санчасти. Солдаты заглядывали в окна, надеясь, что Рая будет переодеваться. Они видели затылок Пахапиля и ругались матом.

Пахапиль трогал холодные щипчики и говорил об Эстонии. Вернее, о Таллинне, об игрушечном городе, о Мюндибаре. Он рассказывал, что таллинские голуби нехотя уступают дорогу автомобилям.

Иногда Пахапиль добавлял:

«Настоящий эстонец должен жить в Канаде...»

Как-то раз его лицо вдруг стало хмурым и даже осунулось. Он сказал: «Замолчать!» — и повалил Раю на койку.

В санчасти пахло больницей, и это многое упрощало. Пахапиль лежал на койке, обитой холодным дерматином. Он замерз и подтянул брюки.

Инструктор думал о своей подруге Хильде. Он видел, как Хильда идет мимо Ратуши...

Рядом лежала медсестра, плоская, как слово на заборе. Пахапиль сказал:

— Ты разбила мне сердце...

Ночью он снова пришел. Когда он постучал, за дверью стало чересчур тихо. Тогда Густав сорвал крючок.

На койке сидел безобразно расстегнутый ефрейтор Петров. Раю инструктор заметил не сразу.

— Вольно! — сказал Фидель, придерживая брюки. — Вольно, говорю...

— Курат! — воскликнул Густав. — Падаль!

— Мамочки! — сказала Рая и добавила. — Выразаться не обязательно.

— Ах ты, нерусский, — сказал Фидель.

— Сука! — произнес инструктор, заметив Раю.

— А что, если мне вас обоих жалко? — сказала Рая. — Что тогда?

— Чтобы все дошли! — сказал инструктор.

В коридоре громко запел дневальный:

...Сорок метров крепдешина,
Пудра, тушь, одеколон...

— Ваша жена может приезжать, — сказала Рая, — она такая интересная дама. Я видела фотку...

— Надо сейчас давать по морде! — крикнул инструктор.

Фидель носил баки. На плече его видна была татуировка: голая женщина и рядом слова:

«Милэди, я завтра буду с вами!»

— Хромай отсюда, — сказал Фидель.

Пахапиль умел драться. С любой позиции он мог до-

стать Фиделя. Его учил боксу сам Вольдемар Хансович Ней.

Фидель достал из эмалированной ванночки скальпель. Его глаза побелели.

— Пришел, — возмутилась Раиса, — и стоит, как неродной. Скромнее надо быть. Ваша нация почище евреев. Те хоть не пьют...

— Кругом! — сказал Фидель.

— Подождал бы до завтра, — сказала Рая.

Пахапиль засмеялся и ушел досматривать телепередачу.

— Живет недалеко, — сказала Рая, — взяла бы да приехала. Тоже уж мне, генеральша...

— Одно слово — немцы, — покачал головой Фидель.

19 марта 1982 года. Нью-Йорк

Наш телефонный разговор был коротким и поспешным. И я не договорил. Так что вернемся к перу и бумаге.

Недавно я прочитал книгу — «Азеф». В ней рассказывается о головокружительной двойной игре Азефа. О его деятельности революционера и провокатора.

Как революционер он подготовил несколько успешных террористических актов. Как агент полиции выдал на расправу многих своих друзей.

Все это Азеф проделывал десятилетиями.

Ситуация кажется неправдоподобной. Как мог он избежать разоблачения? Одурачить Гершуни и Савинкова? Обвести вокруг пальца Рачковского и Лопухина? Так долго пользоваться маской?

Я знаю, почему это стало возможным. Разгадка в том, что маски не было. Оба его лица были подлинными. Азеф был революционером и провокатором — одновременно.

Полицейские и революционеры действовали одинаковыми методами. Во имя единой цели — народного блага.

Они были похожи, хоть и ненавидели друг друга.

Поэтому-то Азеф и не выделялся среди революционеров. Как, впрочем, и среди полицейских. Полицейские и революционеры говорили на одном языке.

И вот я перехожу к основному. К тому, что выражает сущность лагерной жизни. К тому, что

составляет главное ощущение бывшего лагерного надзирателя. К чертам подозрительного сходства между охранниками и заключенными. А если говорить шире — между «лагерем» и «волей».

Мне кажется, это главное.

Жаль, что литература бесцельна. Иначе я бы сказал, что моя книга написана ради этого...

«Каторжная» литература существует несколько веков. Даже в молодой российской словесности эта тема представлена грандиозными образцами. Начиная с «Мертвого дома» и кончая «ГУЛАГом». Плюс — Чехов, Шаламов, Синявский.

Наряду с «каторжной» имеется «полицейская» литература. Которая также богата значительными фигурами. От Честертона до Агаты Кристи.

Это — разные литературы. Вернее — противоположные. С противоположными нравственными ориентирами.

Таким образом, есть два нравственных преискуранта. Две шкалы идейных представлений.

По одной — каторжник является фигурой страдающей, трагической, заслуживающей жалости и восхищения. Охранник — соответственно — монстр, злодей, воплощение жестокости и насилия.

По второй — каторжник является чудовищем, исчадием ада. А полицейский, следовательно, — героем, моралистом, яркой творческой личностью.

Став надзирателем, я был готов увидеть в заключенном — жертву. А в себе — карателя и душегуба.

То есть я склонялся к первой, более гуманной шкале. Более характерной для воспитавшей меня русской литературы. И, разумеется, более убедительной. (Все же Сименон — не Достоевский.)

Через неделю с этими фантазиями было покончено. Первая шкала оказалась совершенно фальшивой. Вторая — тем более.

Я, вслед за Гербертом Маркузе (которого, естественно, не читал), обнаружил третий путь.

Я обнаружил поразительное сходство между лагерем и волей. Между заключенными и надзирателями. Между домужниками-рецидивистами и контролерами производственной зоны. Между зеками-нарядчиками и чинами лагерной администрации.

По обе стороны запретки расстилался единый и бездушный мир.

Мы говорили на одном прибалтийском языке. Распевали одинаковые сентиментальные песни. Претерпевали одни и те же лишения.

Мы даже выглядели одинаково. Нас стригли под машинку. Наши обветренные физиономии были расцвечены багровыми пятнами. Наши сапоги распространяли запах конюшни. А лагерные робы издали казались неотличимыми от заношенных солдатских бушлатов.

Мы были очень похожи и даже — взаимозаменяемы. Почти любой заключенный годился на роль охранника. Почти любой надзиратель заслуживал тюрьмы.

Повторяю — это главное в лагерной жизни. Остальное — менее существенно.

Все мои истории написаны об этом...

Кстати, недавно пришла бандероль из Дортмута. Два куска фотопленки и четыре страницы текста на папиросной бумаге.

Кое-что, я слышал, попало в Голубую Лагуну...

Жаль, если пропадет что-нибудь стоящее. Ладно...

Буду лететь из Миннеаполиса — сойду в Детройте. Встретите на машине — хорошо. Нет, доберусь сам.

Крышу отремонтировать не обязательно...

Прежде чем выйти к лесоповалу, нужно миновать знаменитое осокинское болото. Затем пересечь железнодорожную насыпь. Затем спуститься под гору, обогнув мрачные корпуса электростанции. И лишь тогда оказаться в поселке Чебью.

Половина его населения — сезонники из бывших зеков. Люди, у которых дружба и ссора неразличимы по виду.

Годами они тянули срок. Затем надевали гражданское тряпье, двадцать лет пролежавшее в каптерках. Уходили за ворота, оставляя позади холодный стук штыря. И тогда становилось ясно, что желанная воля есть знакомый песенный рефрен, не больше.

Мечтали о свободе, пели и клялись... А вышли — и тайга до горизонта...

Видимо, их разрушало бесконечное однообразие лагерных дней. Они не хотели менять привычки и восстанавливать утраченные связи. Они селились между лагерями в поле зрения часовых. Храня, если можно так выразиться, идей-

ный баланс нашего государства, раскинувшегося по обе стороны лагерных заборов.

Они женились бог знает на ком. Калечили детей, внушая им тюремные премудрости:

«Только мелкая рыба попадает в сети...»

В результате поселок жил лагерным кодексом. Население его щеголяло блатными повадками. И даже третье поколение любой семьи кололось морфином. А заодно тянуло «дурь» и ненавидело конвойные войска.

И не стоило появляться здесь выпившему чекисту. Над головой его, увенчанной красным околышем, быстро собирались тучи. За спиной его хлопали двери. И хорошо, если парень был не один...

Год назад три пильщика вывели из шалмана бледного чекиста. На плечах его топорщились байковые крылышки. Он просил, упирался и даже командовал. Но его ударили так, что фуражка закатилась под крыльцо. А потом сделали «качели». Положили ему доску на грудь и шагнули коваными сапогами.

Наутро кладовщики обнаружили труп. Сначала думали — пьяный. Но вдруг заметили узкую кровь, стекавшую изо рта под голову.

Затем приезжал сюда военный дознаватель. Говорил о вреде алкоголя перед картиной «Неуловимые мстители». А на вопросы: «Как же ефрейтор Дымза?! Испекся, что ли?! И все, с концами?!» — отвечал:

— Следствие, товарищи, на единственно верном пути!..

Пильщики же так и соскочили. Хотя на Чебью их знала каждая собака...

Чтобы выйти к лесоповалу, нужно миновать железнодорожное полотно. Еще раньше — шаткие мостки над белой от солнца водой. А до этого — поселок Чебью, наполненный одурью и страхом.

Вот его портрет, точнее — фотоснимок. Алебастровые лиры над заколоченной дверью местного клуба. Лавчонка, набитая пряниками и хомутами. Художественно оформленные диаграммы, сулящие нам мясо, яйца, шерсть, а также прочие интимные блага. Афиша Леонида Кострицы. Мертвец или пьяный у обочины.

И над всем этим — лай собак, заглушающий рев пилорамы...

Впереди шел инструктор Пахапиль с Гаруном. В руке он держал брезентовый поводок. Закуривая и ломая спички, он что-то говорил по-эстонски.

Всех собак на питомнике Густав учил эстонскому языку. Вожатые были этим недовольны. Они жаловались старшине Евченко:

«Ты ей приказываешь — к ноге! А сучара тебе в ответ — ни хт ферштейн!»

Инструктор вообще говорил мало. Если говорил, то по-эстонски. И в основном не с земляками, а с Гаруном. Пес всегда сопровождал его.

Пахапиль был замкнутым человеком. Осенью на его имя пришла телеграмма. Она была подписана командиром части и секретарем горисполкома Нарвы:

«Срочно вылетайте регистрации гражданкой Хильдой Кокс находящейся девятом месяце беременности».

Вот так эстонец, думал я. Приехал из своей Курляндии. Полгода молчал, как тургеневский Герасим. Научил всех собак лаять по-басурмански. А теперь улетает, чтобы зарегистрироваться с гражданкой, откликающейся на потрясающее имя — Хильда Кокс.

В тот же день Густав уехал на попутном лесовозе. Месяц скулил на питомнике верный Гарун. Наконец Пахапиль вернулся.

Он угостил дневального таллиннской «Примой». Сшибая одуванчики новеньким чемоданом, подошел к гимнастическим брусьям. Сунул руку каждому из нас.

— Женился? — спросил его Фидель.

— Та, — ответил Густав, краснея.

— Папочкой стал?

— Та.

— Как назвали? — спросил я.

Мне в самом деле было интересно, как назвали ребенка. Ведь матушка его отзывалась на имя Хильда Кокс.

Вот так эстонец, думал я. Год прожил на краю земли. Перепортит всех конвойных собак. Затем садится на попутный лесовоз и уезжает. Уезжает, чтобы под крики «горько» целовать невообразимую Хильду Браун. Вернее — Кокс.

— Как назвали младенца? — спрашиваю.

Густав взглянул на меня и потушил сигарету о каблук:

— Терт ефо снает...

И ушел на питомник болтать с четвероногим адъютантом.

Теперь они снова появлялись вместе. Пес казался более разговорчивым.

Однажды я увидел Пахапиля за книгой. Он читал в натопленной сушилке. За столом, пожелтевшим от ружейного масла. Под железными крючьями для тулупов. Гарун спал у его ног.

Я подошел на цыпочках. Заглянул через плечо. Это была русская книга. Я прочитал заглавие:

«Фокусы на клубной сцене»...

Впереди идет Пахапиль с Гаруном. В руке у него брезентовый поводок. То и дело он щелкает себя по голенищу.

На ремне его болтается пустая кобура. ТТ лежит в кармане.

С леса дорогу блокирует ефрейтор Петров. Маленький и неуклюжий, Фидель, спотыкаясь, бредет по обочине. Он часто снимает без нужды предохранитель. Вид у Фиделя такой, словно его насильно привязали к автомату.

Зеки его презирают. И в случае чего — не пощадят.

Год назад возле Синдора Фидель за какую-то провинность остановил этап. Сняв предохранитель, загнал колонну в ледяную речку. Зеки стояли молча, понимая, как опасен шестидесятизарядный АКМ в руках неврастеника и труса.

Фидель минут сорок держал их под автоматом, распаяясь все больше и больше. Затем кто-то из дальних рядов неуверенно пустил его матерком. Колонна дрогнула. Передние запели.

Над рекой пронеслось:

А дело было в старину,
Эх, под Ростовом-на-Дону,
Со шмарой, со шмарой...
Какой я был тогда чудак,
Надел ворованный пиджак,
И шкары, и шкары...

Фидель стал пятиться. Он был маленький, неуклюжий, в твердом полушубке. Крикнул с побелевшими от ужаса глазами:

— Стой, курва, приморю!

И вот тогда появился рецидивист Купцов. (Он же — Коваль, Анаги-заде, Гак, Шаликов, Рожин.) Вышел из первой шеренги. И в наступившей сразу тишине произнес, легко отводя рукой дуло автомата:

— Ты загорелся? Я тебя потушу...

Пальцы его белели на темном стволе.

Фидель рванул на себя АКМ. Дал слепую очередь над головами. И все пятился, пятился...

Тогда я увидел Купцова впервые. Его рука казалась изящной. Телогрейка в морозный день была распахнута. Рядом вместо замершей песни громоздились слова:

«Я тебя потушу...»

Он напоминал человека, идущего против ветра. Как

будто ветер навсегда избрал его своим противником. Куда бы ни шел он. Что бы ни делал...

Потом я видел Купцова часто. В темной сырой камере изолятора. У костра на лесоповале. Бледного от потери крови. И ощущение ветра уже не покидало меня.

Впереди шагает Пахапиль с Гаруном. Щелкая брезентовым ремешком, он что-то говорит ему по-эстонски. На родном языке инструктор обращается только к собакам.

Слева колонну охраняет распятый на берданке ефрейтор Петров. За этот фланг можно быть спокойным. Людям известно, что значит модернизированный АК в руках такого воина, как Фидель.

Мы переходим холодную узкую речку. Следим, чтобы заключенные не спрятались под мостками. Выводим бригаду к переезду. Ощущая запах вокзальной гари, пересекаем железнодорожную насыпь. И направляемся к лесоповалу.

Так называется участок леса, окруженный символической непрочной изгородью. На уровне древесных крон торчат фанерные сторожевые вышки.

Охрану несет караульная группа. Возглавляет ее сержант Шумейко, который целыми днями томится, ожидая ЧП.

Мы заводим бригаду в сектор охраны. После этого наши обязанности меняются.

Пахапиль становится радистом. Он достает из сейфа Р-109. Выводит гибкую, как бамбуковое удилище, антенну. Затем роняет в просторный эфир таинственные нежные слова:

— Алло, Роза! Алло, Роза! Я — Пион! Я — Пион! Вас не слышу. Вас не слышу!..

Фидель с гнусным шумом двигает ржавые штыри в проходном коридоре. Он считает карточки. Берет ключи от пирамиды. Осматривает сигнальные «Янтари» и «Хлопушки». Трогает, хорошо ли растоплена печь. Превращается в контролера хозяйственной зоны.

Зеки разводят костры. Шоферы лесовозов выстраиваются за соляжкой. Перекликаются на вышках часовые. Сержант Шумейко, чью личность мы впервые оценили после драки на Койне, тихо засыпает. Хотя наш единственный топчан предназначен для бойца, свободного от караула.

Двенадцать сторожевых постов утвердились над лесом. Начинается рабочий день.

Вокруг — дым костров, гул моторов, запах свежих опилок, переключки часовых. Эта жизнь медленно растворяется в бледном сентябрьском небе.

Гулко падают сосны. Тягачи волокут их, подминая ку-

старник. Солнце ослепительными бликами ложится на фары машин. А над лесоповалом в просторном эфире беззвучно мечутся слова:

— Алло, Роза! Алло, Роза! Я — Пион! Я — Пион! Часовые на вышках! Сигнализация в порядке! Запретная полоса распахана! Воры приступили к работе! Прием! Вас не слышу! Вас не слышу!..

Контролер пропустил меня в зону. Сзади неприятно звякнул штыр. У костра расконвоированный повар Галимулин заряжал чифирбак. Я прошел мимо, хотя употребление чифира было строго запрещено. Режимная инструкция приравнивала чифиристов к наркоманам. Однако все бакланье чифирило, и мы это знали. Чифир заменял им женщин.

Галимулин подмигнул мне. Я убедился, что мой либерализм зашел слишком далеко. Мне оставалось только пригрозить ему кондеем. На что Галимулин вновь одарил меня своей басурманской улыбкой. Передние зубы у него отсутствовали.

Я прошел мимо балана, любуясь желтым срезом. Уступил дорогу тягачу, с шумом ломавшему ветки. Защищая физиономию от паутины, вышел через лес к инструментальной мастерской.

Зеки раскатывали бревна, обрубали сучья. Широкоплечий татуированный стропаль ловко орудовал багром.

— Поживей, уркаганы, — крикнул он, заслонив ладонью глаза, — отстающих в коммунизм не берем! Так и будут доходить при нынешнем строе...

Сучкорубы опустили топоры, кинули бушлаты на груды веток. И опять железо блеснуло на солнце.

Я шел и думал:

«Энтузиазм? Порыв? Да ничего подобного. Обычная гимнастика. Кураж... Сила, которая легко перешла бы в насилие. Дай только волю...»

Переговариваясь с часовыми, я обогнул лесоповал вдоль запретки. Прыгая с кочки на кочку, миновал ржавое болото. И вышел на поляну, тронутую бледным утренним солнцем.

У низкого костра спиной ко мне расположился человек. Рядом лежала толстая книга без переплета. В левой руке он держал бутерброд с томатной пастой.

— А, Купцов, — сказал я, — опять волынишь?! В крытку захотел?

В отголосках трудового шума, у костра -- зек был похож на морского разбойника. Казалось, перед ним штурвал и судно движется навстречу ветру...

...Зима. Штрафной изолятор. Длинные тени под соснами. Окна, забытые снегом.

За стеной, позвякивая наручниками, бродит Купцов. В книге нарядов записано:

«Отказ».

Я достаю из сейфа матрикул Бориса Купцова. Тридцать слов, похожих на взрывы: БОМЖ (без определенного места жительства). БОЗ (без определенных занятий). Гриф ОР (опасный рецидивист). Тридцать два года в лагерях. Старейший «законник» усть-вымского лагпункта. Четыре судимости. Девять побегов. Принципиально не работает...

Я спрашиваю:

— Почему не работаешь?

Купцов звякает наручниками:

— Сними браслет, начальник! Это золото без пробы.

— Почему не работаешь, волк?

— Закон не позволяет.

— А жрать твой закон позволяет?

— Нет такого закона, чтобы я голодал.

— Ваш закон отжил свое. Все законники давно раскололись. Антипов стучит. Мамай у кума — первый человек. Седой завис на морфине. Топчилу в Ропче повязали...

— Топчила был мужик и фрайер, зеленый, как гусиное дерьмо. Разве он вор? Двинуть бабкин «угол» — вот его фортуна. Так и откороновался...

— Ну, а ты?

— А я — потомственный российский вор. Я воровал и буду...

Передо мной у низкого костра сидит человек. Рядом на траве белеет книга. В левой руке он держит бутерброд...

— Привет, — сказал Купцов, — вот рассуди, начальник. Тут написано — убил человек старуху из-за денег. Мучился так, что сам на каторгу пошел. А я, представь себе, знал одного клиента в Туркестане. У этого клиента — штук тридцать мокрых дел и ни одной судимости. Лет до семидесяти прожил. Дети, внуки, музыку преподавал на старости лет... Более того, история показывает, что можно еще сильнее раскрутиться. Например, десять миллионов угробить, или там сколько, а потом закурить «Герцеговину флор»...

— Слушай, — говорю я, — ты будешь работать, кланусь. Рано или поздно ты будешь шофером, стропалем, вожачиком. На худой конец — сучкорубом. Ты будешь работать либо околеешь в ШИЗО. Ты будешь работать, даю слово. Иначе ты сдохнешь...

Зек оглядел меня как вещь. Как заграничный автомо-

биль напротив Эрмитажа. Проследил от радиатора до выхлопной трубы. Затем он внятно произнес:

— Я люблю себя тешить...

И сразу — капитанский мостик над волнами. Изорванные в клочья паруса. Ветер, соленые брызги... Мираж... Я спрашиваю:

— Будешь работать?

— Нет. Я родился, чтобы воровать.

— Иди в ШИЗО!

Купцов встает. Он почти вежлив со мной. На лице его застыла гримаса веселого удивления.

Где-то падают сосны, задевая небо. Грохочет лесовоз.

Неделю Купцов доходит в изоляторе. Без сигарет, без воздуха, на полухлебе.

— Ты даешь, начальник, — говорит он, когда я прохожу мимо амбразуры.

Наконец контролер отпускает его в зону.

В тот же день у него появляются консервы, масло, белый хлеб. Загадочная организация, тюремный горсобес, снабжает его всем необходимым...

Февраль. Узкие тени лежат между сосен. На питомнике лают собаки.

Покинув казарму, мы с Хедояном оказываемся в зоне.

— Давай, — говорит Рудольф, — иди вдоль простреливаемого коридора, а я тебе навстречу.

Он идет через свалку к изолятору. По уставу мы должны идти вместе. Надзиратели ходят только вдвоем. Недаром капитан Прищепа говорит: «Двое — это больше, чем Ты и Я. Двое — это МЫ...»

Мы расстаемся под basketбольными щитами. Зимней полночью они напоминают виселицы. Как только я исчезну за баками свалки, Рудольф Хедоян вернется. Он закурит и направится к вахте, где тикают ходики. Я тоже мог бы вернуться. Мы бы все поняли и рассмеялись. Но для этого я слишком осторожен. Если это случится, я буду отсиживаться на вахте каждый раз.

Я надвигаю воркутинский капюшон и распахиваю дверь соседнего барака. Нестерпимо грохочет привязанный к скобе эмалированный чайник. Значит, в бараке не спят. Нары пусты. Стол завален деньгами и картами. Кругом — человек двадцать в нижнем белье. Взглянув на меня, продолжают игру.

— Не торопись, ахуна, — говорит карманник Чалый, — всех пощекочу!

— Жадность фрайера губит, — замечает валютчик Белуга.

— С довеском, — показывает карты Адам.

— Задвигаю и вывожу, — тихо роняет Купцов...

Я мог бы уйти. Водворить на место чайник и захлопнуть дверь. Клубы пара вырвались бы из натопленного жилья. Я бы шел через зону, ориентируясь на прожекторы возле КПП, где тикают ходики. Я мог остановиться, выкурить сигарету под баскетбольной корзиной. Три минуты постоять, наблюдая, как алеет в снегу окурочок. А потом на вахте я бы слушал, как Фидель говорит о любви. Я бы даже крикнул под общий смех:

— Эй, Фидель, ты лучше расскажи, как по ошибке на старшину Евченко забрался...

Для всего этого я недостаточно смел. Если это случится, мне уже не зайти в барак...

Я говорю с порога:

— Когда заходит начальник, положено вставать.

Зеки прикрывают карты.

— Без понта, — говорит Купцов, — сейчас нельзя...

— Это вилы, начальник, — произносит Адам.

Остальные молчат. Я протягиваю руку. Сгребаю податливые мятые бумажки. Сюю в карманы и за пазуху. Чалый хватает меня за локоть.

— Руки! — приказывает ему Купцов.

И потом, обращаясь ко мне:

— Начальник, остынь!

Хлопает дверь за спиной, гремит эмалированный чайник.

Я иду к воротам. Бережно, как щенка, несу за пазухой деньги. Ощущаю на своих плечах тяжесть всех рук, касавшихся этих мятых бумажек. Горечь всех слез. Злую волю...

Я не заметил, как подбежали сзади. Вокруг стало тесно. Чужие тени кинулись под ноги. Мигнула лампочка в проволочной сетке. И я упал, не расслышав собственного крика...

В госпитале я лежал недели полторы. Над моей головой висел репродуктор. В гладкой фанерной коробке жили мирные новости. На тумбочке стояли шахматные фигуры вперемешку с пузырьками для лекарств. За окнами расстился морозный день. Пейзаж в оконной раме...

Сухое чистое белье... Мягкие шлепанцы, застиранный теплый халат... Веселая музыка из репродуктора... Клиническая прямота и откровенность быта. Все это заслоняло изолятор, желтые огни над лесобиржей, примерзших к автомаатам часовых. И тем не менее я вспоминал Купцова очень часто. Я не удивился бы, пожалуй, зайдя он ко мне в своей лагерной робе. Да еще и с книгой в руках.

Я не знал, кто ударил меня возле пожарного стенда. И все же чувствовал: неподалеку от белого лезвия мелькнула улыбка Купцова. Упала, как тень, на его лицо...

В шлепанцах и халате я пересек заснеженный двор. Оказавшись в темном флигеле, натянул сапоги. Затем приехал в штаб на лесовозе. Явился к подполковнику Гречневу. На его столе размахивал копьём чугунный витязь. Тон был начальственно-фамильярный:

— Говорят, на тебя покушение было?

— Просто сунули шабер в задницу.

— Ну и что хорошего? — спросил подполковник.

— Да так, — говорю, — ничего.

— Как это произошло?

— Играли в буру. Я отнял деньги.

— Когда тебя обнаружили, денег не было.

— Естественно.

— Зачем же ты приключений ищешь?

— Затем, что подобные вещи кончаются резней.

— Товарищ подполковник...

— Резней, товарищ подполковник.

— Это в наших интересах.

— Я думаю, надо по закону.

— Ладно, считай, что я этого не говорил. Ты питерский?

— С Охты.

— В штабе рассказывают такой анекдот. Приехал майор Бережной на Ропчу. Дневальный его не пускает. Бережной кричит: «Я из штаба части!» Дневальный в ответ: «А я — с Лиговки!» Ты приемами самбо владеешь?

— Более или менее.

— Говорят — от топора и лома нет приема... Можно перевести тебя в другую команду.

— Я не боюсь.

— Это глупо. отошлем тебя в Синдор...

— А в Синдоре — не зеки? Такое же сучье и беспредельщина.

— Права думаешь качать?

— Не собираюсь.

— Товарищ подполковник.

— Не собираюсь, товарищ подполковник.

— Вот и замечательно, — сказал он, — а то прижмуриться недолго. Габариты у тебя солидные, не промахнешься...

Штабной грузовик отвез меня к переезду.

Я шел по укатанной гладкой дороге. Затем — по испачканной конским навозом лежневке. Сокращая дорогу, пересек замерзший ручей. И дальше — мимо воробьиного гвалта. Вдоль голубоватых сугробов и колючей проволоки.

Сопровождаемый лаем караульных псов, я вышел к зоне. Увидел застиранный розовый флаг над чердачным окошком казармы. Покосившийся фанерный гриб и дневального с кинжалом на ремне. Незнакомого солдата у колодца. Чистые дрова, сложенные штабелем под навесом. И вдруг ощу-

тил, как стосковался по этой мужской тяжелой жизни. По этой жизни с куревом и бранью. С гармошками, тулупами, автоматами, фотографиями, заржавленными бритвенными лезвиями и дешевым одеколоном...

Я зашел к старшине. Отдал ему продовольственный аттестат. Затем направился в сушилку.

Там, вокруг помоста, заваленного ржавыми дисками от штанги, сидели бойцы и чистили картофель.

Вопросов мне не задавали. Только писарь Богословский усмехнулся и говорит:

— А мы тебя навечно в списки части занесли...

Как я затем узнал, из штаба части присылали военного дознавателя. Он прочитал лекцию:

«Вырождение буржуазного искусства».

Потом ему задали вопрос:

«Как там наш амбал?»

Лектор ответил:

— Следствие на единственно верном пути, товарищи...

Купцова я увидел в зоне. Это случилось перед разводом конвойных бригад. Он подошел и, не улыбаясь, спросил:

— Как здоровье, начальник?

— Ничего, — говорю, — а ты по-прежнему в отказе?

— Пока закон кормит.

— Значит, не работаешь?

— Воздерживаюсь.

— И не будешь?

Мимо нас под грохот сигнального рельса шли заключенные. Они шли группами и поодиночке — к воротам. Бугры ловили по зоне отказчиков. Купцов же стоял на виду...

— Не будешь работать?

— Нихт, — сказал он, — зеленый прокурор идет — весна! Под каждым деревом — хаза.

— Думаешь бежать?

— Ага, трусцой. Говорят, полезно.

— Учти, в лесу я исполню тебя без предупреждения.

— Заметано, — ответил Купцов и подмигнул.

Я схватил его за борт телогрейки.

— Послушай, ты — один! Воровского закона не существует. Ты один...

— Точно, — усмехнулся Купцов, — солист. Выступаю без хора.

— Ну и сдохнешь. Ты один против всех. А значит, не прав...

Купцов произнес медленно, внятно и строго:

— Один всегда прав...

И вдруг я понял, что рад этому зеку, который хотел меня убить. Что я постоянно думал о нем. Что жить не могу без Купцова.

Это было так неожиданно, глупо, противно... Я решил все обдумать, чтобы не кривить душой.

Я отпустил его и зашагал прочь. Я начинал о чем-то догадываться. Вернее — ощущать, что этот последний законник усть-вымского лагпункта — мой двойник. Что рецидивист Купцов (он же — Шаликов, Рожин, Алямов) мне дорог и необходим. Что он — дорожке солдатского товарищества, поглотившего жалкие крохи моего идеализма. Что мы — одно. Потому что так ненавидеть можно одного себя.

И еще я почувствовал, как он устал...

Я помню ту зиму, февраль, вертикальный дым над бараками. Когда лагерь засыпает, становится очень тихо. Лишь иногда волкодав на блокпосту приподнимает голову, звякнув цепью.

Мы втроем на КПП.

Фидель греет руки около печной заслонки. Козырек его фуражки сломан. Он напоминает птичий клюв. Рядом сидит женщина в темных от растаявшего снега бурках.

— Фамилия наша Купцовы, — говорит она, развязывая платок.

— Свидание не положено.

— Так я же издалека.

— Не положено, — твердит Фидель.

— Мальчики...

Фидель молчит, затем наклоняется к женщине и что-то шепчет. Он что-то говорит ей, наглей и стыдась.

Вводят Купцова. Он идет по-блатному, как в миру. Сукулится и прячет кулаки в рукава. И снова у меня ощущение бури над его головой. Снова я вижу капитанский мостик...

Зек останавливается в проходном коридоре. Заглядывает на вахту, узнает и смотрит, смотрит... Не устает смотреть. Только пальцы его белеют на стальной решетке.

— Боря, — шепчет женщина, — совсем зеленый.

— Как огурчик, — усмехается тот.

— Свидание не положено, — говорит Фидель.

— Они предложили, — женщина с тоской глядит на мужа, — они предложили... Мне срамно повторить...

— Найду, — тихо, одному себе говорит Купцов, — найду я вас, ребята... А уж получать буду — не скощу...

— Баклань, — угрожающе произносит Фидель, — в изоляторе клеток навалом.

И потом, обращаясь к дежурному надзирателю:

— Увести!

Женщина вскрикивает, плачет. Купцов стоит, прижавшись к решетке щекой.

— Соглашайся, Тамара, — неожиданно и внятно гово-

рит он, — соглашайся. Соглашайся, чего предложили начальники...

Надзиратель берет его за локоть.

— Соглашайся, Томка, — говорит он.

Надзиратель тащит его, почти срывая робу. Видны худые мощные ключицы и синий орел на груди.

— Соглашайся, — все еще просит и умоляет Купцов...

Я распахиваю дверь. Выхожу на дорогу. Меня ослепляет фарами громыхающий лесовоз. В наступившей сразу же крошечной тьме дорога едва различима. Я оступаю, падаю в снег. Вижу небо, белое от звезд. Вижу дрожащие огни над лесобиржей...

Все расплывается, ускользает. Я вспоминаю море, дюны, обесцвеченный песок. И девушку, которая всегда была права. И то, как мы сидели рядом на днище перевернутой лодки. И то, как я поймал окунька, бросил его в море. А потом уверял девушку, что рыбка крикнула: «Мерси!»...

Потом я уже не чувствовал холода и догадался, что замерзаю. Тогда я встал и пошел. Хотя знал, что буду еще не раз оступаться и падать...

Через несколько минут я ощутил запах сырых березовых дров. Увидел белый дым над вахтой.

Стекла КПП роняли дрожащие желтые блики на отполированную тягачами лежневку...

Когда я зашел, Фидель, морщась от пламени, выгребал угли. Инструктор, вернувшись с обхода, пил чай. Женщины не было...

— Такая бикса эта Нюрка, — говорил Фидель, — придешь — водяра, холодец. Сплошное мамбо итальяно. Кирнешь, закусишь, и понеслась душа в рай. А главное — душевно, типа: «Ваня, не желаешь ли рассолу?»

— Нельзя ли договориться, — хмуро спросил инструктор, — чтобы она мне выстирала портянки?

И опять наступила весна. Последний черный снег унес особенное зимнее тепло. По размытым лежневкам медленно тянулись дни...

Этот месяц Купцов просидел в изоляторе. Он дошел. Под распаханной телогрейкой выделялись ключицы. Зек вел себя тихо, лишь однажды бросился на Фиделя. Мы их с трудом растащили.

Я не удивился. Волк ненавидит собак и людей. Но все-таки больше — собак.

Трижды я отпускал его в зону. Трижды у нарядчика появлялась короткая запись:

«Отказ»...

Начальник конвоя в зеленом плаще осветил фонариком список.

— Лесоповал — на выход! — скомандовал он.

Мы приняли бригаду у ворот жилой зоны. Пахапиль, сдерживая Гаруна, ушел вперед. Я, выдержав дистанцию, оказался сзади.

Поселок Чебью встретил нас лаем собак, запахом мокрых бревен, хмурым равнодушием обитателей.

Вдоль захламленных дворишков мы направились к больнице. Повернули к реке, свободной ото льда, неожиданно чистой и блестящей. Прошли грубо сколоченными мостками. Пересекли железнодорожную линию с бесцветной травой между шпал. Миновали огромные цистерны, водокачку и помпезное здание железнодорожного сортира. И уж затем вышли на грязную от дождей лежневку.

— В детстве я любил по грязи шлепать, — сказал мне Фидель, — а ты? Сколько я галош в дерьме оставил — это страшно подумать!..

Около лесоповала мы встретили караульную группу. Часовые были в полушубках. В руках они несли телефонные аппараты и подсумки с магазинами.

Пахапиль остановил зеков, тронул козырек и начал докладывать.

— Отставить! — прервал его начальник караула Шумейко.

Громадный и рябой, он выглядит сонным, даже когда бегаёт за пивом. Яркую индивидуальность сержанта Шумейко можно оценить лишь в ходе чрезвычайных происшествий. Все, за исключением ЧП, ему давно наскучило...

Шумейко пересчитал заключенных. Тасуя их личные карточки, направил в предзонник одну шеренгу за другой. И наконец махнул часовым.

Мы зашли на КПП. Фидель кинул оружие в пирамиду и лег на топчан. Я осмотрел сигнализацию и начал растапливать печь.

Пахапиль достал из сейфа рацию. Вытащил гибкую, как удилице, металлическую антенну. И потом огласил небесные сферы таинственными заклинаниями:

— Алло, Роза! Алло, Роза! Я — Пион! Я — Пион! Сигнализация в порядке. Запретка распахана. Урки работают. Вас не слышу, вас не слышу, вас не слышу...

Я зашел в производственный сектор, направился к инструменталке. Возле бочки с горючим темнела унылая длинная очередь. Кто-то закурил, но сразу бросил папиросу. Карманник Чалый, увидев меня, нарочито громко запел:

На бану, на бану,
Эх, да на баночке,
Чемоданчик гробану,
И спасибо ночке...

Со мной заговаривали, я отвечал. Затем, нагибаясь, вышел через лес к поляне. Там возле огня сидел на корточках человек.

— Не работаешь, бес?

— Воздерживаюсь. Привет, начальник.

— Значит, в отказе?

— Без изменений.

— Будешь работать?

— Закон не позволяет.

— Две недели ШИЗО!

— Начальник...

— Будешь работать?

— Начальник...

— Шофером, возчиком, сучкорубом...

Я подошел и разбросал костер.

— Будешь работать?

— Да, — сказал он, — пойдём.

— Сучкорубом или возчиком?

— Да. Пойдём.

— Иди вперед...

Он шел и придерживал ветки. Ступал в болото, не глядя.

Под вышкой около сваленного дерева курили заключенные. Я сказал нарядчику:

— Топор.

Нарядчик усмехнулся.

— Топор! — крикнул я.

Нарядчик подал Купцову топор.

— К Летяге в бригаду пойдешь?

— Да.

Пальцы его неумело сжимали конец топорича. Кисть выглядела изящно на темном залоснившемся древке.

Как я хотел, чтобы он замахнулся! Я бы скинул клифт. Я бы скинул двадцать веков цивилизации. Я бы припомнил все, чему меня учили на Ропче. Я бы вырвал топор и, не давая ему опомниться...

— Ну, — приказал я, стоя в двух шагах. Ощущая каждую травинку под сапогами. — Ну! — говорю.

Купцов шагнул в сторону. Затем медленно встал на колени около пня. Положил левую руку на желтый, шершавый, мерцающий срез. Затем взмахнул топором и опустил его до последнего стука.

— Наконец, — сказал он, истекая кровью, — вот теперь — хорошо...

— Чего стоишь, гандон, — обратился ко мне подбежавший нарядчик, — ты в дамках — зови лепилу!..

4 апреля 1982 года. Миннеаполис

Буду краток, поскольку через три дня вас увижу.

Миннеаполис — огромный тихий город. Людей почти не видно. Автомобилей тоже мало.

Самое интересное здесь — река Миссисипи. Тасамая. Ширина ее в этих краях — метров двести. Короче, на виду у толпы американских славистов я эту реку переплыл.

Переплыл Миссисипи. Так и напишу в Ленинград. По-моему, ради одного этого стоило ехать...

Знаете, в марте я давал интервью Рою Стиллману. И он спросил:

— Чем тебя больше всего поразила Америка?

Я ответил:

— Тем, что она существует. Тем, что это — реальность.

Америка для нас была подобна Карфагену или Трое. И вдруг оказалось, что Бродвей — это реальность. Тиффани — реальность. Небоскреб Утюг — реальность. И Миссисипи — реальность...

Как-то иду я по Нижнему Манхэттену. Останавливаюсь возле бара. Называется бар — «У Джонни». Захожу. Беру свой айриш-кофе и располагаюсь у окна.

Чувствую, под столом кто-то есть. Наклоняюсь — пьяный босяк. Совершенно пьяный негр в красной рубашке. (Кстати, я такую же рубашку видел на Евтушенко.)

И вдруг я чуть не заплакал от счастья. Неужели это я?! Пью айриш-кофе в баре «У Джонни». А под столом валяется чернокожий босяк...

Конечно, счастья нет. Покоя тоже нет. К тому же я слабовольный. И так далее.

Конечно, все это мишура, серпантин. И бар, и пьяный негр, и айриш-кофе. Но что-то, значит, есть и в серпантине. Сколько раз за последнее десятилетие менялся фасон женских шляп? А серпантин тысячу лет остается серпантином...

Допустим, счастья нет. Покоя — нет. И воли — тоже нет.

Но есть какие-то приступы бессмысленного восторга. Неужели это я?

Живу в отеле «Куртис» с множеством разнообразных увеселений. Есть бар. Есть бассейн. Есть какая-то подозрительная «Гавана-рум». Есть лавка сувениров, где я приобрел купальные трусики

для Миссисипи. (На передней части изображена сосиска и два крутых яйца...)

Есть чистые простыни, горячая вода, телевизор, бумага. Есть потрясающий сосед — Эрнст Неизвестный. (Только что он убедительно доказывал Гаррисону Солсбери: «Вертикаль — это Бог. Горизонталь — это Жизнь. В точке пересечения — я, Микеланджело, Шекспир и Кафка...»)

Есть — вы, которому я шлю это дурацкое письмо.

Живу в отеле. Участвую в каком-то непонятном симпозиуме. Денег — около сотни.

Рано утром выйду из гостиницы. Будет прохладно и сыро. Меня остановит какой-нибудь голодранец и спросит:

— Нет ли спичек?

Я отвечу:

— Держи.

И протяну ему зажигалку. И человеку будет трудно прикурить на ветру. И тогда я добавлю:

— В себя, в себя...

И вряд ли он будет глазеть мне в след. Потому что эти несколько слов я могу выговорить без акцента.

Он скажет:

— Прохладный день сегодня.

И я отвечу:

— Sure.

И мы пойдем — каждый своей дорогой. Два абсолютно свободных человека. Участник непонятного симпозиума и голодранец в джемпере, которому позавидовал бы Евтушенко...

Ночью мы играли в бинго. И Неизвестный проиграл четыре раза. Значит, он победит в какой-то другой, неведомой игре...

Всех обнимаю. Скоро увидимся. Везу небольшой отрывок и конец тюремной повести. Мне его передали через Левина из Техаса. Начало отсутствует. Начинаясь она, я помню, так:

«На Севере вообще темнеет рано. А в зоне — особенно...»

Я эту фразу куда-нибудь вставляю.

Ну, до встречи...

Как только оборвался рев моторов, высоко над головами зашумели сосны. Заключение бросили работу, вытащили ложки из-за голенищ, пошли к сараю.

Баландер погрузил черпак в густую и темную жижу. Ели молча, затем достали кисеты и прикурили от ловни.

Дым костра уходил, становился бледным октябрьским небом. Было тихо. Сосны шумели в опустевшем без гула моторов пространстве над лесоповалом.

— Поговорим о чудесах? — сказал бугор Агешин, нагнувшись рваный зековский треух.

— Кончай, — отозвался Белуга, — после твоих разговоров не спится.

— Не спится? А ты возьми ЕГО — да об колена! На воле свежий заведешь, куда богаче...

Зеки нехотя рассмеялись. Осенний воздух был пропитан запахом солярки. Покачивались деревья в бледном небе. Солнце припадало к шершавым желтоватым баланам.

В стороне курили двое. Коротконогий парень в застиранной телогрейке — Ерохин. И бывший прораб, уроженец черниговской области, тощий мужик — Замараев.

— Пустой ты человек, Ероха, — говорил Замараев, — пустой и несерьезный. Таким в гробу и в зоосаде место...

— Уймись, — сказал Ероха, — попер как на буфет!.. А то ведь у меня не заржавеет. Могу пощекотить...

— Испугал... Все треплешь языком, а жизнь проходит... Ерохин рассердился:

— Брось мансы раскидывать, чернуха здесь не пролазит... Да и что с тобой говорить? Ты же серый! Ты же позавчера на радиоприемник с вилами кидался... Одно слово — мужик...

— У нас в каждой избе — радиоточка, — сказал Замараев.

Он мечтательно возвысил глаза и продолжал:

— У меня пятистенка была... Сарай под шифером... Коровник рубленый... За окнами — жасмин... Я жил по совести. Придет, бывало, кум на разговенье...

— Кум? — забеспокоился Ероха. — Опер, что ли?

— Опер... Сам ты — опер. Кум, говорю... Родня... Придет, бывало. Портвейного вина несет бутылку... Кум у меня серьезный человек был, инвалид...

— Партийный, что ли? — снова вмешался Ероха.

— Беспартийный коммунист, — отчеканил Замараев, — ногу потерял в ежовщину...

— Значит, враг народа?

— Не враг, а лейтенант ОГПУ. Таких, как мы, шакалов охранял. Ноги лишился. На боевом посту отморозил... Из рядов его выгнали, но пенсию дали...

— Зря, — сказал Ероха.

Замараев не расслышал. По лицу его бродила счастливая улыбка. Он продолжал:

— А кум мой пошутить любил. Бывало, говорит с порога: «Иди за маленькой!» Я только галоши надену, а кум смеется: «Отставить, у меня есть». И достает бутылку красного. У нас вино продавалось за рубль четыре. А на вкус как за рубль семьдесят две. Разольем, бывало... Благодать, порядок в доме... Я жил по совести...

— По совести... А сел за что?

Замараев молча стукнул веточкой по голенищу.

— За что, говорю, сел? — не унимался Ероха.

— Да за олифу.

— Крал, что ли?

— Олифу-то?

— Ну.

— Олифу-то да.

— По совести... А потом ее куда? На базар?

— Нет, пил вместо лимонада.

— Так, — усмехнулся Ероха, — сколько ж ты олифы двинул?

— Эх, было время, — сказал Замараев, — было время... Олифы-то? Тонны две.

— Сколько ж это денег? Полкуска?

— По иску — сорок тыщ. На старые, конечно...

— Ого! А если взять на кир перевести?

— Пустой ты человек, — рассердился Замараев, — одно у тебя в голове. Ты шел бы в цирк вместо кенгуру. Слышал про кенгуру? Такая, с гаманцом на брюхе...

— Да не прихватывай ты, — сказал Ероха, — не прихватывай. А то как дам по чавке!

— Ладно, — остановил его Замараев, — проехали... А сел я то, что завидно людям с чужих миллионов. С деньгами я кругом начальник. Деньги — сила...

— Вот наступит коммунизм, — злобно произнес Ероха, — и останешься ты без денег, хуже грязи. При коммунизме деньги-то отменят...

— Навряд ли, — сказал Замараев, — без денег все растащат. Так что не отменят. А будут деньги — мне и коммунизм не страшен.

— На что тебе, серому, деньги? Керогаз разжигать? Ты полботинки хоть когда-либо носил? Импортные полботинки? Хотя бы китайские, — шумел Ероха, изумленно глядя на свои разбитые лагерные прохаря.

— Сапоги у меня были яловые, — откликнулся Замараев, — деверем пошиты.

— Как это — деревом? — не понял Ероха.

— Дикий ты парень. Русского языка не понимаешь...

Но Ероху уже понесло дальше:

— Вот мне бы эти сорок тыщ! Так я бы раскрутился. По-твоему, жизнь — что? Она — калейдоскоп! Уж я давал

гастроль на воле. Придешь, бывало, в коктейль-холл. Швыряешь три червонца. Тебе — коньяк, бефстроганов, филе... Опять же музыка играет, всюду девы. Разрешите, как говорится, на тур вальса? В смысле, танго... Она танцует, разодета, блестит, как щука... После везешь ее на хату... В дороге — чего-нибудь из газет, Сергей Есенин, летающие тарелки... Ну, я давал гастроль!.. А если вдруг отказ, то я знал метод, как любую уговорить по-хорошему. Метод простой: «Ложись, — говорю, — сука, а то убью!..» Да, я умел рогами шевелить. Аж девы подо мной кричали!..

— Что без толку кричать? — сказал Замараев.

— Эх ты, деревня! А секс?

— Чего? — не понял Замараев.

— Секс, говорю...

— Ты по-людски скажи.

— Да любовь же, любовь.. По-твоему, любовь — это что? Любовь — это... Любовь — это... калейдоскоп. Типа — сегодня одна, завтра другая...

— Любовь, — сказал Замараев, — это чтобы порядок в доме. Чтобы уважение... А с твоими и по деревне не ходи. От людей срамотища.

— Да ты всю жизнь на одной кобыле ездил. А у меня в каждом СМУ — законная жена... Конечно, я не говорю... Бывает... Поймаешь что-либо на кончик...

— А? — не понял Замараев.

— На кончик, говорю... Ну, это... гонорея...

— Чего?

— Во мужик, гонореи не знает! Да трипак же, трипак!

— А-а, — Замараев чуть отодвинулся, — ты вообще как сюда попал? Не за это ли случайно?

— На танцах взяли. Намекнул одному шабером под ребра.

— С концами, что ли?

— Где с концами?! Выжил гад. Он, падла, на суде кричит: «Ерохина прощаю!»

А прокурор — в отказ:

«Вы-то — да, а общество простить не может...»

Сначала я в глухую несознанку шел. Кричу:

«Напился, все забыл!..»

Ну, а в конце менты подраскололи. Сознался. Кричу: «Стреляй! Чего не стреляешь, козел?! Видел бы Ленин твою штрафную чавку!..»

Это я — прокурору. Вот он и дал мне три года ни за что. Про меня в газете статья была. Не веришь? Ей-богу! Называлась — «Плесень».

— Оно и видно, — сказал Замараев.

— А хочешь, я тайну скажу? — неожиданно выговорил Ерохин. — Хочешь, скажу тайну, от которой позеленеешь. Только — чтобы никому...

— Знаю я ваши тайны. Кабур роете под хлеборезку.

— Кабур — это что... Ну, хочешь, скажу? Тебе одному, как другу. Вот слушай: я по матери — Эпштейн...

— Эпштейн, — недоверчиво прищурился Замараев, — видали мы таких Эпштейнов... Да ты — фонак, как и не мы... А если ты Эпштейн, зачем сидишь по хулиганке? Зачем не по торговой части шел?

— В отца, — коротко пояснил Ероха.

— Эпштейн, — повторял Замараев.

— Деревня, — слышалось в ответ...

Гул сигнального рельса медленно канул в просторном октябрьском небе. Донесся стук пилорамы. За деревьями, громыхая, прошел лесовоз.

— Пойду молотить, — сказал Ероха.

Он поднялся, стряхнул табачные крошки. Затем, не оглядываясь, двинулся через лес к инструменталке.

— Вот так мужик, гонореи не знает, — усмехнулся Ероха.

— Пустой человек, несерьезный, — бормотал ему вслед Замараев.

«Кого только не прихватывают», — думал Ероха.

«Откуда такие берутся?» — вторил ему прораб...

Лес наполнился туманом. Залаяла собака на блокпосту. Появился опер Борташевич в узких хромовых сапогах.

Заключенные нехотя встали, потушили костер и разошлись.

На вышках сменились часовые. Кто-то от скуки включил прожектор.

17 апреля 1982 года. Нью-Йорк

Я все думаю о нашем разговоре. Может быть, дело в том, что зло произвольно. Что его определяют — место и время. А если говорить шире — общие тенденции исторического момента.

Зло определяется конъюнктурой, спросом, функцией его носителя. Кроме того, фактором случайности. Неудачным стечением обстоятельств. И даже — плохим эстетическим вкусом.

Мы без конца проклинали товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов? (Эта цифра фигурировала в закрытых партийных документах.) Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой?

Ничего подобного. Их написали простые совет-

ские люди. Означает ли это, что русские — нация доносчиков и стукачей? Ни в коем случае. Просто сказались тенденции исторического момента.

Разумеется, существует врожденное предрасположение к добру и злу. Более того, есть на свете ангелы и монстры. Святые и злодеи. Но это — редкость. Шекспировский Яго, как воплощение зла, и Мышкин, олицетворяющий добро, — уникальны. Иначе Шекспир не создал бы «Отелло».

В нормальных же случаях, как я убедился, добро и зло — произвольны.

Так что, упаси нас Бог от пространственно-временной ситуации, располагающей ко злу...

Одни и те же люди выказывают равную способность к злодеянию и добродетели. Какого-нибудь рецидивиста я легко мог представить себе героем войны, диссидентом, защитником угнетенных. И наоборот, герои войны с удивительной легкостью растворялись в лагерной массе.

Разумеется, зло не может осуществляться в качестве идейного принципа. Природа добра более тяготеет к широковещательной огласке. Тем не менее в обоих случаях действуют произвольные факторы.

Поэтому меня смешит любая категорическая нравственная установка. Человек добр!.. Человек подл!.. Человек человеку — друг, товарищ и брат... Человек человеку — волк... И так далее.

Человек человеку... как бы это получше выразиться — табула раса. Иначе говоря — все, что угодно. В зависимости от стечения обстоятельств.

Человек способен на все — дурное и хорошее. Мне грустно, что это так.

Поэтому дай нам Бог стойкости и мужества. А еще лучше — обстоятельств времени и места, располагающих к добру...

За двенадцать лет службы у Егорова накопилось шесть пар именных часов «Ракета». Они лежали в банке из-под чая. А в ящичке стола у него хранилась кипа похвальных грамот.

Незаметно прошел еще один год.

Этот год был темным от растаявшего снега. Шумным от лая караульных псов. Горьким от кофе и старых пластинок.

Егоров собирался в отпуск. Укладывая вещи, капитан говорил своему другу оперу Борташевичу:

— Приеду в Сочи. Куплю рубаху с попугаями. Найду курортницу без предрассудков...

— Презервативы купи, — деловито советовал опер.

— Ты не романтик, Женя, — отвечал Егоров, доставая из ящика несколько маленьких пакетов, — с шестидесятого года валяются...

— И что — ни разу?! — выкрикивал Борташевич.

— По-человечески — ни разу. А то, что было, можно не считать...

— Понадобятся деньги — телеграфируй.

— Деньги — не проблема, — отвечал капитан...

Он прилетел в Адлер. Купил в аэропорту малиновые шорты. И поехал автобусом в Сочи.

Там он познакомился с аспиранткой Катюшей Лугиной. Она коротко стриглась, читала прозу Цветаевой и недолго любила грузин.

Вечером капитан и девушка сидели на остывающем песке. Море пахло рыбой и водопроводом. Из-за кустов с танцплощадки доносились прерывистые вопли репродуктора.

Егоров огляделся и притянул девушку к себе. Та вырвалась, оскорбленно чувствуя, какими жесткими могут быть его руки.

— Бросьте, — сказал Егоров, — все равно этим кончится. Незачем разыгрывать мадам Баттерфляй...

Катя, не замахаясь, ударила его по лицу.

— Стоп! — выговорил капитан. — Удар нанесен открытой перчаткой. Судья на ринге делает вам замечание...

Катя не улыбнулась:

— Потрудитесь сдерживать ваши животные инстинкты!

— Не обещаю, — сказал капитан.

Девушка взглянула на Егорова миролюбиво.

— Давайте поговорим, — сказала она.

— Например, о чем? — вяло спросил капитан.

— Вы любите Гейне?

— Более или менее.

— А Шиллера?

— Еще бы...

Днем они катались на лодке. Девушка сидела на корме. Егоров широко греб, ловко орудуя веслами.

— Поймите же, — говорила Катя, — цинизм Есенина — это только маска. Бравада... свойственна тем, кто легко раним...

Или:

— Прошлым летом за мной ухаживал Штоколов. Как-то Борис запел в гостях, и два фужера лопнули от резонанса.

— Мне тоже случалось бить посуду в гостях, — реагировал капитан, — это нормально. Для этого вовсе не обязательно иметь сильный голос...

Или:

— Мне кажется, разум есть осмысленная форма проявления чувства. Вы не согласны?

— Согласен, — говорил капитан, — просто я отвык...

Как-то раз им повстречалась в море лодка. Под рулем было выведено ее название — «Эсмеральда».

— Эй, на полубаке! — закричал Егоров, всем опытом и кожей чувствуя беду. Ощувив неприятный сквознячок в желудке.

Правил «Эсмеральдой» мужчина в зеленой бобочке. На корме лежал аккуратно свернутый голубой пиджак.

Капитан сразу же узнал этого человека.

Фу, как неудобно, подумал он. Чертовски неудобно перед барышней. Получается какой-то фрайерский детектив...

Егоров развернулся и, не оглядываясь, поплыл к берегу...

Они сидели в чебуречной на горе. Блестели лица, мигали светильники, жирный туман наполнял помещение.

Егоров снисходительнопил рислинг, а Катя говорила:

— Нужно вырваться из этого ада... Из этой проклятой тайги... Вы энергичны, честолюбивы... Вы могли бы добиться успеха...

— У каждого свое дело, — терпеливо объяснял Егоров, — свое занятие... И некоторым достается работа вроде моей. Кто-то должен выполнять эти обязанности?

— Но почему именно вы?

— У меня есть к этому способности. Нервы в порядке, мало родственников.

— Но у вас же диплом юриста?

— В какой-то мере сие облегчает работу.

— Если бы вы знали, Павел Романович, — сказала Катя, — если бы вы только знали... Ах, насколько вы лучше моих одесских приятелей! Всех этих Мариков, Шуриков, Толиков... Разных там Стасов в оранжевых носках...

— У меня тоже есть оранжевые носки, — воскликнул капитан, — подумаешь... Я их у спекулянта приобрел...

К столику приблизился красноносый дядька.

— Я угадал рецепт вашего нового коктейля, — сказал Егоров, — забористая штука! Рислинг пополам с водой!..

Они пошли к выходу. У окна сидел мужчина в зеленой бобочке и чистил апельсин. Егоров хотел пройти мимо, но тот заговорил:

— Узнаете, гражданин начальник?

Боевик, подумал Егоров, ковбойский фильм...

— Нет, — сказал он.

— А штрафной изолятор вы помните?

— Нет, я же сказал.

— А пересылку на Витью?

— Никаких пересылок. Я в отпуске...

— Может, лесоповал под Синдором? — не унимался бывший зек.

— Там было слишком много комаров, — припомнил Егоров.

Мужчина встал. Из кулака его выскользнуло узкое белое лезвие. Тотчас же капитан почувствовал себя большим и мягким. Пропали разом запахи и краски. Погасли все огни. Ощущения жизни, смерти, конца, распада сузились до предела. Они разместились на груди под тонкой сорочкой. Слились в ослепительно белую полосу ножа.

Мужчина уселся, продолжая чистить апельсин.

— Что ему нужно, — спросила девушка, — кто это?

— Пережиток капитализма, — ответил Егоров, — но вообще-то изрядная сволочь. Простите меня...

Говоря это, капитан подумал о многом. Ему хотелось выхватить из кармана ПМ. Затем — вскинуть руку. Затем опустить ее до этих ненавидящих глаз... Затем грубо выругаться и нажать спусковой крючок...

Всего этого не случилось. Мужчина сидел неподвижно. Это была неподвижность противотанковой мины.

— Молись, чтоб я тебя не встретил, — произнес Егоров, — а то застрелю, как собаку...

Капитан и девушка гуляли по аллее. Ее пересекали тени кипарисов.

— Чудесный вечер, — осторожно сказала Катя.

— Восемнадцать градусов, — уточнил капитан.

Низко пролетел самолет. Иллюминаторы его были освещены.

Катя сказала:

— Через минуту он скроется из виду. А что мы знаем о людях, которые там? Исчезнет самолет. Унесет невидимые крошечные миры. И станет грустно, не знаю почему...

— Екатерина Сергеевна, — торжественно произнес капитан и остановился, — выслушайте меня... Я одинокий человек... Я люблю вас... Это глупо... У меня нет времени, отпуск заканчивается... Я постараюсь... Освежу в памяти классиков... Ну и так далее... Я прошу вас...

Катя засмеялась.

— Всех благ, — произнес капитан, — не сердитесь. Прощайте...

— Вас интересует, что я думаю? Хотите меня выслушать?

— Интересует, — сказал капитан, — хочу.

— Я вам очень благодарна, Павел Романович. Я посоветуюсь... и уеду с вами...

Он шагнул к ней. Губы у девушки были теплые и шершавые, как листок, нагретый солнцем.

— Неужели я вам понравился? — спросил Егоров.

— Я впервые почувствовала себя маленькой и беспомощной. А значит, вы сильный.

— Тренируемся понемногу, — сказал капитан.

— До чего же вы простой и славный!

— У меня есть более ценное достоинство, — объявил капитан, — я неплохо зарабатываю. Всякие там надбавки и прочее. Зря вы смеетесь. При социализме это важно. А коммунизм все еще проблематичен... Короче, вам, если что, солидная пенсия будет.

— Как это — если что?

— Ну, там, пришьют меня зеки. Или вохра пьяная что-нибудь замочит... Мало ли... Офицеров все ненавидят, и солдаты, и зеки...

— За что?

— Работа такая. Случается и поприжать человека...

— А этот? В зеленой кофте? Который вам ножик показывал?

— Не помню... Вроде бы я его приморил на лесоповале...

— Ужас!

Они стояли в зеленой тьме под ветками. Катя сказала, глядя на яркие окна пансионата:

— Мне пора. Тетка, если все узнает, лопнет от злости.

— Я думаю, — сказал капитан, — что это будет зрелище не из приятных...

Через несколько минут он шел по той же аллее — один. Он шел мимо неясно белеющих стен. Мимо дрожащих огней. Под шорохом темных веток.

— Который час? — спросил у него запоздалый прохожий.

— Довольно поздно, — ответил капитан.

Он зашагал дальше, фальшиво насвистывая старый мотив, румбу или что-то в этом плане...

3 мая 1982 года. Бостон

Недавно я перечитывал куски из вашей «Метapolитики». Там хорошо написано об издержках свободы. О том, какой ценой свобода достается.

О свободе как постоянной цели, но и тяжком бремени...

Посмотрите, что делается в эмиграции. Брайтонский НЭП — в разгаре. Полно хулиганья. (Раньше я был убежден, что средний тип еврея — профессор Эйхенбаум.)

Недавно там открыли публичный дом. Четыре барышни — русские и одна филиппинка...

Налоговое ведомство обманываем. В конкурентов постреливаем. В газетах печатаем Бог знает что...

Бывшие кинооператоры торгуют оружием. Бывшие диссиденты становятся чуть ли не прокурорами. Бывшие прокуроры — диссидентами...

Хозяева ресторанов сидят на вэлфейре и даже получают фудстемпы. Автомобильные права можно купить за сотню. Ученую степень — за двести пятьдесят...

Обидно думать, что вся эта мерзость — порождение свободы. Потому что свобода одинаково благосклонна и к дурному, и к хорошему. Под ее лучами одинаково быстро расцветают и гладиолусы, и марихуана...

В этой связи я припоминаю одну невероятную лагерную историю. Заключенный Чичеванов, грабитель и убийца, досиживал на особом режиме последние сутки. Назавтра его должны были освободить. За плечами оставалось двадцать лет срока.

Я сопровождал его в головной поселок. Мы ехали в автозаке с железным кузовом. Чичеванов, согласно инструкции, помещался в тесной металлической камере. В дверях ее было проделано отверстие. Заключенные называют это приспособление:

«Я его вижу, а он меня — нет».

Я, согласно той же инструкции, расположился в кузове у борта. В дороге мне показалось нелепым так бдительно охранять Чичеванова. Ведь ему оставалось сидеть несколько часов.

Я выпустил его из камеры. Мало того — затеял с ним приятельскую беседу.

Внезапно коварный зек оглушил меня рукояткой пистолета. (Как вы догадываетесь — моего собственного пистолета.) Затем он выпрыгнул на ходу и бежал.

Шесть часов спустя его задержали в поселке Иоссер. Чичеванов успел взломать продуктовый

ларь и дико напиться. За побег и кражу ему добавили четыре года...

Эта история буквально потрясла меня. Случившееся казалось невероятным, противоестественным и даже трансцендентным явлением. Но капитан Прищепа, старый лагерный офицер, мне все разъяснил. Он сказал:

— Чичеванов отсидел двадцать лет. Он привык. Тюрьма перестроила его кровообращение, его дыхательный и вестибулярный аппарат. За воротами тюрьмы ему было нечего делать. Он дико боялся свободы и задохнулся, как рыба...

Нечто подобное испытываем мы, российские эмигранты.

Десятилетиями мы жили в условиях тотальной несвободы. Мы были сплющены наподобие камбалы тяжчайшим грузом всяческих запретов. И вдруг нас подхватил разрывающий легкие ураган свободы.

И мы отправились взламывать продуктовый ларь...

Кажется, я отвлекся.

Следующие два фрагмента имеют отношение к предыдущему эпизоду. В них фигурирует капитан Егоров — тупое и злобное животное. В моих рассказах он получился довольно симпатичным. Налицо метаморфозы творческого процесса...

Раньше это было что-то вроде повести. Но Дрейцер переслал мне лишь разрозненные страницы. Я попытался их укомплектовать. Создал киномонтаж в традициях господина Дос-Пассоса. К стати, в одной старой рецензии меня назвали его эпигоном...

Катя повернула выключатель, окна стали темными.

Было очень рано. В прихожей гулко тикали ходики.

Катя сунула ноги в остывшие домашние чуни. Вышла на кухню. Вернулась. Постояла немного, кутаясь в синий байковый халатик. Затем оторвала листок календаря, стала читать внимательно и медленно, так, словно от этого зависело многое:

«Двадцать восьмое февраля. Четверг. Пятьсот шестьдесят лет назад родился Абдуррахман Джами. Имя этого выдающегося деятеля персидской культуры...»

— Егоров, проснись, — сказала Катя, — вода замерзла.

Капитан беспокожно заворочался во сне.

— Павел, в умывальнике — лед...

— Нормально, — сказал капитан, — вполне нормально... При нагревании образуется лед... А при охлаждении... Не так... При охлаждении — лед. А при нагревании — дым... Третий закон Ньютона. В чем я отнюдь не уверен...

— Снегу намело до форточки. Павел, не спи...

— Осадки, — реагировал Егоров, — ты лучше послушай, какой я сон видел. Как будто Ворошилов подарил мне саблю. И этой саблей я щекочу майора Ковбу...

— Павел, не кривляйся.

Капитан быстро поднялся, выкатил из угла холодные черные гантели.

При этом он сказал:

— Век тренируйся, а кита не перепьешь... И все равно не будешь таким сильным, как горилла...

— Павел!

— Что такое?! Что случилось?

Егоров подошел к ней и хотел обнять.

Катя вырвалась и громко заплакала. Она вздрагивала и кривила рот.

— А плакать зачем? — тихо спросил Егоров. — Плакать не обязательно. Тем более — рыдать...

Тогда Катя закрыла лицо руками и сказала медленно-медленно. Так, чтобы не помешали слезы:

— Я больше не могу.

Помрачнев, капитан достал сигарету. Молча закурил.

За окнами бродило серое морозное утро. Голубоватые длинные тени лежали на снегу.

Егоров медленно оделся, накинул ватник, захватил топор. Снег взвизгивал под его лыжными ботинками.

«Ведь где-то есть иная жизнь, — думала Катя, — совсем иная жизнь... Там земляника, костры и песни... И лабиринт тропинок, пересеченных корнями сосен... И реки, и люди, ожидающие переправы... Где-то есть серьезные белые книги. Вечно ускользающая музыка Баха... шорох автомобильных колес... А здесь — лай собак. Пилорама гудит с утра до вечера. А теперь еще и лед в умывальнике...»

Катя подышала на стекло. Егоров ставил чурбан. Некоторое время приглядывался к сучкам. Потом коротко замахивался и резко опускал топор, слегка наклонив его...

По радио звучал «Турецкий марш». Катя представила себе турецкое войско. Как они бредут по глубокому снегу в тяжелых чалмах. Пробираются от АХЧ к инструменталке. Их ятаганы примерзли к ножнам, чалмы обледенели...

«Боже, — подумала Катя, — я теряю рассудок!»

Егоров вернулся с охапкою дров. Обрушил их возле

печки. Затем вынул из кармана тюремный месырь с фиксатором, отнятый при шмоне. Стал щепать лучину...

«Раньше я любила зиму, — думала Катя, — а теперь ненавижу. Ненавижу мороз по утрам и темные вечера. Ненавижу лай собак, заборы, колючую проволоку. Ненавижу сапоги, телогрейки... и лед в умывальнике...»

— Молчи, — сказала она, — я ненавижу твою правоту!

— Как это? — не понял Егоров, затем сказал: — Ну, хочешь, привезу из Вожаеля яблок, шампанского, позовем Женьку Борташевича с Ларисой...

— Твой Борташевич стрижет за обедом ногти.

— Тогда Вахтанга Кекелидзе. У него папаша — князь.

— Кекелидзе — пошляк!

— То есть?

— Ты не знаешь.

— Почему не знаю, — сказал капитан, — я знаю. Я знаю, что он к тебе цеплялся. У грузин такой порядок. Парень холостой... Неприятно, конечно... Можно и в рыло заехать...

— Женщине это необходимо.

— Что именно?

— Чтобы за ней ухаживали.

— Родить тебе надо, — сказал капитан...

Хриплый, вибрирующий лай на питомнике усилился. Среди других голосов выделялся один нарастающий тембр.

— Почему меня не раздражали чайки, — сказала Катя, — или дикие утки? Я не могу, не могу, не могу переносить этот лай...

— Это Гарун, — сказал Егоров.

— Ужас...

— Ты еще волков не слышала. Страшное дело...

В печке, разгораясь, шипели дрова. И вот уже запахло мокрым снегом.

— Павел, не сердись.

— Чего сердиться?..

— Привези из Вожаеля яблок.

— Между прочим, лед в умывальнике тает.

Катя подошла сзади, обняла его.

— Ты большой, — сказала она, — как дерево в грозу.

Мне за тебя страшно.

— Ладно, — сказал он, — все будет хорошо. Все будет просто замечательно.

— Неужели все будет хорошо?

— Все будет замечательно. Если сами мы будем хорошими...

— А правда, что лед в умывальнике тает?

— Правда, — сказал он, — это нормально. Закон природы...

На питомнике снова залаял Гарун.

— Погоди, — отстранил Катю Егоров, — я сейчас вернусь. Дело минуты...

Катя опустила руки. Вышла на кухню. Приподняла тяжелую крышку умывальника. Там оплывала небольшая глыба льда.

— Действительно — тает, — вслух произнесла Катя.

Она вернулась, присела. Егорова не было.

Катя завела охрипший патефон. Она вспомнила стихи, которые посвятил ей Леня Мак, штангист и непризнанный гений:

...Видно, я тут не совсем кстати...
Патефон давно затих, шепчет...
Лучше вальса подождем, Катя,
Мне его не танцевать легче...

На питомнике раздался выстрел. Хриплый собачий лай перешел на визг и затих.

Через несколько минут вернулся капитан. Прошел мимо окон. Он что-то нес завернутое в брезент.

Катя боялась поднять глаза.

— Ну что, — усмехнулся Егоров, — потише стало?

Катя попыталась спросить:

— Что же?.. Куда же теперь?..

— Это не проблема, — успокоил ее капитан, — вызову шныря с лопатой...

17 мая 1982 года. Принстон

Как вы знаете, Шаламов считает лагерный опыт — полностью негативным...

Я немного знал Варлама Тихоновича через Гену Айги. Это был поразительный человек. И все-таки я не согласен.

Шаламов ненавидел тюрьму. Я думаю, этого мало. Такое чувство еще не означает любви к свободе. И даже — ненависти к тирании.

Советская тюрьма — одна из бесчисленных разновидностей тирании. Одна из форм тотального всеобъемлющего насилия.

Но есть красота и в лагерной жизни. И черной краской здесь не обойтись.

По-моему, одно из ее воспитательных украшений — язык.

Законы языкознания к лагерной действительности — неприменимы. Поскольку лагерная речь

не является средством общения. Она — не функциональна.

Лагерный язык менее всего рассчитан на практическое использование. И вообще, он является целью, а не средством.

На человеческое общение тратится самый минимум лагерной речи:

«...Тебя нарядчик вызывает...» — «...Сам его ищут...» Такое ощущение, что зеки экономят на бытовом словесном материале. В основном же лагерная речь — явление творческое, сугубо эстетическое, художественно-бесцельное.

Тошнотворная лагерная жизнь дает языку преференцию особой выразительности.

Лагерный язык — затейлив, картинно живописен, орнаментален и щеголеват. Он близок к звукописи ремизовской школы.

Лагерный монолог — увлекательное словесное приключение. Это — некая драма с интригующей завязкой, увлекательной кульминацией и бурным финалом. Либо оратория — с многозначительными паузами, внезапными нарастаниями темпа, богатой звуковой нюансировкой и душераздирающими голосовыми фиоритурами.

Лагерный монолог — это законченный театральный спектакль. Это — балаган, яркая, вызывающая и свободная творческая акция.

Речь бывалого лагерника заменяет ему все привычные гражданские украшения. А именно — прическу, заграничный костюм, ботинки, галстук и очки. Более того — деньги, положение в обществе, награды и регалии.

Хорошо поставленная речь часто бывает единственным оружием лагерного старожилы. Единственным для него рычагом общественного влияния. Незыблемым и устойчивым фундаментом его репутации.

Добротная лагерная речь вызывает уважение к мастеру. Трудовые заслуги в лагере не копируются. Скорее — наоборот. Вольные достижения забыты. Остается — слово.

Изысканная речь является в лагере преимуществом такого же масштаба, как физическая сила.

Хороший рассказчик на лесоповале значит гораздо больше, чем хороший писатель в Москве.

Можно копировать Бабеля, Платонова и Зощенку. Этим не без успеха занимаются десятки молодых писателей. Лагерную речь подделать

невозможно. Поскольку главное ее условие — органичность.

Разрешите воспроизвести не совсем цензурную запись из моего армейского блокнота.

«Прислали к нам сержанта из Москвы. Весьма интеллигентного юношу, сына писателя. Желая показаться завзятым взорвцом, он без конца матерился.

Раз он прикрикнул на какого-то зека:

— Ты что, ебнулся?!

(Именно так поставив ударение.)

Зек реагировал основательно:

— Гражданин сержант, вы не правы. Можно сказать — ёбнулся, ебанулся и наебнулся. А ебнулся — такого слова в русском литературном языке, уж извините, нет...

Сержант получил урок русского языка».

Фрайер, притворяющийся вором, — смешное и неприличное зрелище. О таких говорят: «Дешевка под законника канает».

Искусство лагерной речи опирается на давно сложившиеся традиции. Здесь существуют нерушимые каноны, железные штампы и бесчисленные регламенты. Плюс — необходимый творческий изыск. Это как в литературе. Подлинный художник, опираясь на традицию, развивает черты личного своеобразия...

Как это ни удивительно, в лагерной речи очень мало бранных слов. Настоящий уголовник редко опускается до матерщины. Он пренебрегает нечистойлотной матерной скороговоркой. Он дорожит своей речью и знает ей цену.

Подлинный уголовник ценит качество, а не децибеллы. Предпочитает точность — избытию.

Брезгливое: «Твое место у параша» — стоит десятка отборных ругательств. Гневное: «Что же ты, сука, дешевишь?!» — убивает наповал. Снисходительное: «Вот так фрайер — ни украсть, ни покараулить» — дезавуирует человека абсолютно...

В лагере еще жива форма словесного поединка, блистательной разговорной дуэли. Я часто наблюдал такие бои — с разминкой, притворной апатией и внезапными фейерверками убийственного красноречия. С отточенными формулировками на уровне Крылова и Лафонтена:

«Волк и меченых берет...»

В лагере не клянутся родными и близкими.

Тут не услышишь божбы и многословных восточных заверений. Тут говорят:

— Клянусь свободой!..

Следующий отрывок — про того же капитана Егорова. Куски из середины пропали. Там была история с лошадью — когда-нибудь расскажу. И еще — про бунт на Весляне, когда Егорова оглушили лопатой...

В общем, потеряно страниц двенадцать. Все оттого, что наша литература приравнивается к динамиту. По-моему, это большая честь для нас...

В уборной было чисто и прохладно. Егоров курил, сидя на подоконнике. За окном пожарные играли в городки. Проехал хлебный фургон и, качнувшись, затормозил возле булочной.

Егоров потушил сигарету и вышел. Больничный коридор пересекали солнечные лучи. Тут было много окон — легкие занавески вздрагивали и покачивались.

По коридору шла медсестра. Она была похожа на монашку и казалась хорошенькой.

Все больничные медсестры казались хорошенькими. Да они и были хорошенькими. Поскольку они были юными и здоровыми. А кругом — так много прозрачных белых занавесок, холодного света, и ничего лишнего...

— Ну как? — спросил Егоров.

— Состояние удовлетворительное, — холодно ответила медсестра.

У нее были раскосые глаза, аккуратная челка и голубоватый халат, стянутый на талии.

Медсестры в палатах и регистратуре казались бесчувственными. Ведь они говорили то, что не каждому приятно слышать...

— Ясно, — сказал капитан, — удовлетворительное — значит плохое?

— Мешаете работать, — выговорила она тоном измученной почтовой служащей.

— Сунуть бы тебя головой в мясорубку, — негромко произнес капитан.

По коридору торопливо шел хирург с четырьмя ассистентами. Они были выше его ростом. Хирург что-то говорил им, не оборачиваясь.

Егоров стал на дороге.

— Потом, потом, — отстранил хирург, — мы, врачи, суеверны...

Он почти шутил.

— Если моя жена, — произнес капитан, — если что-то случится... Все, что будет потом, уже не имеет значения.

— Перестаньте кощунствовать, — сказал хирург, — идите обедать. Выпейте портвейна. Столовая за углом...

— Какой ты здоровый, — сказал капитан.

— Кто это? — удивился хирург. — Зачем? Я же просил...

Выйдя из больницы, Егоров заплакал, отвернувшись к стене. Он вспомнил Катину лицо, детское и злое. Вспомнил пальцы с обкусанными ногтями. Припомнил все, что было...

Потом закурил и отправился в столовую. Там было несколько посетителей. Часть дюралевых табуреток стояла штабелем в углу.

Капитан сел у окна, заказал вино и шницель. Официантки в столовой казались хорошенькими и похожими на медсестер. На официантках были яркие шелковые блузки и кружевные передники. Кассирша недовольно поглядывала в зал. Перед ней лежала толстая рваная книга.

Обедая, Егоров наблюдал, как два солдата моют грузовик.

Он вышел из столовой, купил газету. Повертел и сунул ее в карман. Навстречу шла женщина с метлой. Женщина царапала мостовую с расплюснутыми окурками.

Проехал на велосипеде железнодорожник. Спицы образовывали легкий мерцающий круг.

Час спустя Егоров зашел в клинику. Он стоял в коридоре под люстрой. На окне качалось растение с твердыми зелеными побегами. Цветы в больнице казались искусственными.

По коридору шел хирург. Мокрые руки он нес перед собой, как вещь. Медсестра подала ему салфетку. Затем направилась к Егорову.

Вдруг она показала ему некрасивой. Она была похожа на умного серьезного мальчика. На медсестре был халат с чернильным пятнышком у ворота и заношенные домашние туфли.

— Вашей жене получше, — расслышал капитан, — Маневич сделал чудо.

Егоров оглянулся — хирурга не было. Он сделал чудо и затем ушел.

— Как фамилия? — переспросил Егоров, но медсестра тоже ушла.

Он спустился вниз по лестнице. Гардеробщик подал ему шинель. Капитан протянул ему рубль. Старик уважительно приподнял брови.

Медсестра в регистратуре напевала:

...Подари мне лунный камень,
Талисман моей любви...

Она показалась Егорову некрасивой.

— Вроде бы моей жене получше, — сказал капитан, — она заснула.

Помолчал и добавил:

— Все же знающие люди — евреи. Может, зря их давили веками?.. Году в шестидесятом к нам прислали одного. Все говорили — еврей, еврей... Оказался пьющим человеком...

Медсестра оборвала пение и недовольно уткнулась в бумаги.

Капитан вышел на улицу. Навстречу шли люди — в сандалиях, кепках, беретах, пестрых рубашках и темных очках. Они несли хозяйственные сумки и портфели. Женщины в разноцветных блузках казались хорошенькими и похожими на медсестер.

Но главным было то, что спит жена. Что Катя в безопасности. И что она, наконец, хмурится во сне...

24 мая 1982 года. Нью-Йорк

Я уже говорил, что зона представляет собой модель государства. Здесь есть спорт, культура, идеология. Есть нечто вроде коммунистической партии. (Секция внутреннего порядка.) В зоне есть командиры и рядовые, академики и невежды, миллионеры и бедняки.

В зоне есть школа. Есть понятия — карьеры, успеха.

Здесь сохраняются все пропорции человеческих отношений.

Огромное место в лагерной жизни занимает переписка с родными. Хотя родственники есть далеко не у всех. А на особом режиме — тем более. Сказываются годы лагерей и тюрем. Жены нашли себе других поклонников. Дети настроены против своих отцов. Друзья и знакомые либо тянут срок, либо потерялись в огромном мире.

Те же, у кого есть родные и близкие, дорожат перепиской с ними — чрезвычайно.

Письмо из дома — лагерная святыня. Упаси вас Бог смеяться над этими письмами.

Их читают вслух. Незначительные детали преподносятся как форменные сенсации.

Например, жена сообщает:

«...Ленька такой настойчивый. Кол по химии схватил...»

Счастливым отец прерывает чтение:

— Ишь ты, кол по химии...

Его физиономия растягивается в довольной улыбке.

И весь барак уважительно повторяет:

— Кол по химии... Это тебе не хрен собачий...

Иное дело — переписка с «заочницами». В ней много цинизма, притворства, рисовки.

Такие письма составляют коллективно. В них заключенные изображают себя жертвами трагических обстоятельств. Изъявляют горячее желание вернуться к созидательному труду. Сетуют на одиночество и людскую злобу.

В зоне есть корифеи эпистолярного жанра. Мастера по составлению душераздирающих текстов. Вот характерное начало лагерного письма к «заочнице»:

«Здравствуй, незнакомая женщина (а может быть — девушка) Люда! Пишет тебе бывший упорный домужник, а ныне квалифицированный водитель лесовоза — Григорий. Карандаш держу левой рукой, ибо правая моя рука гноится от непосильного труда...»

Переписка с «заочницами» — фальшива и вычурна. Но и в этих письмах содержится довольно глубокое чувство.

Очевидно, заключенному необходимо что-то лежащее вне его паскудной жизни. Вне зоны и срока. Вне его самого. Нечто такое, что позволило бы ему забыть о себе. Хотя бы на время отключить тормоза себялюбия. Нечто безнадежно далекое, почти мифическое. Может быть, дополнительный источник света. Какой-то предмет бескорыстной любви. Не слишком искренней, глупой, притворной. Но именно — любви.

Притом, чем безнадежнее цель, тем глубже эмоции.

Отсюда — то безграничное внимание, которым пользуются лагерные женщины.

Их, как правило, несколько в зоне. Работают они в административно-хозяйственном секторе, бухгалтерии и медицинской части. Помимо этого, есть жены офицеров и сверхсрочников, то и дело наведывающиеся в лагерь.

Здесь каждую, самую невзрачную, женщину провожают десятки восторженных глаз.

Это внимание по-своему целомудренно и бескорыстно. Женщина уподобляется зрелищу, театру, чистому кино. Сама недосыгаемость ее (а положение вольной женщины делает ее практически недосыгаемой) определяет чистоту мыслей.

— Ты посмотри, — говорят зеки, — какая женщина!.. Уж я бы подписался на эту марцифаль!..

Тут — упор на существительное. Тут поражает женщина вообще, а не ее конкретные достоинства. Тут властвует умами женщина как факт. Женщина, как таковая, является чудом.

Она — марцифаль. То есть нечто загадочное, возвышенное, экзотическое. Кефаль с марципаном...

Зеки крайне редко посягают на вольных служащих женщин. Во-первых, это безнадежно. Чересчур велика социальная пропасть. Кроме того, это не главное. Гораздо важнее — культ, мечта, наличие идеала.

При этом воображаемые амуры с женой начальника лагеря — одна из распространенных коллизий местного фольклора. Один из бродячих сюжетов тюремного мифотворчества.

В этом почти фантастическом сюжете есть несомненная художественная логика. Именно так реализуется мечта о социальном возмездии.

Что-то подобное случается и на воле. В Таллине у меня был приятель Эйно Рипп. Ему удалось соблазнить жену эстонского министра культуры. Она была косоглазой настолько, что посторонние люди в ресторане спрашивали:

— Что вы на меня так смотрите?..

Тем не менее Рипп ее обожал. Рипп самозатверждался, обладая женой партийного функционера. Истязая эту женщину, Рипп переживал мгновения социального торжества.

Рипп говорил мне:

— В ее лице я уделал проклятый советский режим...

Вернемся к нашей рукописи. Осталось четыре разрозненных куска. Пересказывать утраченные страницы — глупо. Восстановить их — невозможно. Поскольку забыто главное — каким был я сам.

В общем — смотрите...

Попробуйте зайти к доктору Явщицу с оторванной головой в руке. Он посмотрит на вас унылыми близорукими глазами и равнодушно спросит:

— На что жалуетесь, сержант?

Чтобы добиться у Явщица освобождения, нужно пережить авиационную катастрофу. И все-таки за год я научился симулировать болезни — от радикулита до катара. Я разработал собственный метод. Метод заключался в следующем. Я просто называл какой угодно фантастический симптом. И затем отстаивал его с диким упорством. Целый месяц, например, я дурачил Явщица, повторяя:

— Такое ощущение, доктор, что из меня выкачивают кислород. Кроме того, у меня болят ногти и чешется позвоночник...

Однако в этот раз мне не повезло. Мой радикулит бесславно провалился. Явщиц сказал мне:

— Можете идти, сержант.

И демонстративно раскрыл Сименона.

— Интересно, — сказал я, давая понять, что на врача ложится ответственность за губительный ход болезни.

— Не задерживаю вас, — промолвил доктор.

Я напился из цинкового бачка, заглянул в ленинскую комнату.

Там в одиночестве сидел Фидель. Перед ним был опрокинутый стул. Уподобляясь древним мастерам, Фидель покрывал изысканной резьбой нижнюю часть сиденья. При этом он что-то напевал.

— Здорово, — говорю.

Фидель отодвинул стул. Затем гордо поглядел на свою работу. Я прочел короткое всеобъемлющее ругательство.

— Вот, — сказал он, — крик души!

Потом спросил:

— Тебе Эдита Пьеха нравится? Только откровенно...

— Еще бы, — сказал я.

— На лицо и на фигуру?

— Ну.

— А ведь ее кто-нибудь это самое, — размышлялся Фидель.

— Не исключено, — говорю.

— В женщине главное не это, — сказал Фидель, — а главное — характер. В смысле — положительные качества... У меня была одна чувиха в Сыктывкаре, так я ей цветы дарил. Незабудки, розы, хризантемы всяческие...

— Врешь, — сказал я.

— Вру, — согласился Фидель, — только дело же не в этом. Дело в принципе... Ты в ночь заступаешь?

— Ну.

— В шестом бараке зеки что-то химичат. Сам опер предупреждал.

— А что конкретно?

— Не знаю, ты его спроси. Какую-то поганку заворачивают. Или просто волынят...

— Хорошо бы выяснить.

— Опера спроси...

Мы прошли через казарменный двор. Новобранцы занимались строевой подготовкой. Командовал ими сержант Мелешко. Завидев нас, он живо переменял тон.

— Что, Парамонов, — заорал сержант, — яйца мешают?!

Отец Парамонова был литературоведом. Маршировать его сын не умел. Гимнастерку называл сорочкой. Автомат — ружьем. Кроме того — писал стихи. С каждым днем они звучали все похабнее...

Мы прошли вдоль уборной с распахнутой дверью. Оказались на питомнике. Просторные вольеры были ограждены железными сетками. Там бесновались злобные караульные собаки. Лохматая Альма от ярости грызла собственный хвост. Ее шерсть была в крови...

Пахапиля не было. Инструктор Воликов что-то мастерил за столом. Перед ним стоял репродуктор. Задняя стенка была отвинчена. Я почувствовал острый запах канифоли.

Завидев нас, инструктор выключил паяльник.

— Хорошо у тебя, — сказал Фидель, — начальство редко заглядывает.

Мы оглядели бревенчатые стены. Небрежно убранную постель. Цветные фотоснимки над столом. Таблицу футбольного чемпионата, гитару, инструкцию по дрессировке собак...

— Попрут меня отсюда, — заметил Воликов, — собаки буквально рехнулись. Выставляю Альму на блокпост. Зек идет вдоль забора — она хвостом машет. А на солдат — бросается. Совсем одичала. Даже меня не признает. Кормлю ее, падлу, через специальную амбразуру.

— Вот бы оказаться на ее месте, — сказал Фидель, — да капитану Токарю горло перегрызть. А что, ей ведь трибунал не страшен...

— Если желаете, я щенков покажу, — сказал Воликов, натягивая брюки.

Мы, нагнувшись, прошли в специальный чулан. Там лежала на боку рыжеватая сука Мамуля. Она встревоженно подняла голову. Рядом, уткнувшись ей в брюхо, копошились щенята.

— Не трогай, — сказал Воликов Фиделю.

Он стал брать щенков и передавать нам. У них были розовые животы. Тонкие лапы дрожали.

Фидель поднес одного из них к лицу. Щенок лизнул его. Фидель засмеялся и покраснел.

Мамуля беспокойно оглядывала нас и пошевеливала хвостом.

Несколько секунд все стояли молча. Затем Фидель воздел руки, как джазовый певец Челентано на обложке грампластинки «Супрафон». Затем он покрыл матом всех семерых щенков. Суку Мамулю. Ротное начальство. Лично капитана Токаря. Местный климат. Инструкцию надзорсостава. И предстоящий традиционный лыжный кросс.

— Надо за бутылкой идти, — сказал Воликов. Как будто увидел где-то соответствующий знак.

— Нельзя, — сказал я, — мне вечером заступать.

— В шестом поганка начинается, слышал?

— А что конкретно?

— Не знаю. Опер инструктировал.

— Пойди ты к Явщицу, — сказал Фидель, — инфаркт, мол... Кашляю... В желудке рези...

— Я был. Он меня выставил.

— Явщиц совсем одичал, — заметил Воликов, поглаживая Мамулю, — абсолютно... Прихожу как-то раз. Глотать, мол, больно. А он и отвечает: «Вы бы поменьше глотали, ефрейтор!..» Намекает, козел, что я пью. Небось сам дует шнапс в одиночку.

— Не похоже, — сказал я, — дед в исключительной форме. Кирным его не видели.

— Поддает, поддает, — вмешался Фидель, — у докторов навалом спирта. Почему бы и не выпить?..

— Вообще-то да, — говорю.

— Я слышал, он Максима Горького загубил, еще когда был врагом народа. А в шестидесятом ему помиловка вышла... Леа... реали... реабилитировали его. А доктор обиделся: «Куда же вы глядели, пока я срок тянул?!» Так и остался на Севере.

— Их послушать, — рассердился Воликов, — каждый сидит ни за что. А шпионов я вообще не обожаю. И врагов народа тоже.

— Ты их видел? — спрашиваю.

— Тут попался мне один еврей, завбаней. Сидит за разращение малолетних.

— Какой же это враг народа?

— А что, по-твоему, — друг?

Воликов ушел помочиться. Через минуту вернулся и говорит:

— Альма совсем одичала, начисто. Лает на меня, как

будто я чужой. Я раз не выдержал, подошел и тоже — как залаю. Напугал ее до смерти...

— На ее месте, — сказал Фидель, — я бы всем, и циркам и зекам, горло перегрыз...

— Нам-то за что? — поинтересовался Воликов.

— А за все, — ответил Фидель.

Мы помолчали. Было слышно, как в чулане пищат щенки.

— Ладно, — сказал Воликов, — так уж и быть.

Он достал из-под матраса бутылку вермута с зеленой этикеткой.

— Вот. От себя же и запрятал... И сразу нашел.

Вермут был запечатан сургучом. Фидель не захотел во-зиться, ударил горлышком о край плиты.

Мы выпили из одной кружки. Воликов достал болгарские сигареты.

— Ого, — сказал Фидель, — вот что значит жить без начальства. Все у тебя есть — шнапс и курево. А один ин-структор на Весляне, говорят, даже триппер подхватил...

За окном сержант Мелешко подвел взвод к уборной. Последовала команда:

— Оправиться!

Все остались снаружи. Расположились вокруг дощатой будки. Через минуту снег покрылся вензелями. Тут же возникло импровизированное соревнование на дальность. На-сколько можно было видеть, победил Якимович из Гомеля...

Белый дым вертикально поднимался над крышей гарнизона. Застиранный флаг уныло повис. Дощатые стены ка-зались особенно неподвижными. Так может быть неподвиж-на лодочная пристань возле стремительной горной реки. Или полустанок, на котором экспресс лишь слегка тормозит, а затем мчится дальше.

Дневальные в телогрейках расчищали снег около крыль-ца широкими фанерными лопатами. Деревянные ручки ло-пат блестели на солнце. Зеленый грузовик с брезентовым фургоном остановился у дверей армейской кухни...

— Боб, ты к зекам хорошо относишься? — спросил Фи-дель, допивая вино.

— По-разному, — сказал я.

— А я, — сказал Воликов, — прямо кончаю, глядя на зеков.

— А я, — говорит Фидель, — запутался совсем...

— Ладно, — говорю, — мне на дежурство пора!..

Я зашел в казарму, надел полшубок и разыскал лей-тенанта Хуриева. Он должен был меня проинструкти-ровать.

— Иди, — сказал Хуриев, — будь осторожен!

Лагерные ворота были распахнуты. К ним подъезжали автозаки с лесоповала. Заключенные сидели в кузове на полу. Солдаты разместились за барьерами возле кабин. Когда машина тормозила, они прыгивали первыми, затем быстро отходили, держа автоматы наперевес. После этого прыгивали заключенные и шли к воротам.

— Первая шеренга — марш! — командовал Тваури.

В правой руке он держал брезентовый мешочек с карточками. Там были указаны фамилии заключенных, особые приметы и сроки.

— Вторая шеренга — марш!

Урки шли, распахнув ватные бушлаты, не замечая хрипящих собак.

Грузовики развернулись и осветили фарами ворота.

Когда бригады прошли, я отворил двери вахты. Контролер Белота в расстегнутой гимнастерке сидел за пультом. Он выдвинул штырь. Я оказался за решеткой в узком проходном коридоре.

— Курить есть? — спросил Белота.

Я бросил в желоб для ксив несколько помятых сигарет. Штырь вернулся на прежнее место. Контролер пропустил меня в зону...

На Севере вообще темнеет рано. А в зоне — особенно.

Я прошел вдоль стен барака. Достиг ворот, под которыми тускло блестели рельсы узкоколейки. Заглянул на КПП, где сверхсрочники играли в буру.

Я поздоровался — мне не ответили. Только ленинградец Игнатьев возбужденно крикнул:

— Боб! Я сегодня торчу!..

Измятые карты беззвучно падали на отполированный локтями стол.

Я докурил сигарету, положил окурок в консервную банку. Затем, распахнув дверь, убедился, что окончательно стемнело. Нужно было идти.

Шестой барак находился справа от главной аллеи, под вышкой. Там по оперативным сведениям готовилась поганка.

Я мог бы и не заходить в шестой барак. И все-таки — пошел. Мне хотелось покончить со всем этим до наступления абсолютной тишины.

В углах шестого барака прятались тени. Тусклая лампочка освещала грубый стол и двухъярусные нары.

Я оглядел барак. Все это было мне знакомо. Жизнь с откинутыми покрывами. Простой и однозначный смысл вещей... Параша у входа, картинки из «Огонька» на закопченных балках... Все это не пугало меня. Лишь внушало жалость и отвращение...

Бугор Агешин сидел, расставив локти. Лицо его выражало злое нетерпение. Остальные разошлись по углам.

Все смотрели на меня. Я почувствовал себя неловко и говорю Агешину:

— Ну-ка выйдем.

Тот встал, огляделся, как бы давая последние распоряжения. Затем направился к двери. Мы остановились на крыльце.

— Зека Агешин слушает, — произнес бугор.

В его манерах была смесь почтения и хамства, которая типична для заключенных особого режима. Где под лицемерным «начальник» явственно слышится — «кирпич»...

— Слушаю вас, гражданин начальник!

— Что вы там затеваете, бугор? — спросил я.

Мне не стоило задавать этот вопрос. Я нарушал, таким образом, правила игры. По условиям этой игры надзиратель обо всем догадывается сам. И принимает меры, если он на это способен...

— Обижаетесь, начальник, — сказал бугор.

— Что я, не вижу...

Тут я вспомнил краснорожего официанта из модернизированной пивной на Лиговке. Однажды я решил уличить его в жульничестве и достал авторучку. Пока я считал, официант невозмутимо глядел мне в лицо. Да еще повторял фамильярным тоном:

«Считай, считай... Все равно я тебя обсчитаю...»

— Если что-нибудь случится, ты из бригадиров полетишь!

— За что, начальник? — выговорил Агешин с приторным испугом.

Мне захотелось дать ему в рожу...

— Ладно, — сказал я и ушел.

Засыпанные снегом красноватые окошки шестого барака остались позади.

Я решил зайти к оперу Борташевичу. Это был единственный офицер, говоривший мне «ты». Я разыскал его в штрафном изоляторе.

— Гуд ивнинг, — сказал Борташевич, — хорошо, что ты появился. Я тут философский вопрос решаю — отчего люди пьют? Допустим, раньше говорили — пережиток капитализма в сознании людей... Тень прошлого... А главное — влияние Запада. Хотя подаем мы исключительно на Востоке. Но это еще ладно. Ты мне вот что объясни. Когда-то я жил в деревне. У моего соседа был козел. Такого алкаша я в жизни не припомню. Хоть красное, хоть белое — только наливай. И Запад тут не влияет. И прошлого вроде бы нет у козла. Он же не старый большевик... Я и подумал, не заключена ли в алкоголе таинственная сила. Наподобие той,

что образуется при распаде атомного ядра. Так нельзя ли эту силу использовать в мирных целях? Например, чтобы я из армии раньше срока демобилизовался?..

В изоляторе — решетки на окнах. В углу плита. На плите — кипящий чайник, обложенный сухарями. За стеной две одиночные камеры. Их называют — «стаканы». Сейчас они пустуют...

— Женя, — сказал я, — в шестом бараке, кажется, поганка назревает. Это правда?

— Да, я как раз хотел тебя предупредить.

— Чего же не предупредил?

— Философские мысли нахлынули. Отвлекся. Пardon...

— А в чем там дело?

— Хотят одному стукачу темную устроить. Онучину Ивану.

— Это же твой любимый кадр.

— Уже не мой. Я этого типа использовать не в состоянии. Форменный псих. На политике тронулся. Что его ни спроси, он все за политику. Этот, говорит, принизил великий образ. У этого — нездоровые тенденции. Будто единственный, кто за советскую власть, — гражданин Онучин. Тьфу, создает же природа...

— А по делу он кто?

— Баклан, естественно. Я тебе вот что скажу. Сиди-ка ты на вахте. Или у меня. А в шестой барак не суйся.

— Так они же его замочат! Каждый сунет по разу, что бы все молчали...

— Тебе что, Онучина жалко? Учти, он и на тебя капал. В смысле, что ты контингенту потекаешь.

— Не в Онучине дело. Надо по закону.

— Ты вообще излишне с зеками церемонишься.

— Просто мне кажется, что я такой же. Да и ты, Женя...

— Во дает, — сказал Борташевич, нагибаясь к осколку зеркала, — во дает! Будка у меня действительно штрафная, но перед законом я относительно чист.

— Про тебя не знаю. А я до ВОХРы пил, хулиганил, с фарцовщиками был знаком. Один раз девушку ударил на Перинной линии. У нее очки разбились...

— Ну, хорошо, а я-то при чем?

— Разве у тебя внутри не сидит грабитель и аферист? Разве ты мысленно не убил, не ограбил? Или, как минимум, не изнасиловал?

— Еще бы, сотни раз. А может — тысячи. Мысленно — да. Так я же воли не даю моим страстям.

— А почему? Боишься?

Борташевич вскочил:

— Боюсь? Вот уж нет! И ты прекрасно это знаешь!

— Ты себя боишься.

— Я не волк. Я живу среди людей...

— Ладно, — сказал я, — успокойся.

Опер шагнул к плите.

— Гляди-ка, — вдруг сказал он, — у тебя это бывает? Когда чайник закипит, страшно хочется пальцем заткнуть это дело. Я как-то раз не выдержал. Чуть без пальца не остался...

— Ладно, — говорю, — пойду.

— Не торопись. Хочешь пива? У меня пиво есть. И банка консервов.

— Нет. Пойду.

— Ты даешь, — поразился Борташевич, — совсем народ одичал. Пива не желает.

Он стоял на пороге и кричал мне вслед:

— Алиханов, не ищи приключений!..

Из ШИЗО я направился в самый опасный угол лагерной зоны. Туда, где между стеной барака и забором пролегла освещенная колея. Так называемый — простреливаемый коридор.

Инструктируя служебный наряд, разводящий требовал к этому участку особого внимания. Именно поэтому тут всегда было спокойно.

Я прошел вдоль барака, издали крикнув часовому:

— Здорово, Рудольф.

Мне хотелось предотвратить стандартный окрик: «Кто идет?!» От этого у меня всегда портилось настроение.

— Стой! Кто идет?! — выкрикнул часовой, щелкая затвором.

Я молча шел прямо на часового.

— Вай, Борис?! — сказал Рудольф Хедоян. — Чуть-чуть тебя стреляла!..

— Ладно, — говорю, — тут все нормально?

— Как нормально, — закричал Рудольф, — почему нормально?! Людей не хватает. Надзиратэл вишка стоит! Говоришь, нормально? Нэт нормально! Холод — нормально?! Э!..

Южане ВОХРы страшно мучились от холода. Иные разводили прямо на вышках маленькие костры. И когда-то офицеры глядели на это сквозь пальцы. Затем Резо Цховребашвили сжег до основания четвертый караульный пост. После этого было специальное указание из штаба части, запрещающее даже курить на вышке. Самого Резо таскали к подполковнику Гречневу. Тот начал было орать. Но Цховребашвили жестом остановил его и миролюбиво произнес:

«Ставлю коньяк!»

После чего Гречнев расхохотался и выгнал солдата без наказания...

— Вот так климат, — сказал Рудольф, — похуже, чем на Луне.

— Ты на Луне был? — спрашиваю.

— Я и в отпуске-то не был, — сказал Рудольф.

— Ладно, — говорю, — потерпи еще минут сорок...

Я стоял под вышкой несколько минут. Затем направился к шестому барaku. Я шел мимо косых скамеек. Мимо покоробившихся щитов с фотографиями ударников труда. Мимо водокачки, черный снег у дверей которой был истоптан.

Затем свернул к пожарной доске, чтобы убедиться, все ли инструменты на месте.

Начнись пожар, и заключенные вряд ли будут тушить его. Ведь любой инцидент, даже стихийное бедствие, приятно разнообразит жизнь. Но аварийный стенд был в режиме, и зеки этим пользовались. Когда в бараке начиналась резня, дерущиеся мчались к пожарному стенду. Здесь они могли схватить лопату, чугунные щипцы или топор...

Из шестого барака донеслись приглушенные крики. На секунду я ощутил тошнотворный холодок под ложечкой. Я вспомнил, какие огромные пространства у меня за спиной. А впереди — один шестой барак, где мечутся крики. Я подумал, что надо уйти. Уйти и через минуту оказаться на вахте с картежниками. Но в эту секунду я уже распахивал дверь барака.

Онучина я увидел сразу. Он стоял в углу, прикрывшись табуреткой. Ножки ее зловеще торчали вперед.

Онучин был известным стукачом. А также — единственным человеком в зоне, который носил бороду. Так он снялся, будучи последственным. Затем снимок перекочевал в дело. В дальнейшем борода стала его особой приметой, как и размашистая татуировка:

« Не забуду мать родную и погибшему отцу! »

Онучин был избит. Борода его стала красной, а пятна на телогрейке — черными. Он размахивал табуреткой и все повторял:

— За что вы меня убиваете? Ни за что вы меня убиваете! Гадом быть, ни за что!..

Когда я вошел... Когда я вбежал, заключенные повернулись и тотчас же снова окружили его. Кто-то из задних рядов, может быть — Чалый, с ножом пробивался вперед. Узкое белое лезвие я увидел сразу. На эту крошечную железку падал весь свет барака...

— Назад! — крикнул я, хватая Чалого за рукав.

— От греха, начальник, — сдавленно выговорил зек.

Я ухватил Чалого за телогрейку и сдернул ее до локтей. Потом ударил его сапогом в живот. Через секунду я был возле Онучина. Помню, расстегнул манжеты гимнастерки. Заключенные, окружив нас, ждали сигнала или хотя

бы резкого движения. Что-то безликое и страшное двигалось на меня.

С грохотом распахнулась дверь. На порог шагнул Борташевич в ослепительных яловых сапогах. Меня он заметил сразу и, понижая голос, выговорил:

— Через одного... Слово коммуниста... Без суда...

Угрожавшее мне чудовище распалось на десяток темных фигур. Я взял Онучина за плечо. Мы втроем ушли из барака.

За спиной раздался голос бугра:

— Эх, бакланье вы помойное! Разве с вами дело замочишь?!..

Мы шли вдоль забора под охраной часовых. Когда достигли вахты, Борташевич сказал Онучину:

— Иди в ШИЗО. Жди, когда переведут в другой лагерь.

Онучин тронул меня за рукав. Его рот был горестно искривлен.

— Нет в жизни правды, — сказал он.

— Иди, — говорю...

Рано утром я постучался к доктору. В его кабинете было просторно и чисто.

— На что жалуетесь? — выговорил он, поднимая близорукие глаза.

Затем быстро встал и подошел ко мне:

— Нучтоже вы плачете? Позвольте, я хоть дверь запру...

30 мая 1982 года. Нью-Йорк

Я вспоминаю случай под Иоссером.

В двух километрах от лагеря была расположена сельская школа. В школе работала учительница, тощая женщина с металлическими зубами и бельмом на глазу.

Из зоны было видно школьное крыльцо.

В этой же зоне содержался «беспредел» Макеев. Это был истаскавшийся по этапам шестидесятилетний мужчина.

В результате зек полюбил школьную учительницу. Разглядеть черты ее лица он не мог. Более того, он и возраста ее не знал. Было ясно, что это — женщина, и все. Некто в старомодном платье.

Звали ее Изольда Щукина. Хотя Макеев и этого не знал.

Собственно, он ее даже не видел. Он знал, что это — женщина, и различал цвета ее платьев. Платьев было два — зеленое и коричневое.

Рано утром Макеев залезал на крышу барака. Через некоторое время громогласно объявлял: — Коричневое!..

Это значило, что Изольда прошла в уборную...

Я не помню, чтобы заключенные смеялись над Макеевым. Напротив, его чувство вызывало глубокий интерес.

Макеев изобразил на стене барака — ромашку. Она была величиной с паровозное колесо. Каждый вечер Макеев стирал тряпкой один из лепестков...

Догадывалась ли обо всем этом Изольда Щукина — неизвестно. Скорее всего — догадывалась. Она подолгу стояла на крыльце и часто ходила в уборную.

Их встреча произошла лишь однажды. Макеев работал в производственной зоне. Раз его вывели на отдельную точку. Изольда шла через поселок. Их маршруты пересеклись около водонапорной башни.

Вся колонна замедлила шаг. Конвоиры было забеспокоились, но зеки объяснили им, в чем дело.

Изольда шла вдоль замершей колонны. Ее металлические зубы сверкали. Фетровые боты утонули в грязи.

Макеев кинул ей из рядов небольшой бумажный пакет. Изольда подняла его, развернула. Там лежал самодельный пластмассовый мундштук.

Женщина решительно шагнула в сторону начальника конвоя. Она сняла короткий вязаный шарф и протянула ефрейтору Бойко. Тот передал его одному из зеков. Огненный лоскут следовал по рядам, такой яркий на фоне изношенной лагерной дряни. Пока Макеев не обмотал им свою тощую шею.

Заключенные пошли. Кто-то из рядов затянул:

...Где ж ты, падла, любовь свою крутишь,
С кем дымишь папироской одной!..

Но его оборвали. Момент побуждал к тишине.

Макеев оборачивался и размахивал шарфом до самой зоны. Сидеть ему оставалось четырнадцать лет...

Выступающие из мрака жилые корпуса окружены трехметровым забором. Вдоль следового коридора разбросаны ловушки из тончайшей железной проволоки. Чуть дальше установлены сигнальные приборы типа «Янтарь».

По углам возвышаются четыре караульных будки. Они формируют воображаемый замкнутый прямоугольник.

Четыре прожектора освещают тропу наряда. Часовым видны гнилые доски и простреливаемый коридор между жилой и хозяйственной зоной.

К шести вечера подъезжает автозак с решетками на окнах. Начальник конвоя снимает замки. Заключенные молча идут по трапу, в серых робах и громыхающих башмаках.

Появляется офицер в зеленом дождевике с капюшоном. Его голос звучит как сигнальный прибор:

— Бригада поступает в распоряжение конвоя. Шаг в сторону — побег. Конвой применяет оружие — незамедлительно!..

Холод и пыль. Кое-где побелела земля от мороза. Сухая порыжевшая травка жметя к бугру.

Зеки, негромко переговариваясь, строятся в колонны. Инструкторы придерживают рвущихся собак.

— Первая колонна — марш!

Офицеру за пятьдесят. Двадцать лет проработал в охране. На погонах — четыре маленьких звездочки.

Есть у него гражданский импортный пиджак. Все остальное — казенная зелень.

Солдаты в неуклюжих тулупах идут на посты. Волокут за собой американские телефоны.

Подменный остается на вахте. Скоро ему приснится дом, Бронюта Гробатавичус в зеленой кофте... Он увидит блестящую под солнцем реку. Свой грузовик на пыльной дороге. Орла над рощей. Лодку, беззвучно раздвигающую камыши.

Затем в уютный, теплый мир его сновидений проникнет окрик, нарочито грубый и резкий, как жесть:

— Смена, подъем!

И снова — шесть часов на ветру. Если бы вы знали, друзья, что это такое!..

За эти часы ты припомнишь всю свою жизнь. Простишь все обиды. Объездишь весь мир.

Ты будешь иметь сотни женщин. Пить шампанское из хрустальных бокалов. Драться и ездить в такси...

И снова — шесть часов на ветру...

Ночью передали из зоны:

«В обрубке прижмурился зек».

Дело было так. Стропаль неверно повел рычаги. Над головами косо рванулся блок. Скользнула чугунная цепь. И вот — корпусом двухосного парогенератора АГ-430... Нет, куском железа в полторы тонны... В общем, зеку Бу-

тырину, который, нагнувшись, притирал швы, раскроило череп.

Теперь он лежал под намокшим брезентом. Его ступни были неестественно вывернуты. Тело занимало небольшое пространство от станины до мусорного бака.

Он сделался как будто меньше ростом. Его лицо было таким же неживым, как мятая, валяющаяся поодаль рукавица. Или — отполированный до блеска черенок лопаты. Или — жестянка с тавотом...

Эта смерть была лишена таинственности. Она наводила тоску. Над пропитанным кровью брезентом вибрировали мухи.

Бутырин часто видел смерть, избегал ее десятки раз.

Это был потомственный скокарь, наркоман, волынщик и гомосек. Да еще — истерик, опрокидывавший залпом в кабинете следователя банку чернил.

С ног до головы его покрывала татуировка. Зубы потемнели от чифира. Исколотое морфином тело отказывалось реагировать на боль.

Он мог подохнуть давно. Например, в Сормове, где канавенские ребята избили его велосипедными цепями. Они кинули его под электричку, но Бутырин чудом уполз. Зек часто вспоминал ревущий огненный треугольник. И то, как песок скрипел на зубах...

Он мог подохнуть в Гори, когда изматерил на рынке толпу южан...

Он мог подохнуть в Синдоре. Конвоиры загнали тогда этап в ледяную речку. Но урки запели, пошли. И рябой ефрейтор Петров начал стрелять...

Он мог подохнуть в Ухте, идя на рывок с лесобиржи...

Он мог подохнуть в койненском изоляторе, где лагерные масти резались сапожными ножами...

И вот теперь он лежит под случайным брезентом. Опер пытается выйти на связь. Он выкрикивает, прижимая ко рту мембрану:

— Я — Лютик! Я — Лютик! Прием! Вас не слышу! Пришлите дополнительный конвой и врача...

И офицер закурит, а потом снова, надсаживаясь, будет кричать:

— Я — Лютик! Прием! Заключенные возбуждены! Ситуация критическая! Пришлите дополнительный конвой и врача...

Скоро придет воронок. Труп погрузят в машину. Один из нас доставит его под автоматом в тюремную больницу. Ведь мертвых зек тоже положено охранять.

А через месяц замполит Хуриев напишет Инессе Вла-

димировне Бутыриной, единственной родственнице, двоюродной тетке, письмо. И в нем будет сказано:

«Ваш сын, Бутырин Григорий Тихонович, уверенно шел к исправлению. Он скончался на трудовом посту...»

7 июня 1982 года. Нью-Йорк

Напомню вам, что лагерь является типично советским учреждением. И не только по своему административно-хозяйственному устройству. Не только по внедряемой сверху идеологии. Не только в силу привычных формальностей.

Лагерь учреждение советское — по духу. По внутренней сути.

Рядовой уголовник, как правило, вполне лояльный советский гражданин. То есть он, конечно, недоволен. Спиртное подорожало и так далее. Но основы — священные. И Ленин — вне критики.

В этом смысле чрезвычайно показательно лагерное творчество. В лагере без нажима и принуждения торжествует метод социалистического реализма.

Задумывались ли вы о том, что социалистическое искусство приближается к магии. Что оно напоминает ритуальную и культовую живопись древних.

Рисуешь на скале бизона — получаешь вечером жаркое.

Так же рассуждают чиновники от социалистического искусства. Если изобразить нечто положительное, то всем будет хорошо. А если отрицательное, то наоборот. Если живописать стахановский подвиг, то все будут хорошо работать. И так далее.

Вспомните подземные столичные мозаики. Овощи, фрукты, домашняя птица... Грузины, литовцы, армяне... Крупный и мелкий рогатый скот... Ведь это те же бизоны!..

В лагере — такая же история.

Возьмите лагерную живопись. Если это пейзаж, то немислимо знойной, андалузской расцветки. Если натюрморт, то преисполненный калорий.

Лагерные портреты необычайно комплиментарны.

На воле так изображают крупных партийных деятелей.

И никакого модернизма. Чем ближе к фотографии, тем лучше. Вряд ли тут преуспели бы Модильяни с Гогеном...

Возьмите лагерные песни. Вот один из наиболее распространенных песенных сюжетов. Мать-одиночка с ребенком. Папаша в бегах. Ребенок становится вором. (А если дочь, то проституткой.) Дальше — суд. Прокурор, опуская глаза, требует высшей меры наказания. Подсудимый кончает жизнь самоубийством. У могильной ограды часами рыдает прокурор. Это, как вы уже догадались, — незадачливый отец покойного.

Разумеется, все это чушь, лишенная минимального жизненного правдоподобия. Прокурор вообще не может осудить собственную родню. Такого не позволяют советские законы. И лагерники прекрасно это знают. Но продолжают всю эксплуатировать лживый, дурацкий сюжет...

Возьмите лагерные мифы. Наиболее распространенным сюжетом является успешный массовый побег. Как правило, через Белое море — в Соединенные Штаты.

Вы услышите десятки версий с мельчайшими бытовыми подробностями. С детальным описанием маршрута. С клятвенными заверениями, что все так и было.

И организатором побега непременно будет доблестный чекист. Бывший полковник ГПУ или НКВД. Осужденный Хрущевым сподвижник Берии или Ягоды.

Ну, чего их, спрашивается, тянет к этим мерзавцам?! А тянет их оттого, что это — знакомые, привычные, советские герои. Персонажи Юлиана Семенова и братьев Вайнеров...

Емельян Пугачев, говорят, опирался на беглых каторжников. Теперешние каторжники бунтовать не собираются. Случись какая-нибудь заваруха, и пойдут они до ближайшего винного магазина...

Ну, хорошо. Теперь — о деле. Пришлите мне, если не трудно, образцы ваших шрифтов и два каталога.

Будете в Нью-Йорке — увидимся. Привет жене, матушке и дочкам. Наша Катя ужасно сердитая — переходный возраст...

Завтра возле моего дома открывается новое русское кафе. Рано утром, будучи местной знаменитостью, иду поздравлять владельцев...

В октябре меня дисквалифицировали за грубость, и я был лишен всех привилегий спортсмена. Соответственно, оказался в караульном батальоне на правах рядового. Ночью запах портянок, обернутых вокруг голенищ, лишал меня сна. В заключение ефрейтор Блиндяк крикнул мне перед строем:

— Я СГНИЮ тебя, падла, увидишь — СГНИЮ!..

В этой ситуации должность ротного писаря была неслыханной удачей. По-видимому, сказалось мое незаконченное высшее образование. У меня было два курса ЛГУ. Думаю, я был самым образованным человеком в республике Коми...

Рано утром я подметал штабное крыльцо. Заснеженный плац был исполосован мощными гвардейскими струями. Я выходил на дорогу и там поджидал капитана.

Завидев его, я ускорял шаги, резко подносил ладонь к фуражке и бездумным, механическим голосом восклицал:

— Здравия желаю!

Затем, роня ладонь, как будто вконец обессилив, почти тельно-фамильярным тоном спрашивал:

— Как спали, дядя Леня?

И немедленно замолкал, как будто стесняясь охватившей меня душевной теплоты...

Жизнь капитана Токаря состояла из мужества и пьянства. Капитан, спотыкаясь, брел узкой полоской земли между этими двумя океанами.

Короче, жизнь его — не задалась. Жена в Москве и под другой фамилией танцует на эстраде. А сын — жокей. Недавно прислал свою фотографию: лошадь, ведро и какие-то доски...

Воплощением мужества для капитана стали: опрятность, резкий голос и умение пить, не закусывая...

Токарь снимает шинель. На шее его, как дурное предзнаменование, белеет узкая линия воротничка.

— Где Барковец? — спрашивает он. — Зовите!

Ефрейтор Барковец появляется в дверях. Он шалит ногой, плечом, закатывает глаза. То есть просто, грубо и совершенно неубедительно разыгрывает чувство вины.

Токарь согнутым пальцем расправляет диагональную офицерскую гимнастерку.

— Ефрейтор Барковец, — говорит он, — стыдитесь! Кто послал вчера на три буквы лейтенанта Хуриева?

— Товарищ капитан...

— Молчать!

— Если бы вы там присутствовали...

— Приказываю — молчать!

— Вы бы убедились...

— Я вас арестую, Барковец!

— Что я его справедливо... одернул...

— Трое суток ареста, — говорит капитан, — выходит — по числу букв...

Когда ефрейтор удаляется, Токарь говорит мне:

— А ведь москвичи люди с юмором.

— Это верно.

— Ты бывал в Москве?

— Дважды, на сборах.

— А на скачках бывал?

— Никогда.

— Интересно, что за люди — жокеи?

— Вот не знаю.

— Физкультурники?

— Что-то вроде...

Токарь приходит домой. К его ногам, приседая от восторга, бросается черный спаниель.

— Брошка, Брошенька, — шепчет Токарь, роняя в снег ломти докторской колбасы.

Дома — теплая водка, последние известия. В ящике стола — пистолет...

— Брошка, Брошенька, единственный друг... Аникин демобилизовался... Остальные в люди повыходили. Идиот Пантелеев в Генштабе... Райзман — доцент, квартиру получил... Райзман и в Майданеке получил бы отдельную квартиру... Брошка, что же это мы с тобой?.. Валентина, сука, не пишет... Митя лошадь прислал...

Холод и тьма за окном. Избу обступили сугробы. Ни звука, ни шороха, выпил и жди. А сколько ждать — неизвестно. Если бы собаки залаяли или лампа погасла... Тогда можно снова налить...

Так он и засыпает — портупея, диагоналевая гимнастерка, сапоги... И лампочка горит до самого утра...

А утром я снова иду мимо оскверненного плаца к воротам. Резко вскидываю ладонь к фуражке. Потом вяло роняю ее и голосом, дрогнувшим от нежного чувства, спрашиваю:

— Как ночь, дядя Леня?..

Когда-то я был перспективным армейским тяжеловесом. Одновременно — спортивным инструктором при штабе части. До штаба — надзирателем производственной зоны. А всему этому предшествовала давняя беседа с чиновником райвоенкомата.

— Ты парень образованный, — сказал комиссар, — мог бы на сержанта выучиться. В ракетные части попасть... А в охрану идут, кому уж терять нечего...

— Мне как раз нечего терять.

Комиссар взглянул на меня с подозрением:

— В каком это смысле?

— Из университета выгнали, с женой развелся...

Мне хотелось быть откровенным и простым. Доводы не убедили комиссара.

— Может, ты чего-нибудь это самое... Чего-нибудь слямзил? И смыться норовишь?

— Да, — говорю, — у нищего — жестянку с медяками.

— Не понял, — вздрогнул комиссар.

— Это так, вроде шутки.

— Что в ней смешного?

— Ничего, — говорю, — извините.

— Слушай, парень! Я тебе по-дружески скажу, ВОХ-РА — это ад!

Тогда я ответил, что ад — это мы сами. Просто этого не замечаем.

— А по-моему, — сказал комиссар, — ты чересчур умничаешь.

Отчаявшись разобраться, комиссар начал заполнять мои документы.

Через месяц я оказался в школе надзорсостава под Ропчей. А еще через месяц инспектор рукопашного боя Торопцев, прощаясь, говорил:

— Запомни, можно спастись от ножа. Можно блокировать топор. Можно отобрать пистолет. Можно все! Но если можно убежать — беги! Беги, сынок, и не оглядывайся...

В моем кармане лежала инструкция. Четвертый пункт гласил:

«Если надзиратель в безвыходном положении, он дает команду часовому —

«СТРЕЛЯЙТЕ В НАПРАВЛЕНИИ МЕНЯ...»

Штрафной изолятор, ночь. За стеной, позвякивая наручниками, бродит Анаги. Опер Борташевич говорит мне:

— Конечно, всякое бывает. Люди нервные, эгоцентричны до предела... Например? Раз мне голову на лесоповале хотели отпилить бензопилой «Дружба».

— И что? — спросил я.

— Ну, что... Бензопилу отобрал и морду набил.

— Ясно.

— С топором была история на пересылке.

— И что? Чем кончилось?

— Отнял топор, дал по роже...

— Понятно.

— Один чифирной меня с ножом прихватывал.

— Нож отобрали и в морду?

Борташевич внимательно посмотрел на меня, затем расстегнул гимнастерку. Я увидел маленький, белый, ледяной души шрам...

Ночью я спешу из штаба в казарму. И самый короткий путь — через зону. Я шагаю мимо одинаковых бараков, мимо желтых лампочек в проволочных сетках. Я спешу, ощущая родство тишины и мороза.

Иногда распахиваются двери бараков. Из натопленного жилья с облаком белого пара выскакивает зек. Он мочится, закуривает, кричит часовому на вышке:

— Але, начальник! Кто из нас в тюрьме? Ты или я?!

Часовой лениво матерится, кутаясь в тулуп...

Из южного барака раздается крик. Я бегу, на ходу расстегивая манжеты. На досках лежит в сапогах рецидивист Купцов, орет и указывает пальцем. По стене движется таракан, черный и блестящий, как гоночная автомашина.

— В чем дело? — спрашиваю я.

— Ой, боюсь, начальник! Кто его знает, что у таракана на уме!..

— А вы шутник, — говорю я, — как зовут?

— Зимой — Кузьмой, а летом — Филаретом.

— За что сидите?

— Улицу неверно перешел... С чужим баулом.

— Прости, начальник, — миролюбиво высказывается бугор Агешин, — это юмор такой. Как говорится, дружеский шарж. Давай лучше ужинать...

«Поем, — думаю я, — они ведь такие же люди... А человек от природы...» И так далее...

Ели мясо, зажаренное в бараке на плите. Потом курили. Кто-то взял гитару, сентиментальным голосом напевая:

...Выше голову, милый, я ждать не устану,
Моя совесть чиста, хоть одежда в пыли,
Надо мной раскаленный шатер Казахстана,
Бесконечная степь золотится вдали...

«Милые, в общем-то, люди, — думал я, — хоть и бандиты, разумеется... Но ведь жизнь искалечила, среда заела...»

— Эй, начальник, — сказал бугор Агешин, — знаешь, кого ты ел?

Все засмеялись. Я встал.

— Знаешь, из чего эти самые котлеты?

Я почувствовал, как в моем желудке разрывается бомба.

— Из капитановой жучки... Шустрый такой был песик...

...Надо мной раскаленный шатер Казахстана,
Бесконечная степь золотится вдали,
И куда ни пойду,
я тебя не застану,
О тебе рассказать не хотят ковыли...

— Вот ты и скажи ему, — говорит Фидель.

— Капитан этого не переживет. У старика, кроме пса, и друзей-то нет. Не могу, ей-богу...

— Ты же боксер. У тебя нервы крепкие.

— Ей-богу, не могу.

— Сказать-то надо все равно.

— Тебе полегче. У тебя с капитаном и дел никаких.

— При чем тут я? Кто съел, тот пусть и говорит.

— Зачем ты напоминаешь?!.. Меня и так выворачивает каждую секунду.

— Он пистолет в кармане носит. Как бы он не это самое... Узнав про такое дело...

— Что и говорить, старик на пределе. Жена не пишет, сын — какой-то гопник... Брошка у него — единственный друг.

— А если телеграмму послать?

— Это не пойдет.

— Все равно сказать придется. А ты человек образованный, умеешь с людьми разговаривать.

— То есть?

— Не зря тебя при штабе держат. Со всеми находишь общий язык.

— Что ты хочешь этим сказать?

— С тобой половина офицеров на «вы».

— Ну и что?

— Вот и говорят, что ты — композитор.

— Чего?

— Ничего. Композитор. Оперу пишешь. В смысле — оперуполномоченному. Куму...

Перегнувшись через стол, я ударил Фиделя железной линейкой. На щеке его остался багровый след. Фидель отскочил и крикнул:

— Ах ты, штабная сука! Шестерка офицерская!..

Тут я почувствовал, как накатывает волна спасающего от раздумий бешенства. Фидель двигался медленно, как пловец. Я ударил слева, потом еще. Увидел на расстоянии шага — круглый, четко оформленный подбородок. Я вбивал туда свои обиды, горечь, боль... Из-под ног Фиделя вылетела табуретка. Дальше — кровь на листах продовольственного отчета. И хриплый голос капитана Токаря, появившегося в дверях:

— Отставить! Я кому говорю — отставить!..

Опустив глаза, я сказал капитану Токарю все. Он вы-

слушал меня, расправил гимнастерку и неожиданно заговорил быстрым старческим шепотом:

— Я с них вычту. Непременно вычту. Я за Брошку в Котласе тридцать рэ уплатил...

Вечером капитан Токарь напился. Он буйствовал в поселковом шалмане. Порвал фотографию лошади. Ругал последними словами жену. Такими словами, которые давно уже значение потеряли. А ночью шел куда-то мимо электростанции. И пытался, роняя спички, закурить на ветру...

Рано утром я вновь подметаю крыльцо. Потом — мимо грязных сугробов — к воротам.

Я иду под луной, откровенной и резкой, как заборная надпись. Жду капитана — стройного, тщательно выбритого, невозмутимого. Прикладываю руку к виску. Затем роняю ее, как будто совершенно обессилев. И наконец, учтивым, задорным, приязненным голосом спрашиваю:

— Ну как, дядя Леня?..

Прошло двадцать лет. Капитан Токарь жив. Я тоже. А где этот мир, полный ненависти и страха? Он-то куда подевался? И в чем причина моей тоски и стыда?..

11 июня 1982 года. Нью-Йорк

Этот большой кусок я переправил через Ричарда Нэша. А ведь он почти что коммунист. Тем не менее занимается нашими вздорными рукописями. Все дико запуталось на этом свете.

На КПП сидели трое. Опер Борташевич тасовал измятые, лоснящиеся карты. Караульный Гусев пытался уснуть, не вынимая изо рта зажженной сигареты. Я ждал, когда закипит обложенный сухарями чайник.

Борташевич вяло произнес:

— Ну, хорошо, возьмем, к примеру, баб. Допустим, ты с ней по-хорошему: кино, бисквиты, разговоры... Цитируешь ей Гоголя с Белинским... Какую-нибудь блядскую оперу посещаешь... Потом, естественно, в койку. А мадам тебе в ответ: женись, паскуда! Сначала загс, а потом уж низменные инстинкты... Инстинкты, видишь ли, ее не устраивают. А если для меня это святое, что тогда?!..

— Опять-таки жида, — добавил караульный.

— Чего — жида? — не понял Борташевич.

— Жида, говорю, повсюду. От Райкина до Карла Маркса... Плодятся, как опята... К примеру, вендиспансер на Чебью. Врачи — евреи, пациенты — русские. Это по-коммунистически?

Тут позвонили из канцелярии. Борташевич поднял трубку и говорит:

— Тебя.

Я услышал голос капитана Токаря:

— Зайдите ко мне, да побыстрей.

— Товарищ капитан, — сказал я, — уже, между прочим, девятый час.

— А вы, — перебил меня капитан, — служите Родине только до шести?!

— Для чего же тогда составляются графики? Мне завтра утром на службу выходить.

— Завтра утром вы будете на Ропче. Есть задание начальника штаба — доставить одного клиента с ропчинской пересылки. Короче, жду...

— Куда это тебя? — спросил Борташевич.

— Надо с Ропчи зека отконвоировать.

— На пересуд?

— Не знаю.

— По уставу нужно ездить вдвоем.

— А что в охране делается по уставу? По уставу только на гауптвахту сажают.

Гусев приподнял брови:

— Кто видел, чтобы еврей сидел на гауптвахте?

— Далась тебе еврей, — сказал Борташевич, — надоело. Ты посмотри на русских. Взглянешь и остолбенеешь.

— Не спорю, — откликнулся Гусев...

Неожиданно закипел чайник. Я переставил его на кровельный лист возле сейфа.

— Ладно, пойду...

Борташевич вытащил карту, посмотрел и говорит:

— Ого! Тебя ждет пиковая дама.

Затем добавил:

— Наручники возьми.

Я взял...

Я шел через зону, хотя мог бы обойти ее по тропе нарядов. Вот уже год я специально хожу по зоне ночью. Все надеюсь привыкнуть к ощущению страха. Проблема личной храбрости у нас стоит довольно остро. Рекордсменами в этом деле считаются литовцы и татары.

Возле инструменталки я слегка замедлил шаги. Тут по ночам собирались чифиристы.

Жестяную солдатскую кружку наполняли водой. Высы-

пали туда пачку чаю. Затем опускали в кружку бритвенное лезвие на длинной стальной проволоке. Конец ее забрасывали на провода высоковольтной линии. Жидкость в кружке закипала через две секунды.

Бурый напиток действовал подобно алкоголю. Люди начинали возбужденно жестикулировать, кричать и смеяться без повода.

Серьезных опасений чифиристы не внушали. Серьезные опасения внушали те, которые могли зарезать и без чифиря...

Во мраке шевелились тени. Я подошел ближе. Заключенные сидели на картофельных ящиках вокруг чифирбака. Завидев меня, стихли.

— Присаживайся, начальник, — донеслось из темноты, — самовар уже готов.

— Сидеть, — говорю, — это ваша забота.

— Грамотный, — ответил тот же голос.

— Далеко пойдет, — сказал второй.

— Не дальше вахты, — усмехнулся третий...

Все нормально, подумал я. Обычная смесь дружелюбия и ненависти. А ведь сколько я перетаскал им чая, маргарина, рыбных консервов...

Закурив, я обогнул шестой барак и вышел к лагерной узкоколейке. Из темноты выплыло розовое окно канцелярии.

Я постучал. Мне отворил дневальный. В руке он держал яблоко.

Из кабинета выглянул Токарь и говорит:

— Опять жуете на посту, Барковец?!

— Ничего подобного, товарищ капитан, — возразил, отвернувшись, дневальный.

— Что я, не вижу?! Уши шевелятся... Позавчера вообще уснули...

— Я не спал, товарищ капитан. Я думал. Больше это не повторится.

— А жаль, — неожиданно произнес Токарь и добавил, обращаясь ко мне: — Входите.

Я вошел, доложил как положено.

— Отлично, — сказал капитан, затягивая ремень, — вот документы, можете ехать. Доставите сюда зека по фамилии Гурин. Срок — одиннадцать лет. Пятая судимость. Человек в законе, будьте осторожны.

— Кому, — спрашиваю, — он вдруг понадобился? Что, у нас своих рецидивистов мало?

— Хватает, — согласился Токарь.

— Так в чем же дело?

— Не знаю. Документы поступили из штаба части.

Я развернул путевой лист. В графе «назначение» было указано:

«Доставить на шестую подкомандировку Гурина Федора Емельяновича в качестве исполнителя роли Ленина...»

— Что это значит?

— Понятия не имею. Лучше у замполита спросите. Наверное, постановку готовят к шестидесятилетию советской власти. Вот и пригласили гастролера. Может, талант у него или будка соответствующая... Не знаю. Пока что доставьте его сюда, а там разберемся. Если что, применяйте оружие. С Богом!..

Я взял бумаги, козырнул и удалился.

К Ропче мы подъехали в двенадцатом часу. Поселок казался мертвым. Из темноты глухо лаяли собаки.

Водитель лесовоза спросил:

— Куда тебя погнали среди ночи? Ехал бы с утра.

Пришлось ему объяснять:

— Так я назад поеду днем. А так пришлось бы ночью возвращаться. Да еще в компании с опасным рецидивистом.

— Не худший вариант, — сказал шофер.

Затем прибавил:

— У нас в леспромхозе диспетчеры страшнее зеков.

— Бывает, — говорю.

Мы попрощались...

Я разбудил дневального на вахте, показал ему бумаги. Спросил, где можно переночевать?

Дневальный задумался:

— В казарме шумно. Среди ночи конвойные бригады возвращаются. Займешь чужую койку, могут и ремнем перетянуть... А на питомнике собаки лают.

— Собаки — это уже лучше, — говорю.

— Ночуй у меня. Тут полный кайф. Укроешься тулупом. Подменный явится к семи...

Я лег, поставил возле топчана консервную банку и закурил...

Главное — не вспоминать о доме. Думать о каких-то насущных проблемах. Вот, например, папиросы кончаются. А дневальный вроде бы не курит...

Я спросил:

— Ты что, не куришь?

— Угостишь, так закурю.

Еще не легче...

Дневальный пытался заговаривать со мной:

— А правда, что у вас на «шестерке» солдаты коз дерут?

— Не знаю. Вряд ли... Зеки, те балуются.

— По-моему, уж лучше в кулак.

— Дело вкуса...

— Ну ладно, — пощадил меня дневальный, — спи. Здесь тихо...

Насчет тишины дневальный ошибся. Вахта примыкала к штрафному изолятору. Там среди ночи проснулся арестованный зек. Он скрежетал наручниками и громко пел:

«А я иду, шагаю по Москве...»

— Повело kota на блядки, — заворчал дневальный. Он посмотрел в глазок и крикнул:

— Агеев, хезай в дуло и ложись! Иначе финтилей под глаз навешу!

В ответ донеслось:

— Начальник, сдай рога в каптерку!

Дневальный откликнулся витиеватым матерным перебором.

— Сосал бы ты по девятой усиленной, — реагировал зек...

Концерт продолжался часа два. Да еще и папиросы кончились.

Я подошел к глазку и спросил:

— Нет ли у вас папирос или махорки?

— Вы кто? — поразился Агеев.

— Командированный с шестого лагпункта.

— А я думал — студент... На «шестерке» все такие культурные?

— Да, — говорю, — когда остаются без папирос.

— Махорки навалом. Я суну под дверь... Вы случайно не из Ленинграда?

— Из Ленинграда.

— Земляк... Я так и подумал.

Остаток ночи прошел в разговорах...

Наутро я разыскал оперуполномоченного Долбенко. Предъявил ему свои бумаги. Он сказал:

— Позавтракайте и ждите на вахте. Оружие при вас? Это хорошо...

В столовой мне дали чаю и булки. Каши не хватило. Зато я получил на дорогу кусок сала и луковицу. А знакомый инструктор отсыпал мне десяток папирос.

Я просидел на вахте до развода конвойных бригад. Дневального сменили около восьми. В изоляторе было тихо. Зек отсыпался после бессонной ночи.

Наконец я услышал:

— Заключение Гурина с вещами!

Звякнули штыри в проходном коридоре. На вахту зашел оперативник с моим подопечным.

— Распишись, — говорит. — Оружие при тебе?

Я расстегнул кобуру.

Зек был в наручниках.

Мы вышли на крыльцо. Зимнее солнце ослепило меня. Рассвет наступил внезапно. Как всегда..

На пологом бугре чернели избы. Дым над крышами поднимался вертикально.

Я сказал Гурину:

— Ну, пошли.

Он был небольшого роста, плотный. Под шапкой ощущалась лысина. Засаленная ватная телогрейка блестела на солнце.

Я решил не ждать лесовоза, а сразу идти к переезду. Догонит нас попутный трактор — хорошо. А нет, можно и пешком дойти за три часа..

Я не знал, что дорога перекрыта возле Койна. Позднее выяснилось, что ночью двое зеков угнали трелевочную машину. Теперь на всех переездах сидели оперативники. Так мы и шли пешком до самой зоны. Только раз остановились, чтобы поесть. Я отдал Гурину хлеб и сало. Тем более что сало подмерзло, а хлеб раскрошился.

Молчавший до этого зек повторял:

— Вот так дачка — чистая бацилла! Начальник, гужанемся от души..

Ему мешали наручники. Он попросил:

— Сблочил бы манжеты. Или боишься, что винта нарежу?

Ладно, думаю, при свете не опасно. Куда ему по снегу бежать?..

Я снял наручники, пристегнул их к ремню. Гурин сразу же попросился в уборную.

Я сказал:

— Идите вон туда..

Потом он сидел за кустами, а я держал на мушке черный воркутинский треух.

Прошло минут десять. Даже рука устала.

Вдруг за моей спиной что-то хрустнуло. Одновременно раздался хриплый голос:

— Пошли, начальник..

Я вскочил. Передо мной стоял улыбающийся Гурин. Шапку он, видимо, повесил на куст.

— Не стреляй, земля..

Ругаться было глупо.

Гурин действовал правильно. Доказал, что не хочет бежать. Мог и не захотел..

Мы вышли на лежневку и без приключений достигли зоны. В дороге я спросил:

— А что это за представление?

Зек не понял. Я объяснил:

— В сопроводилровке говорится — исполнитель роли Ленина.

Гурин расхохотался:

— Это старая история, начальник. Была у меня еще до войны кликуха — артист. В смысле — человек фартовый, может, как говорится, шевелить ушами. Так и записали в дело — артист. Помню, чалился я в МУРе, а следователь шутики ради и записал. В графу — профессия до ареста... Какая уж там профессия! Я с колыбели — упорный вор. В жизни дня не проработал. Однако, как записали, так и поехало — артист. Из ксивы в ксиву... Все замполиты меня на самодеятельность подписывают — ты же артист... Эх, встретить бы такого замполита на колхозном рынке. Показал бы я ему свое искусство.

Я спросил:

— Что же вы будете делать? Там же надо самого Ленина играть...

— По бумажке-то? Запросто... Ваксой плешь отполирую, и хорошо!.. Помню, жиганули мы сберкассу в Киеве. Так я ментом переоделся — свои не узнали... Ленина так Ленина... День кантовки — месяц жизни...

Мы подошли к вахте. Я передал Гурина старшине. Зек махнул рукой:

— Увидимся, начальник. Мерси за дачку...

Последние слова он выговорил тихо. Чтобы не слышал старшина...

Выбившись из графика, я бездельничал целые сутки. Пил вино с оружейными мастерами. Проиграл им четыре рубля в буру. Написал письмо родителям и брату. Даже собирался уйти к знакомой барышне в поселок. Но тут подошел дневальный и сказал, что меня разыскивает замполит Хуриев.

Я направился в ленинскую комнату. Хуриев сидел под огромной картой Усть-Вымского лагпункта. Места побегов были отмечены флажками.

— Присаживайтесь, — сказал замполит, — есть важный разговор. Надвигаются Октябрьские праздники. Вчера мы начали репетировать одноактную пьесу «Кремлевские звезды». Автор, — тут Хуриев заглянул в лежащие перед ним бумаги, — Чичельницкий. Яков Чичельницкий. Пьеса идейно зрелая, рекомендована культурным сектором УВД. События происходят в начале двадцатых годов. Действующих лиц — четыре. Ленин, Дзержинский, чекист Тимофей и его невеста Полина. Молодой чекист Тимофей поддается буржуазным настроениям. Купеческая дочь Полина затягивает его в омут мещанства. Дзержинский проводит с ними воспитательную работу. Сам он неизлечимо болен. Ленин настоятельно рекомендует ему позаботиться о своем здоровье. Железный Феликс отказывается, что производит сильное впечатление на Тимофея. В конце он сбрасывает

путы ревизионизма. За ним робко следует купеческая дочь Полина... В заключительной сцене Ленин обращается к публике. — Тут Хуриев снова зашуршал бумагами. — «...Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь семидесятых?! Завидую вам, посланцы будущего! Это для вас зажигали мы первые огоньки новостроек. Ради вас искореняли буржуазную нечисть... Так пусть же светят вам, дети грядущего, наши кремлевские звезды...» И так далее. А потом все запевают «Интернационал». Как говорится, в едином порыве... Что вы на это скажете?

— Ничего, — говорю. — А что я могу сказать? Серьезная пьеса.

— Вы человек культурный, образованный. Мы решили привлечь вас к этому делу.

— Я же не имею отношения к театру.

— А я, думаете, имею? И ничего, справляюсь. Но без помощника трудно. Артисты наши — сами знаете... Ленина играет вор с ропчинской пересылки. Потомственный щипач в законе. Есть мнение, что он активно готовится к побегу...

Я промолчал. Не рассказывать же было замполиту о происшествии в лесу.

Хуриев продолжал:

— В роли Дзержинского — Цуриков, по кличке Мотыль, из четвертой бригады. По делу у него совращение малолетних. Срок — шесть лет. Есть данные, что он — плановой... В роли Тимофея — Геша, придурок из санчасти. Пассивный гомосек... В роли Полины — Томка Лебедева из АХЧ. Такая бикса, хуже зечки... Короче, публика еще та. Возможно употребление наркотиков. А также недозволенные контакты с Лебедевой. Этой шкуре лишь бы возле зеков повертеться... Вы меня понимаете?

— Чего же тут не понять? Наши люди...

— Ну, так приступайте. Очередная репетиция сегодня в шесть. Будете ассистентом режиссера. Дежурства на лесоповале отменяются. Капитана Токаря я предупрежу.

— Не возражаю, — сказал я.

— Приходите без десяти шесть.

До шести я бродил по казарме. Раза два меня хотели куда-то послать в составе оперативных групп. Я отвечал, что нахожусь в распоряжении старшего лейтенанта Хуриева. И меня оставляли в покое. Только старшина поинтересовался:

— Что там у вас за дела? Поганку к юбилею заворачиваете?

— Ставим, — говорю, — революционную пьесу о Ленине. Силами местных артистов.

— Знаю я ваших артистов. Им лишь бы на троих сооразить...

Около шести я сидел в ленинской комнате. Через минуту явился Хуриев с портфелем.

— А где личный состав?

— Придут, — говорю. — Наверное, в столовой задержались.

Тут зашли Геша и Цуриков.

Цурикова я знал по работе на отдельной точке. Это был мрачный, исхудавший зек с отвратительной привычкой чесаться.

Геша работал в санчасти — шнырем. Убирал помещение, ходил за больными. Крал для паханов таблетки, витамины и лекарства на спирту.

Ходил он, чуть заметно приплясывая. Повинуясь какому-то неуловимому ритму. Паханы в жилой зоне гоняли его от костра...

— Ровно шесть, — выговорил Цуриков и, не сгибаясь, почесал колено.

Геша сооружал козью ножку.

Появился Гурин, без робы, в застиранной нижней сорочке.

— Жара, — сказал он, — чистый Ташкент... И вообще не зона, а Дом культуры. Солдаты на «вы» обращаются. И пайка клевая... Неужели здесь бывают побег?

— Бегут, — ответил Хуриев.

— Сюда или отсюда?

— Отсюда, — без улыбки реагировал замполит.

— А я думал, с воли — на кичу. Или прямо с капиталистических джунглей...

— Пошутили, и хватит, — сказал Хуриев.

Тут появилась Лебедева в облаке дешевой косметики и с шестимесячной завивкой.

Она была вольная, но с лагерными манерами и приклатненной речью. Вообще административно-хозяйственные работники через месяц становились похожими на заключенных. Даже наемные инженеры тянули по фене. Не говоря о солдатах...

— Приступим, — сказал замполит.

Артисты достали из карманов мятые листки.

— Роли должны быть выучены к среде.

Затем Хуриев поднял руку:

— Довожу основную мысль. Центральная линия пьесы — борьба между чувством и долгом. Товарищ Дзержинский, пренебрегая недугом, отдает всего себя революции. Товарищ Ленин настоятельно рекомендует ему поехать в отпуск. Дзержинский категорически отказывается. Па-

раллельно развивается линия Тимофея. Животное чувство к Полине временно заслоняет от него мировую революцию. Полина — типичная выразительница мелкобуржуазных настроений...

— Типа фарцовщицы? — громко спросила Лебедева.

— Не перебивайте... Ее идеал — мещанское благополучие. Тимофей переживает конфликт между чувством и долгом. Личный пример Дзержинского оказывает на юношу сильное моральное воздействие. В результате чувство долга побеждает... Надеюсь, все ясно? Приступим. Итак, Дзержинский за работой... Цуриков, садитесь по левую руку... Заходит Владимир Ильич. В руках у него чемодан... Чемодана пока нет, используем футляр от гармошки. Держите... Итак, заходит Ленин. Начали!

Гурин ухмыльнулся и бодро произнес:

— Здравствуйте, Феликс Эдмундович!

(Он выговорил по-ленински — «здгасьте».)

Цуриков почесал шею и хмуро ответил:

— Здравствуйте.

— Больше уважения, — подсказал замполит.

— Здравствуйте, — чуть громче произнес Цуриков.

— Знаете, Феликс Эдмундович, что у меня в руках?

— Чемодан, Владимир Ильич.

— А для чего он, вы знаете?

— Отставить! — крикнул замполит. — Тут говорится: «Ленин с хитринкой». Где же хитринка? Не вижу...

— Будет, — заверил Гурин.

Он вытянул руку с футляром и нагло подмигнул Дзержинскому.

— Отлично, — сказал Хуриев, — продолжайте. «А для чего он, вы знаете?»

— А для чего он, вы знаете?

— Понятия не имею, — сказал Цуриков.

— Без хамства, — снова вмешался замполит, — помягче. Перед вами — сам Ленин. Вождь мирового пролетариата...

— Понятия не имею, — все так же хмуро сказал Цуриков.

— Уже лучше. Продолжайте.

Гурин снова подмигнул, еще развязнее.

— Чемоданчик для вас, Феликс Эдмундович. Чтобы вы, батенька, срочно поехали отдыхать.

Цуриков без усилий почесал лопатку.

— Не могу, Владимир Ильич, контрреволюция повсюду. Меньшевики, эсеры, буржуазные лазунчики...

— Лазутчики, — поправил Хуриев, — дальше.

— Ваше здоровье, Феликс Эдмундович, принадлежит революции. Мы с товарищами посоветались и решили —

вы должны отдохнуть. Говорю вам это как предсовнаркома...

Тут неожиданно раздался женский вопль. Лебедева рыдала, уронив голову на скатерть.

— В чем дело? — нервно спросил замполит.

— Феликса жалко, — пояснила Тамара, — худой он, как глист.

— Дистрофики как раз живучие, — неприязненно высказался Геша.

— Перерыв, — объявил Хуриев.

Затем он повернулся ко мне:

— Ну как? По-моему, главное схвачено?

— Ой, — воскликнула Лебедева, — до чего жизненно! Как в сказке...

Цуриков истоиво почесал живот. При этом взгляд его затуманился.

Геша изучал карту побегов. Это считалось подозрительным, хотя карта висела открыто.

Гурин разглядывал спортивные кубки.

— Продолжим, — сказал Хуриев.

Артисты потушили сигареты.

— На очереди Тимофей и Полина. Сцена в приемной ЧК. Тимофей дежурит у коммутатора. Входит Полина. Начали!

Геша сел на табуретку и задумался. Лебедева шагнула к нему, обмахиваясь розовым платочком:

— Тимоша! А, Тимоша!

Тимофей:

— Зачем пришла? Или дома что неладно?

— Не могу я без тебя, голубь сизокрылый...

Тимофей:

— Иди домой, Поля. Тут ведь не изба-читальня.

Лебедева сжала виски кулаками, издав тяжелый пронзительный рев:

— Чужая я тебе, немилая... Загубил ты мои лучшие годы... Бросил ты меня одну, как во поле рябину...

Лебедева с трудом подавляла рыдания. Глаза ее покраснели. Тушь стекала по мокрым щекам...

Тимофей, наоборот, держался почти глумливо.

— Такая уж работа, — цедил он.

— Уехать бы на край земли! — выла Полина.

— К Врангелю, что ли? — настаивался Геша.

— Отлично, — повторял Хуриев. — Лебедева, не выпячивайте зад. Чмыхалов, не заслоняйте героиню. (Так я узнал Гешину фамилию — Чмыхалов.) Поехали... Входит Держинский... А, молодое поколение?!..

Цуриков откашлялся и хмуро произнес:

— А, блядь, молодое поколение?!..

— Что это за слова-паразиты? — вмешался Хуриев.

— А, молодое поколение?!

— Здравия желаю, Феликс Эдмундович, — приподнялся Геша.

— Ты должен смутиться, — подсказал Хуриев.

— Я думаю, ему надо вскочить, — посоветовал Гурин.

Геша вскочил, опрокинув табуретку. Затем отдал честь, прикоснувшись ладонью к бритому лбу.

— Здравия желаю! — крикнул он.

Дзержинский брезгливо пожал ему руку. Педерастов в зоне не любили. Особенно пассивных.

— Динамичнее! — попросил Хуриев.

Геша заговорил быстрее. Потом еще быстрее. Он торопился, проглатывая слова:

— Не знаю, как быть, Феликс Эдмундович... Полинка моя совсем одичала. Ревнует меня к службе, понял? (У Геши выходило — поэт.) ...Скучаю, говорит... а ведь люблю я ее, Полинку-то... Невеста она мне, поэт? Сердцем моим завладела, поэт?..

— Опять слова-паразиты, — закричал Хуриев, — будьте внимательнее!

Лебедева, отвернувшись, подкрашивала губы.

— Перерыв! — объявил замполит. — На сегодня достаточно.

— Жаль, — сказал Гурин, — у меня как раз появилось вдохновение.

— Давайте подведем итоги.

Хуриев вынул блокнот и продолжал:

— Ленин более или менее похож на человека. Тимофей — четверка с минусом. Полина лучше, чем я думал, откровенно говоря. А вот Дзержинский — неубедителен, явно неубедителен. Помните, Дзержинский — это совесть революции. Рыцарь без страха и упрека. А у вас получается какой-то рецидивист...

— Я постараюсь, — равнодушно заверил Цуриков.

— Знаете, что говорил Станиславский? — продолжал Хуриев. — Станиславский говорил — не верю! Если артист фальшивил, Станиславский прерывал репетицию и говорил — не верю!..

— То же самое и менты говорят, — заметил Цуриков.

— Что? — не понял замполит.

— Менты, говорю, то же самое повторяют. Не верю... Не верю... Повязали меня однажды в Ростове, а следователь был мудаком...

— Не забывайте! — прикрикнул замполит.

— И еще при даме, — вставил Гурин.

— Я вам не дама, — повысил голос Хуриев, — я офицер регулярной армии!

— Я не про вас, — объяснил Гурин, — я насчет Лебедевой.

— А-а, — сказал Хуриев.

Затем он повернулся ко мне:

— В следующий раз будьте активнее. Подготовьте ваши замечания... Вы человек культурный, образованный... А сейчас — можете расходиться. Увидимся в среду... Что с вами, Лебедева?

Тамара мелко вздрагивала, комкая платочек.

— Что такое? — спросил Хуриев.

— Переживаю...

— Отлично. Это называется — перевоплощение...

Мы попрощались и разошлись. Я проводил Гурина до шестого барака. Нам было по дороге.

К этому времени стемнело. Тропинку освещали желтые лампочки над забором. В простреливаемом коридоре, звякая цепями, бегали овчарки.

Неожиданно Гурин произнес:

— Сколько же они народу передавали?

— Кто? — не понял я.

— Да эти барбосы... Ленин с Дзержинским. Рыцари без страха и укропа...

Я промолчал. Откуда я знал, можно ли ему доверять. И вообще, чего это Гурин так откровенен со мной?..

Зек не успокаивался:

— Вот я, например, сел за кражу, Мотыль, допустим, палку кинул не туда. У Геши что-либо на уровне фарцовки... Ни одного, как видите, мокрого дела... А эти — Россию в крови потопили, и ничего...

— Ну, — говорю, — вы уж слишком...

— А чего там слишком? Они-то и есть самая кровавая беспредельщина...

— Послушайте, закончим этот разговор.

— Годится, — сказал он.

После этого было три или четыре репетиции. Хуриев горячился, вытирал лоб туалетной бумагой и кричал:

— Не верю! Ленин переигрывает! Тимофей психованный. Полина вертит задом. А Дзержинский вообще похож на бандита.

— На кого же я должен быть похож? — хмуро спрашивал Цуриков. — Что есть, то и есть.

— Вы что-нибудь слышали о перевоплощении? — допытывался Хуриев.

— Слышал, — неуверенно отвечал зек.

— Что же вы слышали? Ну просто интересно, что?

— Перевоплощение, — объяснял за Дзержинского Гурин, — это когда ссученные воры идут на кумовьев работать. Или, допустим, заигранный фрайер, а гоношится, как урка...

— Разговорчики, — сердился Хуриев. — Лебедева, не выпячивайте форму. Больше думайте о содержании.

— Бюсты трясутся, — жаловалась Лебедева, — и ноги отекают. Я, когда нервничаю, всегда поправляюсь. А кушаю мало, творог да яички...

— Про бациллу — ни слова, — одергивал ее Гурин.

— Давайте, — суетился Геша, — еще раз попробуем. Чувствую, в этот раз железно перевоплощусь...

Я старался проявлять какую-то активность. Не зря же меня вычеркнули из конвойного графика. Лучше уж репетировать, чем мерзнуть в тайге.

Я что-то говорил, употребляя выражения — мизансцена, сверхзадача, публичное одиночество...

Цуриков почти не участвовал в разговорах. А если и высказывался, то совершенно неожиданно. Помню, говорили о Ленине, и Цуриков вдруг сказал:

— Бывает, вид у человека похабный, а елда — здоровая. Типа отдельной колбасы.

Гурин усмехнулся:

— Думаешь, мы еще помним, как она выглядит? В смысле — колбаса...

— Разговорчики, — сердился замполит...

Слухи о нашем драмкружке распространились по лагерю. Отношение к пьесе и вождям революции было двояким. Ленина, в общем-то, почитали, Дзержинского — не очень. В столовой один нарядчик бросил Цурикову:

— Нашел ты себе работенку, Мотыль! Чекистом заделался.

В ответ Цуриков молча ударил его черпаком по голове...

Нарядчик упал. Стало тихо. Потом угрюмые возчики с лесоповала заявили Цурикову:

— Помой черпак. Не в баланду же его теперь окунать...

Гешу то и дело спрашивали:

— Ну, а ты, шнырь, кого представляешь? Крупскую?

На что Геша реагировал уклончиво:

— Да так... Рабочего паренька... в законе...

И только Гурин с важностью разгуливал по лагерю. Он научился выговаривать по-ленински:

— Вегной догогой идете, товагици гецидивисты!..

— Похож, — говорили зеки, — чистое кино...

Хуриев с каждым днем все больше нервничал. Геша ходил вразвалку, разговаривал отрывисто, то и дело поправляя несуществующий маузер. Лебедева почти непрерывно всхлипывала даже на основной работе. Она поправилась так, что уже не застегивала молнии на импортных коричневых сапожках. Даже Цуриков и тот слегка преобразился. Им овладело хриплое чахоточное покашливание. Зато он перестал чесаться.

Наступил день генеральной репетиции. Ленину приклеили бородку и усы. Для этой цели был временно освобожден из карцера фальшивомонетчик Журавский. У него была твердая рука и профессиональный художественный вкус.

Гурин сначала хотел отпустить натуральную бороду. Но опер сказал, что это запрещено режимом.

За месяц до спектакля артистам разрешили не стричься. Гурин остался при своей достоверной исторической лысине. Геша оказался рыжим. У Цурикова образовался вполне уместный пегий ежик.

Одели Ленина в тесный гражданский костюмчик, что соответствовало жизненной правде. Для Геши раздобыли у лейтенанта Родичева кожаный пиджак. Лебедева чуть укоротила выходное бархатное платье. Цурикову выделили диагональную гимнастерку.

В день генеральной репетиции Хуриев страшно нервничал. Хотя всем было заметно, что результатами он доволен. Он говорил:

— Ленин — крепкая четверка. Тимофей — четыре с плюсом. Держинский — тройка с минусом. Полина — три с большой натяжкой...

— Линия есть, — уверял присутствовавший на репетициях фальшивомонетчик Журавский, — линия есть...

— А вы что скажете? — поворачивался ко мне замполит.

Я что-то говорил о сверхзадаче и подтексте.

Хуриев довольно кивал...

Так подошло Седьмое ноября. С утра на заборе повисли четыре красных флага. Пятый был укреплен на здании штрафного изолятора. Из металлических репродукторов доносились звуки «Варшавянки».

Работали в этот день только шныри из хозобслуживания. Лесоповал был закрыт. Производственные бригады остались в зоне.

Заключенные бесцельно шатались вдоль следовой полосы. К часу дня среди них обнаружили пьяные.

Нечто подобное творилось и в казарме. Еще с утра многие пошли за вином. Остальные бродили по территории в расстегнутых гимнастерках.

Ружейный парк охраняло шестеро надежных сверхсрочников. Возле продовольственной кладовой дежурил старшина.

На доске объявлений вывесили приказ:

«Об усилении воинской бдительности по случаю юбилея».

К трем часам заключенных собрали на площадке возле шестого барака. Начальник лагеря майор Амосов произнес короткую речь. Он сказал:

— Революционные праздники касаются всех советских

граждан... Даже людей, которые временно оступились... Кого-то убили, ограбили, изнасиловали, в общем, наделали шороху... Партия дает этим людям возможность исправиться... Ведет их через упорный физический труд к социализму... Короче, да здравствует юбилей нашего Советского государства!.. А с пьяных и накуренных, как говорится, будем взыскивать... Не говоря о скотоложестве... А то половину соседских коз огуляли, мать вашу за ногу!..

— Ничего себе! — раздался голос из шеренги. — Что же это получается? Я дочку второго секретаря Запорожского обкома тягал, а козу что, не имею права?..

— Помолчите, Гурин, — сказал начальник лагеря. — Опять вы фигурируете! Мы ему доверили товарища Ленина играть, а он все про козу мечтает... Что вы за народ?..

— Народ как народ, — ответили из шеренги, — сучье да беспредельщина...

— Отпетые вы люди, как я погляжу, — сказал майор. Из-за плеча его вынырнул замполит Хуриев:

— Минуточку, не расходитесь. В шесть тридцать — общее собрание. После торжественной части — концерт. Явка обязательна. Отказчики пойдут в изолятор. Есть вопросы?

— Вопросов навалом, — подали голос из шеренги, — сказать? Куда девалось все хозяйственное мыло? Где обещанные теплые портянки? Почему кино не возят третий месяц? Дадут или нет рукавицы сучкорубам?.. Еще?.. Когда построят будку на лесоповале?..

— Тихо! Тихо! — закричал Хуриев. — Жалобы в установленном порядке, через бригадиров! А теперь расходитесь.

Все немного поворчали и разошлись...

К шести заключенные начали группами собираться около библиотеки. Здесь, в бывшей тарной мастерской, происходили общие собрания. В дощатом сарае без окон могло разместиться человек пятьсот.

Заключенные побрились и начистили ботинки. Парикмахером в зоне работал убийца Мамедов. Всякий раз, оборачивая кому-нибудь шею полотенцем, Мамедов говорил: — Чирик, и душа с тебя вон!..

Это была его любимая профессиональная шутка.

Лагерная администрация натянула свои парадные мундиры. В сапогах замполита Хуриева отражались тусклые лампочки, мигавшие над простреливаемым коридором. Вольнонаемные женщины из хозобслужбы распространяли запах тройного одеколona. Гражданские служащие надели импортные пиджаки.

Сарай был закрыт. У входа толпились сверхсрочники. Внутри шли приготовления к торжественной части.

Бугор Агешин укреплял над дверью транспарант. На алом фоне было выведено желтой гуашью:

«Партия — наш рулевой!»

Хуриев отдавал последние распоряжения. Его окружали — Цуриков, Геша, Тамара. Затем появился Гурин. Я тоже подошел ближе.

Хуриев сказал:

— Если все кончится благополучно, даю неделю отгула. Кроме того, планируется выездной спектакль на Ропче.

— Где это? — заинтересовалась Лебедева.

— В Швейцарии, — ответил Гурин...

В шесть тридцать распахнулись двери сарая. Заключенные шумно расположились на деревянных скамьях. Трое надзирателей внесли стулья для членов президиума.

Цепочкой между рядами проследовало к сцене высшее начальство.

Наступила тишина. Кто-то неуверенно захлопал. Его поддержали.

Перед микрофоном вырос Хуриев. Замполит улыбнулся, показав надежные серебряные коронки. Потом заглянул в бумажку и начал:

— Вот уже шестьдесят лет...

Как всегда, микрофон не работал.

Хуриев возвысил голос:

— Вот уже шестьдесят лет... Слышно?

Вместо ответа из зала донеслось:

— Шестьдесят лет свободы не видать...

Капитан Токарь приподнялся, чтобы запомнить нарушителя.

Хуриев заговорил еще громче. Он перечислил главные достижения советской власти. Вспомнил о победе над Германией. Осветил текущий политический момент. Бегло остановился на проблеме развернутого строительства коммунизма.

Потом выступил майор из Сыктывкара. Речь шла о побегах и лагерной дисциплине. Майор говорил тихо, его не слушали...

Затем на сцену вышел лейтенант Родичев. Свое выступление он начал так:

— В народе родился документ...

За этим последовало что-то вроде социалистических обязательств. Я запомнил фразу: «...Сократить число лагерных убийств на двадцать шесть процентов...»

Прошло около часа. Заключенные тихо беседовали, курили. Задние ряды уже играли в карты. Вдоль стен бесшумно передвигались надзиратели.

Затем Хуриев объявил:

— Концерт!

Сначала незнакомый зек прочитал две басни Крылова. Изображая стрекозу, он разворачивал бумажный веер. Переключаясь на муравья, размахивал воображаемой лопатой.

Потом завбаней Тарасюк жонглировал электрическими лампочками. Их становилось все больше. В конце Тарасюк подбросил их одновременно. Затем оттянул на животе резинку, и лампочки попадали в сатиновые шаровары.

Затем лейтенант Родичев прочитал стихотворение Маяковского. Он расставил ноги и пытался говорить басом.

Его сменил рецидивист Шушаня, который без аккомпанемента исполнил «Цыганочку». Когда ему хлопали, он воскликнул:

— Жаль, сапоги лакшьювые, не тот эффект!..

Потом объявили нарядчика Логинова «в сопровождении гитары».

Он вышел, поклонился, тронул струны и запел:

Цыганка с картами, глаза упрямые,
Монисто древнее и нитка бус.
Хотел судьбу пытаться бубновой дамою,
Да снова выпал мне пиковый туз.

Зачем же ты, судьба моя несчастная,
Опять ведешь меня дорогой слез?
Колючка ржавая, решетка частая,
Вагон стольпинский и шум колес..

Логинову долго хлопали и просили спеть на «бис». Однако замполит был против. Он вышел и сказал:

— Как говорится, хорошего понемножку...

Затем поправил ремень, дождался тишины и выкрикнул:

— Революционная пьеса «Кремлевские звезды». Роли исполняют заключенные Усть-Вымского лагпункта. Владимир Ильич Ленин — заключенный Гурин. Феликс Эдмундович Дзержинский — заключенный Цуриков. Красноармеец Тимофей — заключенный Чмыхалов. Купеческая дочь Полина — работница АХЧ Лебедева Тамара Евгеньевна... Итак, Москва, тысяча девятьсот восемнадцатый год...

Хуриев, пятясь, удалился. На просцениум вынесли стул и голубую фанерную тумбу. Затем на сцену поднялся Цуриков в диагоналевой гимнастерке. Он почесал ногу, сел и глубоко задумался. Потом вспомнил, что болен, и начал усиленно кашлять. Он кашлял так, что гимнастерка вылезла из-под ремня.

А Ленин все не появлялся. Из-за кулис с опозданием вынесли телефонный аппарат без провода. Цуриков перестал кашлять, снял трубку и задумался еще глубже.

Из зала ободряюще крикнули:

— Давай, Мотыль, не тяни резину.

Тут появился Ленин с огромным желтым чемоданом в руке.

— Здравствуйте, Феликс Эдмундович.

— Здравсьте, — не вставая, ответил Дзержинский.

Гурин опустил чемодан и, хитро прищурившись, спросил:

— Знаете, Феликс Эдмундович, что это такое?

— Чемодан, Владимир Ильич.

— А для чего он, вы знаете?

— Понятия не имею.

Цуриков даже слегка отвернулся, демонстрируя полное равнодушие.

Из зала крикнули еще раз:

— Встань, Мотылина! Как ты с паханом базаришь?

— Ша! — ответил Цуриков. — Разберемся... Много вас тут шибко грамотных.

Он неохотно приподнялся.

Гурин дождался тишины и продолжал:

— Чемоданчик для вас, Феликс Эдмундович. Чтобы вы, батенька, срочно поехали отдыхать.

— Не могу, Владимир Ильич, контрреволюция повсюду. Меньшевики, эсеры, — Цуриков сердито оглядел притихший зал, — буржуазные... как их?

— Лазутчики? — переспросил Гурин.

— Во-во...

— Ваше здоровье, Феликс Эдмундович, принадлежит революции. Мы с товарищами посоветались и решили — вы должны отдохнуть. Говорю вам это как предсовнаркома...

Цуриков молчал.

— Вы меня поняли, Феликс Эдмундович?

— Понял, — ответил Цуриков, глупо ухмыляясь.

Он явно забыл текст.

Хуриев подошел к сцене и громко зашептал:

— Делайте что хотите...

— А чего мне хотеть? — таким же громким шепотом выговорил Цуриков. — Если память дырявая стала...

— Делайте что хотите, — громче повторил замполит, — а службу я не брошу.

— Ясно, — сказал Цуриков, — не брошу...

Ленин перебил его:

— Главное достояние революции — люди. Беречь их — дело архиважное... Так что собирайтесь, и в Крым, батенька, в Крым!

— Рано, Владимир Ильич, рано... Вот покончим с меньшевиками, обезглавим буржуазную кобру...

— Не кобру, а гидру, — подсказал Хуриев.

— Один черт, — махнул рукой Дзержинский.

Дальше все шло более или менее гладко. Ленин угоривал, Дзержинский не соглашался. Несколько раз Цуриков сильно повысил голос.

Затем на сцену вышел Тимофей. Кожаный пиджак лейтенанта Рогачева напоминал чекистскую тужурку. Полина звала Тимофея бежать на край света.

— К Врангелю, что ли? — спрашивал жених и хватался за несуществующий маузер.

Из зала кричали:

— Шнырь, заходи с червей! Тащи ее в койку! Докажи, что у тебя в штанах еще кудахчет!..

Лебедева гневно топала ногой, одергивала бархатное платье. И вновь подступала к Тимофею:

— Загубил ты мои лучшие годы! Бросил ты меня одну, как во поле рябину!..

Но публика сочувствовала Тимофею. Из зала доносились:

— Ишь как шерудит, профура! Видит, что ее свеча догорает!..

Другие возражали:

— Не пугайте артистку, козлы! Дайте сеансу набраться!

Затем распахнулась дверь сарая и опер Борташевич крикнул:

— Судебный конвой, на выход! Любченко, Гусев, Корались, получите оружие! Сержант Лахно — бегом за документами!..

Четверо конвойных потянулись к выходу.

— Извиняюсь, — сказал Борташевич.

— Продолжайте, — махнул рукой Хуриев.

Представление шло к финальной сцене. Чемоданчик был спрятан до лучших времен. Феликс Дзержинский остался на боевом посту. Купеческая дочь забыла о своих притязаниях...

Хуриев отыскал меня глазами и с удовлетворением кивнул. В первом ряду довольно щурился майор Амосов.

Наконец Владимир Ильич шагнул к микрофону. Несколько секунд он молчал. Затем его лицо озарилось светом исторического предвидения.

— Кто это?! — воскликнул Гурин. — Кто это?!

Из темноты глядели на вождя худые, бледные физиономии.

— Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь семидесятых?..

В голосе артиста зазвенели романтические нотки. Речь его была окрашена неподдельным волнением. Он жестикублировал. Его сильная, покрытая татуировкой кисть указывала в небо.

— Неужели это те, ради кого мы возводили баррикады? Неужели это славные внуки революции?..

Сначала неуверенно засмеялись в первом ряду. Через секунду хохотали все. В общем хоре слышался бас майора Амосова. Тонко вскрикивала Лебедева. Хлопал себя руками по бедрам Геша Чмыхалов. Цуриков на сцене отклеил бородку и застенчиво положил ее возле телефона.

Владимир Ильич попытался говорить:

— Завидую вам, посланцы будущего! Это для вас зажигали мы первые огоньки новостроек! Это ради вас... Дослушайте же, псы! Осталось с гулькин хер!..

Зал ответил Гурину страшным неутихающим воем:

— Замри, картавый, перед беспредельщиной!..

— Эй, кто там ближе, пощекотите этого Мопассана!..

— Линяй отсюда, дядя, подгорели кренделя!..

Хуриев протиснулся к сцене и дернул вождя за брюки:

— Пойте!

— Уже? — спросил Гурин. — Там осталось буквально два предложения. Насчет буржуазии и про звезды.

— Буржуазию — отставить. Переходите к звездам. И сразу запевайте «Интернационал».

— Договорились...

Гурин, надсаживаясь, выкрикнул:

— Кончайте базарить!

И мстительным тоном добавил:

— Так пусть же светят вам, дети грядущего, наши кремлевские звезды!..

— Поехали! — скомандовал Хуриев.

Взмахнув ружейным шомполом, он начал дирижировать.

Зал чуть притих. Гурин неожиданно красивым, чистым и звонким тенором вывел:

...Вставай, проклятьем заклейменный...

И дальше, в наступившей тишине:

...Весь мир голодных и рабов...

Он вдруг странно преобразился. Сейчас это был деревенский мужик, таинственный и хитрый, как его недавние предки. Лицо его казалось отрешенным и грубым. Глаза были полужакрыты.

Внезапно его поддержали. Сначала один неуверенный голос, потом второй и третий. И вот я уже слышу нестройный распадающийся хор:

...Кипит наш разум возмущенный,
На смертный бой идти готов..

Множество лиц слилось в одно дрожащее пятно. Артисты на сцене замерли. Лебедева сжимала руками виски. Хуриев размахивал шомполом. На губах вождя революции застыла странная мечтательная улыбка...

...Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем...

Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые я был частью моей особенной, небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы... От слез я на минуту потерял зрение. Не думаю, чтобы кто-то это заметил...

А потом все стихло. Последний куплет дотянули одинокие, смущенные голоса.

— Представление окончено, — сказал Хуриев.

Опрокидывая скамейки, заключенные направились к выходу.

16 июня 1982 года. Нью-Йорк

Полагаю, наше сочинение близится к финалу. Остался последний кусок страниц на двадцать. Еще кое-что я сознательно решил не включать.

Я решил пренебречь самыми дикими, кровавыми и чудовищными эпизодами лагерной жизни. Мне кажется, они выглядели бы спекулятивно. Эффект заключался бы не в художественной ткани, а в самом материале.

Я пишу — не физиологические очерки. Я вообще пишу не о тюрьме и зеках. Мне бы хотелось написать о жизни и людях. И не в кунсткамеру я приглашаю своих читателей.

Разумеется, я мог нагородить бог знает что. Я знал человека, который вытатуировал у себя на лбу: «Раб МВД». После чего был натурально скальпирован двумя тюремными врачами. Я видел массовые оргии лесбиянок на крыше барака. Видел, как насиловали овцу. (Для удобства рецидивист Шушаня сунул ее задние ноги в кирзовые прохаря.) Я был на свадьбе лагерных педерастов и даже крикнул: «Горько».

Еще раз говорю, меня интересует жизнь, а не тюрьма. И — люди, а не монстры.

И меня абсолютно не привлекают лавры современного Вергилия. (При всей моей любви к Шаламову.) Достаточно того, что я работал экскурсоводом в Пушкинском заповеднике...

Недавно злющий Генис мне сказал:

— Ты все боишься, чтобы не получилось как у Шаламова. Не бойся. Не получится...

Я понимаю, это так, мягкая дружеская ирония. И все-таки зачем же переписывать Шаламова? Или даже Толстого вместе с Пушкиным, Лермонтовым, Ржевским?.. Зачем перекраивать Александра Дюма, как это сделал Фицджеральд? «Великий Гетсби» — замечательная книга. И все-таки я предпочитаю «Графа Монте-Кристо»...

Я всегда мечтал быть учеником собственных идей. Может, и достигну этого в преклонные годы...

Итак, самые душераздирающие подробности лагерной жизни я, как говорится, опустил. Я не сулил читателям эффектных зрелищ. Мне хотелось подвести их к зеркалу.

Есть и другая крайность. А именно — до самозабвения погрузиться в эстетику. Вообще забыть о том, что лагерь — гнусен. И живописать его в орнаментальных традициях юго-западной школы.

Крайностей, таким образом, две. Я мог рассказать о человеке, который зашил свой глаз. И о человеке, который выкормил раненого щегленка на лесоповале. О растратчике Яковлеве, прибывшем свою мошонку к нарам. И о щипаче Буркове, рыдавшем на похоронах майского жука...

Короче, если вам покажется, что не хватает мерзости, — добавим. А если все наоборот, опять же — дело поправимое...

Когда меня связали телефонным проводом, я успокоился. Голова моя лежала у радиатора парового отопления. Ноги же, обутые в грубые кирзовые сапоги, — под люстрой. Там, где месяц назад стояла елка...

Я слышал, как выдавали оружие наряду. Как лейтенант Хуриев инструктировал солдат. Я знал, что они сейчас выйдут на мороз. Дальше будут идти по черным трапам, вдоль зоны, мимо рвущихся собак. И каждый будет освещать фонариком лицо, чтобы солдат на вышке мог его узнать...

Первым делом я решил объявить голодовку. Я стал ждать ужина, чтобы не притронуться к еде. Ужина мне так и не принесли...

Я слышал, как вернулись часовые. Как они зашли в ружейный парк. Как с грохотом швыряли инструктору через барьер подсумки с двумя магазинами. Как ставили в пирамиду белые от инея автоматы. И как передвигали легкие дюралевые табуретки в столовой. А затем ругали повара Балодиса, оставившего им несколько луковиц, сало и хлеб. Но, как я догадался, забывшего про соль...

Трезвея от холода, я начал вспоминать, как это было.

Днем мы напились с бесконвойниками, которые пытались меня обнимать и все твердили:

— Боб, ты единственный в Устьвымлаге — человек!..

Затем мы отправились через поселок в сторону кильдима. Около почты встретили леспромхозовского фельдшера Штерна. Фидель подошел к нему. Сорвал ондатровую шапку. Зачерпнул снега и опять надел. Мы шли дальше, а по лицу фельдшера стекала грязная вода.

Потом мы зашли в кильдим и спросили у Тонечки бормотухи. Она сказала, что дешевой выпивки нет. Тогда мы закричали, что это все равно. Потому что деньги все равно уже кончились.

Она говорит:

— Вымойте полы на складе. Я вам дам по фунфурику одеколону...

Тонечка пошла за водой. Вернулась через несколько минут. От бадьи шел пар.

Мы сняли гимнастерки. Скрутили их в жгуты. Окунули в бадью и начали тереть дощатый пол. Мы с Балодисом работали добросовестно. А Фидель почти не мешал.

Потом мы выпили немного одеколону. Мы просто утомились ждать. Он страшно медленно переливался в кружки.

Вкус был ужасный, и мы закусил барбарисками. Мы жевали их вместе с прилипшей к ним оберточной бумагой.

Тонечка сказала: «На здоровье!»

Латыш Балодис подмигнул ей и спрашивает Фиделя:

— Ты бы мог?

А Фидель ему и отвечает:

— За миллион и то с похмелья...

Когда мы вышли, было уже темно. Над лесобиржей и в поселке зажглись огни.

Мы прошли вдоль конюшни, где стояли телеги без лошадей. Фидель затынул: «Мы идем по Уругваю!..» А Балодис схватил гитару и ударил ее об дерево. Обломки мы кинули в прорубь.

Я поглядел на звезды. У меня закружилась голова...

В этот момент Фидель полез на телеграфный столб. Да еще с перочинным ножом в зубах. Парень он был технически грамотный и рассчитывал что-нибудь испортить. Он забирался выше и выше. Тень от него стала огромной. Неожиданно он крикнул: «Мама!» — и упал с десятиметровой высоты. Мы бросились к нему. Но Фидель поднялся, отряхнул снег и говорит:

— Падать — не залазить!..

Стали искать нож. Балодис говорит:

— Видно, ты его проглотил.

— Пусть, — сказал Фидель, — у меня их два...

Потом мы отправились в казарму. Навстречу выехал

хлебный фургон. Мы пошли вперед, не сворачивая. Водитель затормозил, свернул и поломал чью-то ограду...

Когда мы вернулись, служебный наряд чистил оружие. Мы зашли в столовую и поели холодного рассольника. Фидель хотел помочиться в бачок, который стоял на табурете. Но мы с Балодисом ему отсоветовали.

Потом мы зашли в ленкомнату. Расселись вокруг стола. Он был накрыт кумачовой скатертью. Кругом атели стенды, плакаты и лозунги. Наверху мерцала люстра. В углу лежала свернутая трубкой новогодняя «Молния»...

— Скоро ли коммунизм наступит? — поинтересовался Фидель.

— Если верить газетам, то завтра. А что?

— А то, что у меня потребности накопились.

— В смысле — добавить? — оживился Балодис.

— Ну, — кивнул Фидель.

Я говорю:

— А как у тебя насчет способностей?

— Прекрасно, — ответил Фидель, — способностей у меня навалом.

— Матом выражаться, — подсказал Балодис.

— Не только, — ответил Фидель.

Он начал расставлять шахматные фигуры. Я положил голову на скатерть. А Балодис стал разглядывать фотографии членов Политбюро ЦК. Потом он сказал:

— Вот так фамилия — Челюсть!

Тут в ленкомнату заглянул старшина Евченко.

— Ложились бы, хлопцы! — сказал он.

А Фидель как закричит:

— Почему кругом несправедливость, старшина? Объясните, почему? Вор, положим, сидит за дело. А мы-то за что пропадаем?!

— Кто же виноват? — говорит старшина.

Я говорю:

— Если бы мне показали человека, который виноват...

На котором вина за все мои горести... Я бы его тут же придушил...

— Шли бы спать, — произнес Евченко.

Тут мы встали и ушли не попрощавшись. А Фидель — тот даже задел старшину. Покурили, сидя во дворе на бревнах. Затем направились в хозчасть.

— Боб, иди в зону, — сказал Фидель, — и принеси горячего. А то мотор глохнет.

— Давай, — подхватил Балодис, — в кильдиме шнапса нет, а у зеков — сколько угодно. Дадут без разговоров, вот увидишь. Знают, что и мы в долгу не останемся.

Он потянул Фиделя за рукав:

— Дай папиросу.

— Курить вредно, — заявил Фидель, — табак отрицательно действует на сердце.

— Нет, полезно, — сказал Балодис, — еще полезней водки. А вредно знаешь что? На вышке стоять.

— Самое вредное, — говорит Фидель, — это политзанятия. И когда бежишь в противогазе.

— И строевая подготовка, — добавил я...

В зону меня не пустили. Контролер на вахте спрашивает:

— Ты куда?

— В зону, естественно.

— По личному делу?

— Нет, — говорю, — по общественному.

— За водкой, что ли?

— Ну.

— Поворачивай обратно!

— Ого, — говорю, — вот это соцзаконность! Значит — пускай ее выпьет какой-нибудь рецидивист? И совершит повторное уголовное наказуемое деяние?..

— Ты ходишь за водкой. Общаешься с контингентом. А потом он использует тебя в сомнительных целях.

— Кто это — он?

— Контингент... У тебя должен быть антагонизм по час-ти зеков. Ты должен их ненавидеть. А разве ты их ненави-дишь? Что-то не заметно. Спрашивается, где же твой анта-гонизм?

— Нет у меня антагонизма. Даже к тебе, мудила...

— То-то, — неожиданно высказался контролер и доба-вил: — Хочешь, я тебе из личных запасов налью?

— Давай, — говорю, — только антагонизма все равно не жди...

Я шел в казарму спотыкаясь. В темноте миновал засне-женный плац. Оказался в сушилке, где топилась печь. На крючьях висели бушлаты и полушубки.

Фидель рванулся ко мне, опрокинув стул. Когда я ска-зал, что водки нет, он заплакал.

Я спросил:

— А где Балодис?

Фидель говорит:

— Все спят. Мы теперь одни.

Тут и я чуть не заплакал. Я представил себе, что мы одни на земле. Кто же нас полюбит? Кто же о нас позабо-тится?..

Фидель шевельнул гармошку, издав резкий, пронзитель-ный звук.

— Гляди, — сказал он, — впервые беру инструмент, а получается не худо. Что тебе сыграть, Баха или Моцарта?..

— Моцарта, — сказал я, — а то караульная смена прос-нется. По рылу можно схлопотать...

Мы помолчали.

— У Дзавашвили чача есть, — сказал Фидель, — только он не даст. Пошли?

— Неохота связываться.

— Почему это?

— Неохота, и все.

— Может, ты его боишься?

— Чего мне бояться? Плевал я...

— Нет, ты боишься. Я давно заметил.

— Может, я и тебя боюсь? Может, я вообще и Когана боюсь?

— Когана ты не боишься. И меня не боишься. А Дзавашвили боишься. Все грузины с ножами ходят. Если что, за ножи берутся. У Дзавашвили вот такой саксан. Не умещается за голенищем...

— Пошли, — говорю.

Андзор Дзавашвили спал возле окна. Даже во сне его лицо было красивым и немного заносчивым.

Фидель разбудил его и говорит:

— Слышь, нерусский, дал бы чачи...

Дзавашвили проснулся в испуге. Так просыпаются все солдаты лагерной охраны, если их будят неожиданно. Он сунул руку под матрас. Затем взгляделся и говорит:

— Какая чача, дорогой, спать надо!

— Дай, — твердит Фидель, — мы с Бобом похмеляемся.

— Как же ты завтра на службу пойдешь? — говорит Андзор.

А Фидель отвечает:

— Не твоих усов дело!

Андзор повернулся спиной.

Тут Фидель как закричит:

— Как же это ты, падла, русскому солдату чачи не даешь?!

— Кто здесь русский? — говорит Андзор. — Ты русский? Ты — не русский. Ты — алкоголист!

Тут и началось.

Андзор кричит:

— Шалва! Гиго! Вай мэ! Арунда!..

Прибежали грузины в белье, загорелые даже на Севере. Они стали так жестикулировать, что у Фиделя пошла кровь из носа.

Тут началась драка, которую много лет помнили в охране. Шесть раз я падал. Раза три вставал. Наконец меня связали телефонным проводом и отнесли в ленкомнату. Но даже здесь я все еще преследовал кого-то. Связанный, лежащий на шершавых досках. Наверное, это и был тот самый человек. Виновник бесчисленных превратностей моей судьбы...

...К утру всегда настроение портится. Особенно если спишь на холодных досках. Да еще связанный телефонным проводом.

Я стал прислушиваться. Повар с грохотом опустил дрова на кровельный лист. Звякнули ведра. Затем прошел дневальный. А потом захлопали двери, и все наполнилось особым шумом. Шумом казармы, где живут одни мужчины и ходят в тяжелых сапогах.

Через несколько минут в ленкомнату заглянул старшина Евченко. Он, наклонившись, разрезал штыком телефонный провод.

— Спасибо, — говорю, — товарищ Евченко. Я, между прочим, этого так не оставлю. Все расскажу корреспонденту «Голоса Америки».

— Давай, — говорит старшина, — у нас таких корреспондентов — целая зона.

Потом он сказал, что меня вызывает капитан Токарь.

Я шел в канцелярию, потирая запястья. Токарь встал из-за стола. У окна расположился недавно сменивший меня писарь Богословский.

— В этот раз я прощать не собираюсь, — заявил капитан, — хватит! С расконвоированными пили?

— Кто, я?

— Вы.

— Ну уж, пил... Так, выпил...

— Просто ради интереса — сколько?

— Не знаю, — сказал я, — знаю, что пил из консервной банки.

— Товарищ капитан, — вмешался Богословский, — он не отрицает. Он раскаивается...

Капитан рассердился:

— Я все это слышал — надоело! В этот раз пусть трибунал решает. Старой ВОХРЫ больше нет. Мы, слава Богу, принадлежим к регулярной армии...

Он повернулся ко мне:

— Вы принесли команде несколько ЧП. Вы срываете политзанятия. Задаете провокационные вопросы лейтенанту Хуриеву. Вчера учинили побоище с нехорошим, шовинистическим душком. Вот медицинское заключение, подписанное доктором Явщицом...

Капитан достал из папки желтоватый бланк.

— Товарищ капитан, — вставил Богословский, — написать можно что угодно.

Токарь отмахнулся и прочел:

— «...Сержанту Годеридзе нанесено телесное повреждение в количестве шести зубов...»

Он выругался и добавил:

— «...От клыка до клыка — включительно...» Что вы на это скажете?

— Авитаминоз, — сказал я.

— Что?!

— Авитаминоз, — говорю, — кормят паршиво. Зубы у всех шатаются. Чуть заденешь, и привет...

Капитан подозрительно взглянул на дверь. Затем распахнул ее. Там стоял Фидель и подслушивал.

— Здравсьте, товарищ капитан, — сказал он.

— Ну вот, — сказал Токарь, — вот и прекрасно. Петров вас и отконвоирует.

— Я не могу его конвоировать, — сказал Фидель, — потому что он мой друг. Я не могу конвоировать друга. У меня нет антагонизма...

— А пить с ним вы можете?

— Больше не повторится, — сказал Фидель.

— Достаточно, — капитан поправил гимнастерку, — снимайте ремень.

Я снял.

— Положите на стол.

Я бросил ремень на стол. Медная бляха ударила по стеклу.

— Возьмите ремень! — крикнул Токарь.

Я взял.

— Положите на стол!

Я положил.

— Ефрейтор Петров, берите оружие и марш к старшине за документами!

— Автомат-то зачем?

— Выполняйте! А то — поменяетесь местами!

Тут я говорю:

— Поесть бы надо. Не имеете права голодом морить.

— Права свои вы знаете, — усмехнулся Токарь, — но и я свои знаю...

Когда мы вышли, я сказал Фиделю:

— Ладно, не расстраивайся. Не ты, значит — другой...

Затем мы позавтракали овсяной кашей. Сунули в карманы хлеб. Оделись потеплее и вышли на крыльцо.

Фидель достал из подсумка обойму, тут же, на ступеньках, зарядил автомат.

— Пошли, — говорю, — нечего время терять.

Мы направились к поезду. Там можно было сесть в попутный грузовик или лесовоз.

Позади оставался казарменный вылинявший флаг, унылые деревья над забором и мутное белое солнце.

Шлагбаум был опущен. Фидель курил. Я наблюдал, как мимо проносится состав. Мне удалось разглядеть голубые

занавески, термос, лампу... Мужчину с папиросой... Я даже заметил, что он в пижаме.

Все это было тошно..

Рядом затормозил лесовоз. Фидель махнул рукой шоферу. Мы оказались в тесной кабине, где пахло бензином.

Фидель поставил автомат между колен. Мы закурили. Шофер повернулся ко мне и спрашивает:

— За что тебя, парень?

Я говорю:

— Критиковал начальство...

Около водокачки дорога свернула к поселку. Я вынул из кармана часы без ремешка, показал шоферу, говорю:

— Купи.

— А ходят?

— Еще как! На два часа точнее кремлевских!

— Сколько?

— Пять колов.

— Пять?!

— Ну — семь.

Шофер остановил машину. Вынул деньги. Дал мне пять рублей. Потом спросил:

— Зачем тебе на гауптвахте деньги?

— Бедным помогать, — ответил я.

Шофер ухмыльнулся. Затем он еще долго разглядывал часы и прикладывал к уху.

— Тестю, — говорит, — преподнесу на именины, старому козлу...

Мы вышли из кабины. Темнеющая между сугробами лежневая дорога вела к поселку.

Он встретил нас гудением движка и скрипом полозьев. Обдал сквозняком пустынных улиц. Собак здесь попадалось больше, чем людей.

Путь наш лежал через Весляну. Мимо полуразвалившихся каменных ворот тарного цеха. Мимо изб, погребенных в снегу. Мимо столовой, из распахнутых дверей которой валил белый пар. Мимо гаража с автомашинами, развернутыми одинаково, как лошади в ночном. Мимо клуба с громкоговорителем над чердачным окошком. И потом вдоль забора с фанерными будками через каждые шестьдесят метров.

Дальше, за холмом, тянулись серые корпуса головного лагпункта. Там возвышалось двухэтажное кирпичное здание штаба, набитого офицерами, стуком пишущих машинок и бесчисленными армейскими реликвиями. Там, за металлической дверью, ждала нас хорошо оборудованная гауптвахта с цементным полом. Да еще — с голыми нарами без плинтусов.

Уже различимы были ворота с пятиконечной звездой...

— Мы тебя на поруки возьмем, — сказал Фидель, — увидишь.

— Ладно. На гауптвахте отсижу. А в трибунале, я подозреваю, очередь лет на двадцать...

Мы шли через ров по обледеневшим бревнам. Я сказал:

— Посмотри документы. Неужели там указано время?

— Нет, — сказал Фидель, — а что?

— Куда, — говорю, — нам спешить? Пойдем к торфушкам.

Подразумевались женщины с торфоразработок. Сезонницы, которые жили в бараке за поселком.

— Да ну их, — говорит Фидель.

— А что, возьмем бутылку, деньги есть.

Тут я заметил, что Фиделю это не по вкусу. Что он поглядывает на меня с тоской.

— Идем, — говорю, — с людьми побудем.

— А с пушкой что делать?

— Автомат под кровать.

Фидель идет, молчит. Я говорю:

— Идем. Покурим, выпьем. Бардаки я и сам не люблю. Спокойно посидим в тепле, без крика.

А Фидель говорит:

— Слушай. Вон он — штаб, рядом. Пять минут через болото. Пять минут, и в тепле.

— На гауптвахте, что ли?

— Ну.

— Где пол цементный?

— Что значит — пол?! Имеется топчан. И печка. И температура по уставу должна быть выше шестнадцати градусов...

— Слушай, — говорю, — не по делу ты выступаешь. Гауптвахта — впереди. И топчан, и шестнадцать градусов, и военный дознаватель Комлев... А сейчас пойдем к торфушкам.

— Приключений искать? — твердит Фидель с досадой.

— Ах, вот как ты заговорил! Вот что делается с человеком, которому пушку навесили! Давай приказывай, гражданин начальник!..

Тут Фидель как закричит:

— Чего ты возникаешь? Ну чего ты возникаешь? Да пойдем куда угодно! Куда хочешь, туда и пойдем...

Мы направились в кильдим. Поднялись на крыльцо, отряхнули снег и вошли. Пахло рыбой и керосином. В углу темнели бочки. На полках лежали сигареты, мыло, консервы. Золотился куб халвы с оплывшими гранями. Возле раскаленного отражателя дремала кошка. Ниже возился петух. Неутомимо и бешено клевал он мраморной расцветки пряник.

Тонечка протянула нам две бутылки вина. Фидель опустил их в карманы галифе. Потом мы взяли немного халвы и две банки свиных консервов.

Фидель сказал:

— Купи селедки.

Тонечка говорит:

— Селедка малость того... С запахом.

Фидель спрашивает:

— С плохим, что ли, запахом?

— Да с неважным, — говорит Тонечка...

Мы вышли из кильдима. Поднялись в гору. И вот оказались перед бараком с тусклой лампочкой над дверью.

Подошли к окну, стучим. Тотчас же высунулось плоское лицо. Женщина с распущенными волосами трижды кивнула, указывая на дверь.

В прихожей стояло ведро, накрытое куском фанеры. В углу на стене темнели брезентовые плащи. Под ними лежали черпаки, веревки и крючья...

В бараке — тепло. Чугунная печка наполнена розовым жаром. Из угла в угол косо протянута труба.

Нары завалены пальто и телогрейками. Прогнившие балки оклеены цветными фотографиями из журналов. На тумбочках громоздится немытая посуда.

Мы скинули полушубки. Присели к дощатому столу. Рядом кто-то спал, накрывшись одеялом. У окна сидела женщина в гимнастерке и читала книгу. Она даже не поздоровалась.

— Шестнадцатая республика, — загадочно высказалась о ней первая девица.

Затем позвала кого-то из глубины барака:

— Надька! Женихи соскучивши...

И добавила:

— Будьте как дома, если уж пришли...

Ее малиновые шаровары были заправлены в грубые кирзовые прохаря. На запястье синела пороховая татуировка: «Весь мир — бардак!»

Возникла подруга с бледным и злым лицом. Она была в малиновой лыжной куртке, тесной суконной юбке и домашних шлепанцах.

Мы вынули бутылки и консервы. Девицы принесли эмалированные кружки и хлеб. При этом они непрерывно смеялись.

На окне чернел транзисторный магнитофон, выделяясь среди прочего хлама.

Девица в красных шароварах назвалась Зиной. Подруга в юбке сказала басом:

— Амосова Надежда.

— Как работаете, — поинтересовался Фидель, — надеюсь, с огоньком?

— Пускай медведь работает, — ответила Надежда.

Зина высказалась еще более решительно:

— Тяжелее хрена в руки не беру...

Фидель уважительно приподнял брови.

Наступила пауза. Потом Зина спросила:

— Мальчики из ВОХРЫ?

— Нет, — сказал Фидель, — мы артисты. Вернее, лауреаты. А вот мой саксофон.

И он помахал автоматом над головой.

— Мальчики, — спросила Зина, — вы немного чокнутые?

— Ага, — говорю, — мы психи. Кукареку!

Фидель разлил вино, звякая стеклом о борта эмалированных кружек.

— Будем здоровы! — сказал он.

— Будем здоровы! — говорю.

— Будете, будете, — сказала Зина, — мы проверяемся. Так что, не бойтесь...

Кто-то ходил у нас за спиной по бараку. Кто-то просил, чтобы выключили магнитофон. Кто-то гремел черпаками в сенях. Кто-то пил воду...

Затем явились леспромхозовские парни. Увидели наши полушубки. Долго бродили под окнами, что-то замышляя...

Но мне было все равно. Потому что я неожиданно вспомнил минувшую зиму. Здесь тогда проходили очередные сборы надзорсостава. Мы были размещены в сорокаместной палатке. Койки стояли в два яруса. Внизу было жарко от печки, а наверху гуляли сквозняки.

Каждое утро мы беспорядочной толпой шли в столовую головного лагпункта. Потом тренировались в спортивном зале или листали методички.

Полужинав около семи часов, мы разбрелись, кто на танцы, кто в знакомые дома. Большинство шло в местный клуб...

Грохочет оркестр. Разгоряченные девушки ищут в толпе офицеров. Рядовые в душных мундирах топчутся у стены. Они распространяют запах лосьона и конюшни. Их прохоря сияют, как фальшивые драгоценности.

Но вот смолкает радиола. Солдаты едут в кузове батальонного грузовика. Теперь они с необычайной развязностью говорят про женщин. Я слышу голос в темноте:

— А помнишь рыжую на шпильках? Я бы на ту рыжую лег...

— Ты бы лег и на кучу дерьма, — раздается в ответ.

Завтра — обычный день...

Однажды вечером я шел пешком из клуба. Музыка доносилась все слабее. Фонари не горели. Дорога была твердой от первых морозов.

Помедлив, я неожиданно свернул к дощатому зданию библиотеки. Крутыми деревянными ступенями поднялся на второй этаж. Затем отворил дверь и стал на пороге.

В зале было пусто и тихо. Вдоль стен мерцали шкафы. Я подошел к деревянному барьеру. Навстречу мне поднялась тридцатилетняя женщина, в очках, с узким лицом и бледными губами.

Женщина взглянула на меня, сняв очки и тотчас коснувшись переносицы. Я поздоровался.

— Что вас интересует? Стихи или проза?

Я попросил рассказы Бунина, которые любил еще школьником. Расписался на квадратном голубоватом бланке. Сел у окна. Включил изогнутую лампу, начал читать.

Женщина несколько раз вставала, уходила из комнаты. Иногда смотрела на меня. Я понял, что внушаю ей страх. Тайга, лагерный поселок, надзиратель... Женщина в очках...

Как ее сюда занесло?..

Затем она передвигала стулья. Я встал, чтобы помочь. Разглядел ее старомодное платье из очень тонкой, жесткой, всегда холодной материи и широкие зырянские чуни...

Тут я случайно коснулся ее руки. Мне показалось, что остановилось сердце. Я с ужасом подумал, что отвык... Просто забыл о вещах, ради которых стоит жить... А если это так, сколько же всего успело промчаться мимо? Как много я потерял? Чего лишился в эти дни, полные ненависти и страха?!

Ты дежуришь в изоляторе. В соседней камере гремит наручниками Анаги-заде. Шумит пилорама. А дни, холодные, нелепые, бредут за стеклами, опережая почту...

Я вернулся к столу, захлопнул книгу. Положил ее на деревянный барьер.

— Вам не понравилось? — спросила женщина.

— Ничего, — говорю, — спасибо. Мне пора...

Я, не оглядываясь, спустился по лестнице. До военного городка оставалось полтора километра...

Сейчас я припомнил все это и говорю Фиделю:

— Пошли отсюда.

— Ну вот! — сказал Фидель.

— Допивай вино, и пошли.

Девушки спросили:

— Вас что, невесты ждут?

И только засмеялись вслед...

Мы шли в тишине под звездами. Направились вдоль забора к лошине. Она заканчивалась темным и громоздким силуэтом штаба.

Вдруг на тропинку упали тени. Это были леспромхозовские парни. Но Фидель сразу поднял автомат и крикнул:

— В лесу стреляю без предупреждения!..

Парни исчезли в темноте между деревьями.

Я шел впереди, ориентируясь на спортивную раму для канатов. Она темнела перед зданием штаба, как виселица.

Фидель шел следом.

Тропинка была узкой, не шире лыжни. Я то и дело спотыкался.

Когда мы огибали последние дома, я заметил свет в библиотеке. Желтоватый ровный свет в окне. Я подумал о женщине в зырянских чунях. Почти увидел ее за бастиянами книжных шкафов. В узком и тесном пространстве с рефлектором...

И вот я КАК БЫ захожу туда, оставляя на деревянной лестнице мокрые следы. Пересекаю коридор, распахиваю дверь. Женщина встает, ее серьги покачиваются. Тишина настолько полная, что явственно слышится их мелодичный звон. Женщина снимает очки, тотчас коснувшись переносицы. Я слышу: «Что вас интересует?»

— Пошли, — сказал Фидель, — а то ноги мерзнут.

Я говорю ему:

— Мне надо в библиотеку зайти.

— Ого! Ну ты даешь!

— Я хочу там с одной поговорить.

— Кончай, — говорит Фидель, — и так целые сутки добираемся.

Я остановился. Кругом ни души. В стороне желтеют огни поселка. Рядом темной стеной возвышается лес.

Я говорю:

— Фидель, будь человеком,пусти. Я познакомился с одной, мне надо...

— Это значит — мерзнуть,ждать, пока ты кувыркаешься?!

— Вместе зайдем.

Фидель говорит:

— Не могу.

— Ты мне друг, — кричу, — или гражданин начальник?! Ну что ж, веди! Приказывай!

— Пошли, — сказал Фидель.

— Ясно, — говорю, — слушаюсь!

Однако не двигаюсь с места. Фидель остановился у меня за спиной.

— Мне, — говорю, — надо в библиотеку.

— Иди вперед!

— Мне надо...

— Ну!

Я посмотрел туда, где сияло квадратное окошко, дрожащий розовый маяк. Затем шагнул в сторону, оставляя позади нелепую фигуру конвоира.

Тогда Фидель крикнул:

— Стой!

Я обернулся и говорю:

— Хочешь меня убить?

Он произнес еле слышно:

— Назад!

Тут я обругал его последними словами. Теми, что слышал на лесоповале у костра. И около КПП на разводе. И за карточным столом перед дракой. И в тюрьме после шмона...

— Назад, — повторил Фидель...

Я шел не оборачиваясь. Я стал огромным. Я заслони́л собой горизонт. Я слышал, как в опустевшей морозной тишине щелкнул затвор. Как, скрипнув, уступила боевая пружина. И вот уже наполнился патронник. Я чувствовал под гимнастеркой все девять кругов стандартной армейской мишени...

И тут я ощутил невыносимый приступ злости. Как будто сам я, именно сам, целился в этого человека. И этот человек был единственным виновником моих несчастий. И на этом человеке без ремня лежала ответственность за все превратности моей судьбы. Вот только лица его я не успел разглядеть...

Я остановился, посмотрел на Фиделя. Вздрогнул, увидев его лицо. (В зубах он держал меховую рукавицу.) Затем что-то крикнул и пошел ему навстречу.

Фидель бросил автомат и заплакал. Стаскивая зачем-то полушубок. Обрывая пуговицы на гимнастерке.

Я подошел к нему и встал рядом.

— Ладно, — говорю, — пошли...

21 июня 1982 года. Нью-Йорк

Дорогой Игорь! (Ваше отчество растряслось на ухабах совместного путешествия.) Оно закончено. Тормоза последнего многоточия заскрипят через десять абзацев.

Есть ощущение легкости и пустоты. Ведь я семнадцать лет готовил эту рукопись к печати. The end of something, как выразился бы господин Хемингуэй...

Вы знаете, я человек не религиозный. Более

того, неверующий. И даже не суеверный. Я не боюсь похоронных шествий, черных кошек и разбитых зеркал. Ежеминутно просыпаю соль. И на Лене, которая шлет вам привет, женился тринадцатого (13!) декабря.

Я крайне редко вижу сны. А если вижу, то на удивление примитивные. Например — у меня кончатся деньги в ресторане. Зигмунду Фрейдю тут абсолютно нечего делать.

У меня не случается дурных и тем более — радужных предчувствий. Я не ощущаю затылком пристальных взглядов. (Разве что они сопровождаются подзатыльниками.) Короче говоря, природа явно обделила меня своими трансцендентными дарами. И даже банальному материалистическому гипнозу я, как выяснилось, не подвержен.

Но и меня задело легкое крыло потустороннего. Вся моя биография есть цепь хорошо организованных случайностей. На каждом шагу я различаю **УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ СУДЬБЫ**. Да и как мне не верить судьбе? Уж слишком очевидны трафареты, по которым написана моя злополучная жизнь. Голубоватые тонкие линии проступают на каждой странице моего единственного черновика.

Набоков говорил: «Случайность — логика фортуны». И действительно, что может быть логичнее безумной, красивой, абсолютно неправдоподобной случайности?..

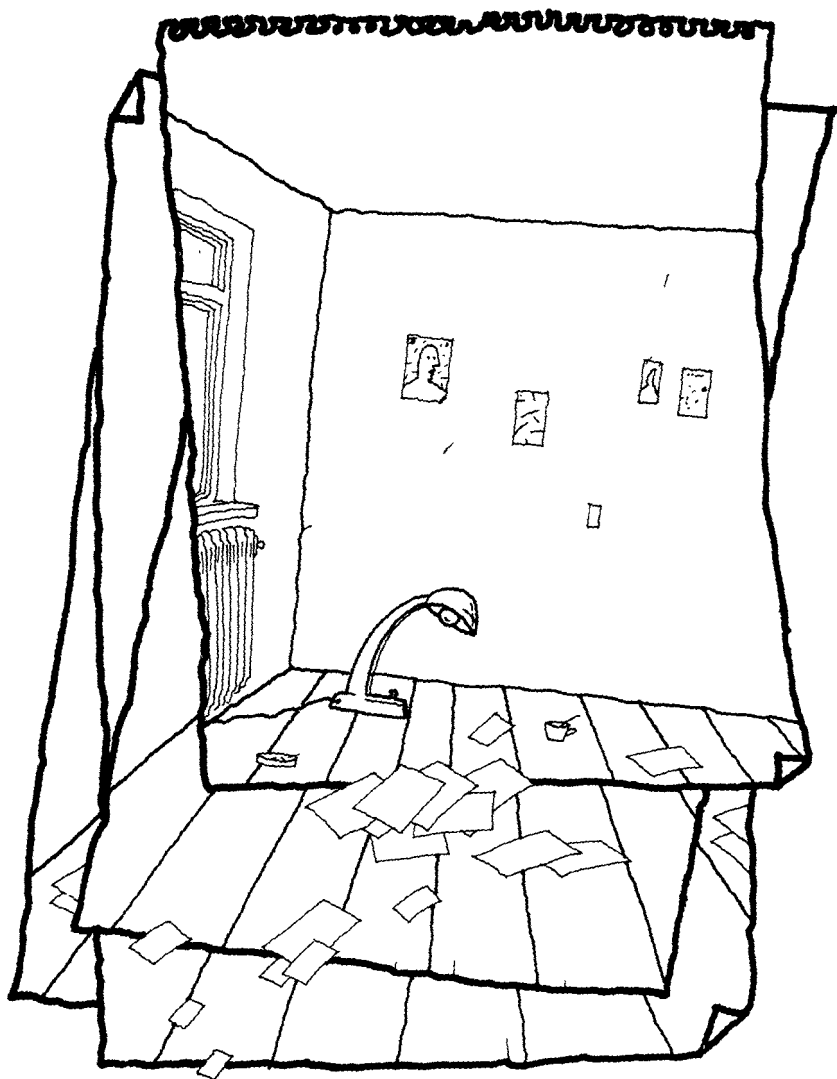
Отец моего знакомого Шлафман рыл на даче яму под смородиновый куст. Где и настиг его приступ стенокардии. Как выяснилось, Шлафман рыл себе могилу. Случайность — логика фортуны... Мало этого, при жизни Шлафман был несокрушимым сталинистом. И — тоже не случайно. А для того, чтобы я мог рассказывать эту историю без особой скорби...

Я был наделен врожденными задатками спортсмена-десятиборца. Чтобы сделать из меня рефлектирующего юношу, потребовались (буквально!) — нечеловеческие усилия. Для этого была выстроена цепь неправдоподобных, а значит — убедительных и логичных случайностей. Одной из них была тюрьма. Видно, кому-то очень хотелось сделать из меня писателя.

Не я выбрал эту женственную, крикливую, мученическую, тяжкую профессию. Она сама меня выбрала. И теперь уже некуда деться.

Вы дочитываете последнюю страницу, я раскрываю новую тетрадь...

КОМПРОМИСС



...И остался я без работы. Может, думаю, на портного выучиться? Я заметил — у портных всегда хорошее настроение...

Встречаю Логинова с телевидения.

— Привет. Ну, как?

— Да вот, ищу работу.

— Есть вакансия. Газета «На страже Родины». Запиши фамилию — Каширин.

— Это лысый такой?

— Каширин — опытный журналист. Человек — довольно мягкий...

— Дерьмо, — говорю, — тоже мягкое.

— Ты что, его знаешь?

— Нет.

— А говоришь... Запиши фамилию.

Я записал.

— Ты бы оделся как следует. Моя жена говорит, если бы ты оделся как следует...

Между прочим, его жена звонит как-то раз... Стоп! Открывается широкая волнующая тема. Уведет нас далеко в сторону...

— Заработаю — оденусь. Куплю себе цилиндр...

Я достал свои газетные вырезки. Отобрал наиболее стоящие. Каширин мне не понравился. Тусклое лицо, армейский юмор. Взглянув на меня, сказал:

— Вы, конечно, беспартийный?

Я виновато кивнул. С каким-то идиотским простодушием он добавил:

— Человек двадцать претендовало на место. Поговорят со мной... и больше не являются. Вы хоть телефон оставьте.

Я назвал случайно осевший в памяти телефон химчистки.

Дома развернул свои газетные вырезки. Кое-что перечитал. Задумался...

Пожелтевшие листы. Десять лет вранья и притворства. И все же какие-то люди стоят за этим, какие-то разговоры, чувства, действительность... Не в самих листах, а там, на горизонте...

Трудна дорога от правды к истине.

В один ручей нельзя ступить дважды. Но можно сквозь толщу воды различить усеянное консервными банками дно. А за пышными театральными декорациями увидеть кирпичную стену, веревки, огнетушитель и хмельных работяг. Это известно всем, кто хоть раз побывал за кулисами...

Начнем с копеечной газетной информации.

КОМПРОМИСС ПЕРВЫЙ

(«Советская Эстония». Ноябрь. 1973 г.)

«НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. Ученые восьми государств прибыли в Таллинн на 7-ю Конференцию по изучению Скандинавии и Финляндии. Это специалисты из СССР, Польши, Венгрии, ГДР, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. На конференции работают шесть секций. Более 130 ученых: историков, археологов, лингвистов — выступают с докладами и сообщениями. Конференция продлится до 16 ноября».

Конференция состоялась в Политехническом институте. Я туда заехал, побеседовал. Через пять минут информация была готова. Отдал ее в секретариат. Появляется редактор Туронок, елейный, марципановый человек. Тип застенчивого негодяя. На этот раз возбужден:

— Вы допустили грубую идеологическую ошибку.

— ?

— Вы перечисляете страны...

— Разве нельзя?

— Можно и нужно. Дело в том, как вы их перечисляете. В какой очередности. Там идут Венгрия, ГДР, Дания, затем — Польша, СССР, ФРГ...

— Естественно, по алфавиту.

— Это же внеклассовый подход, — застонал Туронок, — существует железная очередность. Демократические страны — вперед! Затем — нейтральные государства. И, наконец, — участники блока...

— О'кей, — говорю.

Я переписал информацию, отдал в секретариат. Назавтра вбегает Туронок:

— Вы надо мной издеваетесь! Вы это умышленно продельваете?!

— Что такое?

— Вы перепутали страны народной демократии. У вас

ГДР после Венгрии. Опять по алфавиту?! Забудьте это оппортунистическое слово! Вы работник партийной газеты. Венгрию — на третье место! Там был путч.

— А с Германией была война.

— Не спорьте! Зачем вы спорите?! Это другая Германия, другая! Не понимаю, кто вам доверил?!. Политическая близорукость! Нравственный инфантилизм! Будем ставить вопрос...

За информацию мне уплатили два рубля. Я думал — три заплатят...

КОМПРОМИСС ВТОРОЙ

(«Советская Эстония». Июнь. 1974 г.)

«СОПЕРНИКИ ВЕТРА (Таллиннскому ипподрому — 50 лет). Известные жокеи, кумиры публики — это прежде всего опытные зоотехники, которые настойчиво и терпеливо совершенствуют породу, развивают у своих «воспитанников» ценные наследственные признаки. Кроме того, это спортсмены высокой квалификации, которые раз в неделю отчитываются в своих успехах перед взыскательной таллиннской публикой. За пятьдесят лет спортсмены отвоевали немало призов и дипломов, а в 1969 году мастер-наездник Антон Дукальский на жеребце Тальник выиграл Большой всесоюзный приз. Среди звезд таллиннского ипподрома выделяются опытные мастера — Л. Юргенс, Э. Ильвес, Х. Нымисте. Подает надежды молодой спортсмен А. Иванов.

В ознаменование юбилея на ипподроме состоится 1 августа конный праздник».

Таллиннский ипподром представляет собой довольно жалкое зрелище. Грязноватое поле, косые трибуны. Земля усеяна обрывками использованных билетов. Возбужденная, крикливая толпа циркулирует от бара к перилам.

Ипподром — единственное место, где торгуют в розлив дешевым портвейном.

В кассе имеются билеты двух типов — экспрессы и парки. Заказывая экспресс, вы должны угадать лидеров в той последовательности, в какой они финишируют. Парка — угадываете двух сильнейших финалистов в любой очередности. За парный билет соответственно выплата меньше. И за фаворитов платят мало. На них ставят весь ипподром, все новички. Значительный куш дают плохие лошади, случайно оказавшиеся впереди. Фаворита угадать нетрудно. Труднее предусмотреть неожиданное — вспышку резвости у какого-нибудь шелудивого одра. Классные наездники за большие деньги придерживают фаворитов. Умело отстать — это тоже искусство. Это даже труднее, чем победить. Впереди

оказываются посредственные лошади. Выигрыши достигают иногда ста пятидесяти рублей. Однако хорошие наездники вряд ли захотят иметь с вами дело. У них солидная клиентура. Проще договориться с жокеем третьей категории. Играть на бегах ему запрещено. Он действует через подставных лиц. Берет программу завтрашних скачек и размечает ее для вас. Указывает трех сильнейших лошадей в каждом заезде. А вы, согласно указаниям, покупаете билеты и на его долю тоже.

Я решил написать юбилейную заметку об ипподроме. Побеседовал с директором А. Мельдером. Он вызвал Толю Иванова.

— Вот, — говорит, — молодое дарование.

Мы пошли с Ивановым в буфет. Я сказал:

— У меня есть лишние деньги, рублей восемьдесят. Что вы посоветуете?

— В смысле?

— Я имею в виду бега.

Иванов опасливо на меня взглянул.

— Не бойся, — говорю, — я не провокатор, хоть и журналист.

— Да я не боюсь.

— Так в чем же дело?

В результате он «подписался»:

— Дукель (то есть Дукальский) ставит через приезжих латышей. Это крутой солидняк. Берут заезды целиком, причесывают наглухо. Но это в конце, при значительных ставках. А первые три заезда можно взять.

Я достал программу завтрашних скачек. Толя вынул карандаш...

После третьего заезда мне выплатили шестьдесят рублей. В дальнейшем мы систематически уносили от тридцати до восьмидесяти. Жаль, что бега проводились раз в неделю.

Летом Толя Иванов сломал ногу и обе ключицы. Лошади тут ни при чем. Он выпал пьяный из такси.

С ипподромом было покончено. Уже несколько лет «соперник ветра» работает барменом в Мюнди.

КОМПРОМИСС ТРЕТИЙ

(«Молодежь Эстонии». Август. 1974 г.)

«Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ КАК ДОМА (Гости Таллинна).
У Аллы Мелешко на редкость привлекательное лицо. Это, конечно, не главное в жизни. И все-таки, все-таки... Может быть, именно здесь таится причина неизменного расположения окружающих к этой смешливой, чуть угловатой девчонке...

Алла не принадлежит к числу именитых гастролеров. Не является участником высокого научного симпозиума. Спортивные рекорды — не ее удел...

Аллу привело в наш город... любопытство. Да, да, именно любопытство, беспокойное чувство, заставляющее человека неожиданно покидать городской уют. Я бы назвал его — чувством дороги, соблазном горизонта, извечным нетерпением путника...

«В неустойчивости — движение!» — писал знаменитый теоретик музыки — Черни...

Мы решили задать Алле несколько вопросов:

— Что вы можете сказать о Таллинне?

— Это замечательный город, уютный и строгий. Поражает гармоническим контрастом старины и модерна. В его тишине и спокойствии ощущается гордая мощь...

— Как вы здесь оказались?

— Я много слышала о здешних дизайнерах и живописцах. Кроме того, я люблю море...

— Вы путешествуете одна?

— Мои неизменные спутники — фотоаппарат и томик Александра Блока.

— Где вы успели побывать?

— На Вышгороде и в Кадриорге, где меня окружали ручные белки, доверчивые и трогательные.

— Каковы ваши дальнейшие планы?

— Кончится лето. Начнутся занятия в моей хореографической студии. Снова — упорный труд, напряженная работа... Но пока — я чувствую себя здесь как дома!»

В этой повести нет ангелов и нет злодеев... Нет грешников и праведников нет. Да и в жизни их не существует. Вот уже сколько лет я наблюдаю...

Один редактор говорил мне:

— У тебя все действующие лица — подлецы. Если уж герой — подлец, ты должен логикой рассказа вести его к моральному краху. Или к возмездию. А у тебя подлецы — нечто естественное, как дождь или снег...

— Где же тут подлецы? — спрашивал я. — Кто, например, подлец?

Редактор глядел на меня как на человека, оказавшегося в нехорошей компании и пытающегося выгородить своих дружков...

Я давно уже не разделяю людей на положительных и отрицательных. А литературных героев — тем более. Кроме того, я не уверен, что в жизни за преступлением неизбежно следует раскаяние, а за подвигом — блаженство. Мы есть то, чем себя ощущаем. Наши свойства, достоинства и пороки извлечены на свет божий чутким прикосновением жизни... «Натура — ты моя богиня!» И так далее... Ладно...

В этой повести нет ангелов и нет злодеев, да и быть не может. Один из героев — я сам. Выведен также Миша Шаблинский, с характерными для него выражениями — «спонтанная апперцепция», «имманентный дуализм»... Далее фигурирует Митя Кленский, его тоже легко узнать. Пристрастие к анодированным зажимам для галстука и толстым мундштукам из фальшивого янтаря снискали ему широкую известность.

Что нас сближало? Может быть, как это получше выразиться, легкая неприязнь к официальной стороне газетной работы. Какой-то здоровый цинизм, помогающий избегать громких слов...

В нашей конторе из тридцати двух сотрудников по штату двадцать восемь называли себя: «Золотое перо республики». Мы трое в порядке оригинальности назывались — серебряными. Дима Шер, написавший в одной корреспонденции: «Искусственная почка — будничное явление наших будней», слыл дубовым пером.

В общем, мы дружили. Шаблинский работал в промышленном отделе, его материалы не вызывали дискуссий. В них преобладали цифры, рассчитанные на специфического читателя. Кленский трудился в отделе спорта, вел ежедневную хронику. Его точные деловые сообщения были лишены эмоций. Я писал фельетоны. Мне еще в апреле сказал редактор: «Будешь писать фельетоны — дадим квартиру».

Трудное это дело. Каждый факт надо тщательно проверять. Объекты критики изворачиваются, выгораживая себя. Город маленький, люди на виду. Короче, дважды меня

пытались бить. Один раз — грузчики товарной станции (им это удалось). Затем — фарцовщик Чигирь, который ударил меня шляпой «борсолино» и тут же получил нокаут.

На мои выступления приходили бесчисленные отклики. Иногда в угрожающей форме. Меня это даже радовало. Ненависть означает, что газета еще способна возбуждать страсти.

Каждый из нас занимался своим делом. Все трое неплохо зарабатывали. Шаблинский привозил из командировок вяленую рыбу, утиные яйца и даже живых поросят. Кленский писал монографии за одного ветерана спорта, которого называл — «добрый плантатор». Короче, работали мы добросовестно и честно...

Что же дальше? Ничего особенного. К Мите Кленскому приехала гостья из Двинска. Я даже не знаю, что она имела в виду. Есть такие молодые женщины, не то чтобы порочные, развратные, нет, а, как бы это лучше выразиться, — беспечные. Их жизнь — сплошное действие. За нагромождением поступков едва угадывается душа. С чудовищными усилиями, ценою всяких жертв обзаводятся, например, девушки импортными сапогами. Трудно представить, как много времени и сил это отнимает. А потом — демонстрация импортных сапог. Бесчисленные компании, танцы или просто — от универсама до ратуши, мимо сияющих витрин. Иногда сапоги темнеют около вашей кровати: массивные подошвы, надломленные голенища. И не какой-то жуткий разврат. Просто девушки не замужем. Выпили, автобусы не ходят, такси не поймать. И хозяин такой симпатичный. В доме три иконы, автограф Магомаева, эстампы, Коул Портер... По вечерам девушки танцуют, а днем работают. И неплохо работают. А в гости ходят к интересным людям. К журналистам, например...

Митя заглянул к нам в отдел. С ним была девушка.

— Посиди тут, — сказал он ей, — мой зав не в духе. Серж, ничего, она здесь посидит?

Я сказал:

— Ничего.

Девушка села у окна, вынула пудреницу. Митя ушел. Я продолжал трудиться без особого рвения. Фельетон, который я писал, назывался «ВМК без ретуши». Что такое «ВМК» — начисто забыл...

— Как вас зовут?

— Алла Мелешко. А правда, что все журналисты мечтают написать роман?

— Нет, — солгал я.

Девушка подкрасила губы и начала вертеться. Я спросил:

— Где вы учитесь?

Тут она начала врать. Какая-то драматическая студия, какая-то пантомима, югославский режиссер вызывает ее на съемки. Зовут режиссера Йошко Гати. Но какой-то «Интерсин» валюту не переводит...

Как благородно эволюционировало вранье за последние двести лет! Раньше врали, что есть жених, миллионер и коннозаводчик. Теперь врут про югославского режиссера. Когда-то человек гордился своими рысаками, а теперь... вельветовыми шлепанцами из Польши. Хлестаков был с Пушкиным на дружеской ноге, а мой знакомый Геныч вернулся из Москвы подавленный и тихий — Олжаса Сулейменова увидел в ЦУМе. Даже интеллигентные люди врут, что у них приличная зарплата. Я сам всегда рублей двадцать прибавляю, хотя действительно неплохо зарабатываю... Ладно...

Стала она врать. Я в таких случаях молчу — пусть. Бескорыстное вранье — это не ложь, это поэзия. Я даже почему-то уверен, что ее вовсе не Аллой звали...

Потом явился Кленский.

— Ну все, — говорит, — триста строк у ответсека в папке. Можно и расслабиться.

Я мигом закруглил свой фельетон. Написал что-то такое: «...Почему молчали цеховые активисты? Куда глядел товарищеский суд? Ведь давно известно, что алчность, умноженная на безнаказанность, кончается преступлением!..»

— Ну, пошли, — говорит Кленский, — сколько можно ждать?!

Я сдал фельетон, и мы позвонили Шаблинскому. Он искренне реагировал на призыв:

— У Розки сессия. Денег — восемь рублей. Завтра у меня творческая среда. Как говорится, одно к одному...

Мы собрались на лестничной площадке возле лифта. Подошел Жбанков со вспышкой, молча сфотографировал Аллу и удалился.

— Какие планы? — спросил я.

— Позвоним Верке.

Вера Хлопина работала в машинописном бюро, хотя легко могла стать корректором и даже выпускающим. Нервная, грамотная и толковая, она вредила себе истерической, дерзкой прямоотой. У нее охотно собиралось газетное руководство. Холостяцкая обстановка, две комнаты, Верины подружки, музыка... Выпив буквально две рюмки, Хлопина становилась опасной. Если ей что-то не нравилось, она не подбирала выражений. Помню, она кричала заместителю редактора молодежной газеты Вейсблату:

— Нет, вы только послушайте! Он же темный, как Армстронг! Его в гараж механиком не примут!

И женщинам от нее доставалось. За все — за умение сублимировать грешки, за импортные наряды, за богатых и вялых мужей.

Нам троим Вера симпатизировала. И правильно. Мы не были карьеристами, не покупали автомашин, не важничали. И мы любили Веру. Хотя отношения с ней у всех троих были чисто приятельские. Вечно раскрасневшаяся, полная, чуточку нелепая, она была предельно целомудренна.

Хлопина не то чтобы любила выпить. Просто ей нравилось организовывать дружеские встречи, суетиться, бегать за рислингом, готовить закуску. Нам она говорила:

— Сейчас позвоню Людке из галантерейного отдела. Это фантастика! Осиная талия! Глазищи зеленые, вот такие!..

Людке кричала по телефону:

— Все бросай, лови мотор и к нам! Жду! Что? Писатели, журналисты, водки навалом, торт...

В результате приезжала Людка, высокая, стройная, действительно — глазищи... с мужем, капитаном УВД...

Все это делалось абсолютно бескорыстно. Просто Вера была одинока.

И вот мы к ней поехали. Купили джина с тоником и все, что полагается. Должен сказать, я эти вечеринки изучил. Знаю наперед, что будет дальше. Да и проходят они всегда одинаково. Раз и навсегда заведенный порядок. Своего рода концерт, где все номера значатся в программе. Шаблинский поведает о какой-нибудь фантастической горкомовской охоте. Там будут вальдшнепы орлиных размеров, лесная избушка с финской баней, ереванский коньяк... Затем я перебею его своей излюбленной шуткой:

— А среди деревьев бегают инструкторы райкома в медвежьих шкурах...

— Завидуешь, — беззлобно ухмыльнется Шаблинский, — я же говорил — поедем...

Затем Кленский сообщит что-нибудь об ипподроме. И будут мелькать удивительные лошадиные клички: Ганибал, Веселая Песенка, Рок-н-ролл. «Дукель его причесывает на вираже, у фаворита четыре сбоя, у меня в кармане шесть экспрессов, и в результате — столб-галоп!..»

Затем хозяйка опьянеет и выскажет то, что думает о каждом из нас. Но мы привыкли и не обижаемся. Кленскому достанется за его безвкусный галстук. Мне — за лояльность по отношению к руководству. Шаблинскому за снобизм. Выяснится, что она требовательно и пристрастно изучает все наши корреспонденции. Потом начнутся вечные журналистские разговоры, кто бездарный, кто талантливый, и довоенные пластинки, и слезы, и чудом купленная водка, и «ты

меня уважаешь?» в финале. Кстати, неплохая рубрика для сатирического отдела...

В общем, так и получилось. Жарили какие-то сосиски на палочках. Вера опьянела, целовала портрет Добролюбова: «Какие были люди!..» Шаблинский рассказал какую-то пошлость о Добролюбове, я вяло опроверг. Алла врала что-то трогательное в своей неубедительности, якобы Одри Хепберн прислала ей красящий шампунь...

Потом она уединилась с Митей на кухне. А Кленский обладал поразительным методом воздействия на женщин. Метод заключался в том, что он подолгу с ними разговаривал. Причем не о себе, о них. И что бы он им ни говорил: «Вы склонны доверять людям, но в известных пределах...» — метод действовал безотказно и на учащихся ПТУ, и на циничных корреспонденток телевидения.

Мы с Шаблинским быстро наскучили друг другу. Он, не прощаясь, ушел. Вера спала. Я позвонил Марине и тоже уехал.

Алле я сказал только одну фразу: «Хотите, незаметно исчезнем?» Я всем говорю эту фразу. (Женщинам, разумеется.) Или почти всем. На всякий случай. Фраза недвусмысленная и безобидная при этом.

— Неудобно, — сказала Алла, — я же к Мите приехала...

Утром было много дел в редакции. Я готовил полосу о «народном контроле» и лечился минеральной водой. Шаблинский расшифровывал свои магнитофонные записи после конференции наставников. Появился Кленский, угрюмый, осунувшийся. Высказался загадочно и абстрактно: «Это такая же фикция, как и вся наша жизнь». В обед зазвонил телефон:

— Это Алла. Митю не видели?

— А, — говорю, — здравствуйте. Ну как?

— Гемоглобин — 200.

— Не понял.

— Что за странные вопросы: «Ну как?»... Паршиво, как же еще...

Пошел искать Кленского, но мне сказали, что он уехал в командировку. В поселке Кунгла мать-героиня родила одиннадцатое чадо. Я передал все это Алле. Алла говорит:

— Вот словоч, и не предупредил...

Наступило молчание. Это мне не понравилось. Я-то при чем? И полосу надо сдавать. Заголовки какие-то жуткие: «Баллада о пропавшем арифмометре»... А Митька действительно хорош, уехал и барышню не предупредил. Мне стало как-то неловко.

— Хотите, — говорю, — позавтракаем вместе?

— Да вообще позавтракать бы надо. Состояние какое-то непонятное.

Я назначил ей свидание. Затем разбросал по столу бумаги. Создал видимость труда...

Был прохладный и сумрачный майский день. Над витринами кафе хлопали полотняные тенты. Алла пришла в громадном коленкоровом сомбреро. Она им явно гордилась. Я с тоской огляделся. Не хватало еще, чтобы меня видели с этим сомбреро Маринины подруги. Поля его задевали водосточные трубы. В кафе выяснилось, что оно ловко складывается. Мы съели какие-то биточки, выпили чаю с пирожными. Она держалась так, словно у нее могли быть претензии ко мне. Я спросил:

— У вас, наверное, каникулы?

— Да, — говорит, — «римские каникулы».

— Действительно, принцесса среди журналистов. Как вас мама отпустила?

— А чего?

— Незнакомый город, соблазны...

— Встречаются две мамы: «Как же ты дочку-то отпустила?» — «А чего беспокоиться? Она с девяти лет под надзором милиции...»

Я вежливо засмеялся. Подозвал официанта. Мы расплатились, вышли. Я говорю:

— Ну-с, был счастлив лицезреть вас, мадам.

— Чао, Джонни! — сказала Алла.

— Тогда уж не Джонни, а Джованни.

— Гуд бай, Джованни!

И она ушла в громадной коленкоровой шляпе, тоненькая, этакая сыроежка. А я поспешил в редакцию. Оказывается, меня уже разыскивал секретарь. К шести часам полса была готова.

Вечером я сидел в театре. Давали «Колокол» по Хемингуэю. Спектакль ужасный, помесь «Великолепной семерки» с «Молодой гвардией». Во втором акте, например, Роберт Джордан побрился кинжалом. Кстати, на нем были польские джинсы. В точности как у меня.

В конце спектакля началась такая жуткая пальба, что я ушел, не дожидаясь оваций. Город у нас добродушный, все спектакли кончаются бурными аплодисментами...

Рано утром я пришел в контору. Мне была заказана положительная рецензия. Мертвея от табака и кофе, начал писать:

«Произведения Хемингуэя не сценичны. Единственная драма этого автора не имела театральной биографии, оставаясь «повестью в диалогах». Она хорошо читается, подчеркивал автор. Бесчисленные попытки Голливуда экранизировать...»

Тут позвонила Вера. Я говорю:

— Ей-богу, занят! В чем дело?

— Поднимись на минутку.

— Что такое?

— Да поднимись ты на минутку!

— А, черт...

Вера ждала меня на площадке. Раскрасневшаяся, нервная, печальная.

— Ты понимаешь, ей деньги нужны.

Я не понял. Вернее — понял, но сказал:

— Не понимаю.

— Алке деньги нужны. Ей улететь не на что.

— Вера, ты меня знаешь, но до четырнадцатого это исключено. А сколько надо?

— Хотя бы тридцать.

— Совершенно исключено. Гонораров у меня в апреле никаких... В кассу семьдесят пять... За телевизор до сих пор не расплатился... А потом, я не совсем... Минуточку, а Кленский? Ведь это же его кадр...

— Куда-то уехал.

— Он скоро вернется.

— Ты понимаешь, будет катастрофа. Звонил ее жених из Саратова...

— Из Двинска, — сказал я.

— Из Саратова, это не важно... Сказал, что повесится, если она не вернется. Алка с февраля путешествует.

— Так и приехал бы за ней.

— У него экзамен в понедельник.

— Замечательно, — говорю, — повеситься он может, а экзамен игнорировать не может...

— Он плакал, натурально плакал...

— Да нет у меня тридцати рублей! И потом как-то странно, ей-богу... А главное — нету!

Самое интересное, что я говорил правду.

— А если у кого-нибудь занять? — говорит Вера.

— Почему, собственно, надо занимать? Это девушка Кленского. Пусть он и беспокоится.

— Может, у Шаблинского спросить?

Пошли к Шаблинскому. Тот даже возмутился:

— У меня было восемь рублей, я их по-джентльменски отстегнул. Сам хочу у кого-нибудь двинуть. Дождитесь Митьку, и пусть он башляет это дело. Слушайте, я хохму придумал: «Все люди делятся на большевиков и башлеви-ков...»

— Ладно, — сказала Вера, — что-нибудь придумаю.

И пошла к дверям.

— Слушай, — говорю, — если не придумаешь, звони...

— Ладно.

— Можно вот что сделать. Можно взять у нее интервью.

— Это еще зачем?

— Под рубрикой — «Гости Таллинна». Студентка изучает готическую архитектуру. Не расстается с томиком Блока. Кормит белок в парке... Заплатят ей рублей двадцать, а может, и четвертак...

— Серж, постарайся!

— Ладно...

Тут меня вызвали к редактору. Генрих Францевич сидел в просторном кабинете у окна. Радиола и телевизор бездействовали. Усложненный телефон с белыми клавишами молчал.

— Садитесь, — произнес редактор, — есть ответственное задание. В нашей газете слабо представлена моральная тема. Выбор самый широкий. Злостные алиментщики, протекционизм, государственное хищение... Я на вас рассчитываю. Пойдите в народный суд, в ГАИ...

— Что-нибудь придумаю.

— Действуйте, — сказал редактор, — моральная тема — это очень важно...

— О'кей, — говорю.

— И помните: открытый редакционный конкурс — продолжается. Лучшие материалы будут удостоены денежных премий. А победитель отправится в ГДР...

— Добровольно? — спросил я.

— То есть?

— Меня даже в Болгарию не пустили. Я документы вешной подавал.

— Пить надо меньше, — сказал Туронок.

— Ладно, — говорю, — мне и здесь неплохо...

В тот день было еще много забот, конфликтов, споров, нерешенных проблем. Я побывал на двух совещаниях. Ответил на четыре письма. Раз двадцать говорил по телефону. Пил коктейли, обнимал Марину...

Все шло нормально.

А день вчерашний — куда он подевался? И если забыть, то что же вынудило меня шесть лет спустя написать: «В этой повести нет ангелов и нет злодеев... Нет грешников и праведников нет...»?

И вообще, что мы за люди такие?

КОМПРОМИСС ЧЕТВЕРТЫЙ

(«Вечерний Таллинн». Октябрь. 1974 г.)

«ЭСТОНСКИЙ БУКВАРЬ»

*У опушки в день ненастный
Повстречали зверя.
Мы ему сказали: «Здравствуй!»
Зверь ответил: «Тере!»
И сейчас же ясный луч
Появился из-за туч...»*

«Вечерний Таллинн» издается на русском языке. И вот мы придумали новую рубрику — «Эстонский букварь». Для малолетних русских читателей. Я готовил первый выпуск. Написал довольно милые стишки. Штук восемь. Универсальный журналист, я ими тайно гордился.

Звонит инструктор ЦК Ваня Труль:

— Кто написал эту шовинистическую басню?

— Почему — шовинистическую?

— Значит, ты написал?

— Я. А в чем дело?

— Там фигурирует зверь.

— Ну.

— Это что же получается? Выходит, эстонец — зверь? Я — зверь? Я, инструктор Центрального Комитета партии, — зверь?!

— Это же сказка, условность. Там есть иллюстрация. Ребятишки повстречали медведя. У медведя доброе, симпатичное лицо. Он положительный...

— Зачем он говорит по-эстонски? Пусть говорит на языке одной из капиталистических стран...

— Не понял.

— Да что тебе объяснять! Не созрел ты для партийной газеты, не созрел...

Час спустя заглянул редактор:

— Жюри штрафует вас на два очка.

— Какое еще жюри?

— Вы забыли, что продолжается конкурс. Авторы хороших материалов будут премированы. Лучший из лучших удостоится поездки на Запад, в ГДР.

— Логично. А худший из худших — на Восток?

— Что вы хотите этим сказать?

— Ничего. Я пошутил. Разве ГДР — это Запад?

— А что же это, по-вашему?

— Вот Япония — это Запад!

— Что?! — испуганно вскричал Туронок.

— В идейном смысле, — добавил я.

Тень безграничной усталости омрачила лицо редактора.

— Довлатов, — произнес он, — с вами невозможно разговаривать! Запомните, мое терпение имеет пределы...

КОМПРОМИСС ПЯТЫЙ

(«Советская Эстония». Ноябрь. 1975 г.)

«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ. Ежегодный праздник — День освобождения — широко отмечается в республике. Фабрики и заводы, колхозы и машинно-тракторные станции рапортуют государству о достигнутых высоких показателях.

И еще один необычный рубеж преодолен в эти дни. Население эстонской столицы достигло 400 000 человек. В таллиннской больнице № 4 у Майи и Григория Кузиных родился долгожданный первенец. Ему-то и суждено было оказаться 400 000-м жителем города.

— Спортсменом будет, — улыбается главный врач Михкель Теппе.

Счастливым отец неловко прячет грубые мозолистые руки.

— Назовем сына Лембитом, — говорит он, — пусть растет богатырем!..

К счастливым родителям обращается известный таллиннский поэт — Борис Штейн:

На фабриках, в жерлах забоев,
На дальних планетах иных —
Четыреста тысяч героев,
И первенец твой среди них...

Хочется вспомнить слова Гете:

«Рождается человек — рождается целый мир!»*

Не знаю, кем ты станешь, Лембит?! Токарем или шахтером, офицером или ученым. Ясно одно — родился Человек! Человек, обреченный на счастье!..»

Таллинн — город маленький, интимный. Встречаешь на улице знакомого и слышишь: «Привет, а я тебя ищу...» Как будто дело происходит в учрежденческой столовой...

* Фантазия автора. Гете этого не писал.

Короче, я поразился, узнав, сколько в Таллинне жителей.

Было так. Редактор Туронок вызвал меня и говорит:

— Есть конструктивная идея. Может получится эффектный репортаж. Обсудим детали. Только не грубите...

— Чего грубить?.. Это бесполезно...

— Вы, собственно, уже нагрубили, — помрачнел Туронок, — вы непрерывно грубите, Довлатов. Вы грубите даже на общих собраниях. Вы не грубите только, когда подолгу отсутствуете... Думаете, я такой уж серый? Одни газеты читаю? Зайдите как-нибудь. Посмотрите, какая у меня библиотека. Есть, между прочим, дореволюционные издания...

— Зачем, — спрашиваю, — вызывали?

Туронок помолчал. Резко выпрямился, как бы меняя лирическую позицию на деловую. Заговорил уверенно и внятно:

— Через неделю — годовщина освобождения Таллинна. Эта дата будет широко отмечаться. На страницах газеты в том числе. Предусмотрены различные аспекты — хозяйственный, культурный, бытовой... Материалы готовят все отделы редакции. Есть задание и для вас. А именно. По данным статистического бюро, в городе около четырехсот тысяч жителей. Цифра эта до некоторой степени условна. Несколько условна и сама черта города. Так вот. Мы посоветовались и решили. Четырехсоттысячный житель Таллинна должен родиться в канун юбилея.

— Что-то я не совсем понимаю.

— Идете в родильный дом. Дожидаетесь первого новорожденного. Записываете параметры. Опрашиваете счастливых родителей. Врача, который принимал роды. Естественно, делаете снимки. Репортаж идет в юбилейный номер. Гонорар (вам, я знаю, это не безразлично) двойной.

— С этого бы и начинали.

— Меркантилизм — одна из ваших неприятных черт, — сказал Туронок.

— Долги, — говорю, — алименты...

— Пьете много.

— И это бывает.

— Короче. Общий смысл таков. Родился счастливый человек. Я бы даже так выразился — человек, обреченный на счастье!

Эта глупая фраза так понравилась редактору, что он выкрикнул ее дважды.

— Человек, обреченный на счастье! По-моему, неплохо. Может, попробовать в качестве заголовка? «Человек, обреченный на счастье»...

— Там видно будет, — говорю.

— И запомните, — Туронок встал, кончая разговор, — младенец должен быть публикабельным.

— То есть?

— То есть полноценным. Ничего ущербного, мрачного. Никаких кесаревых сечений. Никаких матерей-одиночек. Полный комплект родителей. Здоровый, социально полноценный мальчик.

— Обязательно — мальчик?

— Да, мальчик как-то символичнее.

— Генрих Францевич, что касается снимков... Учтите, новорожденные бывают так себе...

— Выберите лучшего. Подождите, время есть.

— Месяца четыре ждать придется. Раньше он вряд ли на человека будет похож. А кому и пятидесяти лет мало...

— Слушайте, — рассердился Туронок, — не занимайтесь демагогией! Вам дано задание. Материал должен быть готов к среде. Вы профессиональный журналист... Зачем мы теряем время?..

И правда, думаю, зачем?..

Спустился в бар, заказал джина. Вижу, сидит не очень трезвый фотокорреспондент Жбанков. Я помахал ему рукой. Он пересел ко мне с фужером водки. Отломил половину моего бутерброда.

— Шел бы ты домой, — говорю, — в конторе полно начальства...

Жбанков опрокинул фужер и сказал:

— Я, понимаешь, натурально осрамился. Видел мой снимок к Фединому очерку?..

— Я газет не читаю.

— У Феде был очерк в «Молодежке». Вернее, зарисовка. «Трое против шторма». Про водолазов. Как они ищут, понимаешь, затонувший ценный груз. К тому же шторм надвигается. Ну, и мой снимок. Два мужика сидят на бревне. И шланг из воды торчит. То есть ихний подельник на дне шурует. Я, натурально, отснял, пристегнул шестерик и забыл это дело. Иду как-то в порт, люди смеются. В чем дело, понимаешь? И выясняется такая история. Есть там начальник вспомогательного цеха — Мироненко. Как-то раз вышел из столовой, закурил у третьего причала. То, се. Бросил сигарету. Харкнул, извини за выражение. И начисто выплюнул челюсть. Вставную, естественно. А там у него золота колов на восемьсот с довеском. Он бежит к водолазам: «Мужики, выручайте!» Те с ходу врубились: «После работы найдем». — «В долгу не останусь». — «С тебя по бутылке на рыло». — «Об чем разговор»... Кончили работу, стали шуровать. А тут Федька идет с задания. Видит, такое дело. Чем, мол, занимаетесь? Строку, понима-

ешь, гонит. А мужикам вроде бы неловко. Хуё моё, отвечают, затонул ценный груз. А Федя без понятия: «Тебя как зовут? Тебя как зовут?»... Мужики отвечают как положено. «Чем увлекаетесь в редкие минуты досуга?»... Музыкой, отвечают, живописью... «А почему так поздно на работе?»... Шторм, говорят, надвигается, спешим... Федя звонит мне в редакцию. Я приехал, отснял, не вникая... Главное, бассейн-то внутренний, искусственный. Там и шторма быть не может...

— Шел бы ты домой, — говорю.

— Подожди, главное даже не это. Мне рассказывали, чем дело кончилось. Водолазы челюсть тогда нашли. Мироненко счастлив до упора. Тащит их в кабак. Заказывает водки. Кирнули. Мироненко начал всем свою челюсть демонстрировать. Спасибо, говорит, ребята выручили, нашли. Орлы, говорит, передовики, стахановцы... За одним столиком челюсть разглядывают, за другим... Швейцар подошел взглянуть... Тромбонист из ансамбля... Официантки головами качают... А Мироненко шестую бутылку давит с водолазами. Хватился, нету челюсти, увели. Кричит: «Верните, гады!» Разве найдешь... Тут и водолазы не могут...

— Ладно, — говорю, — мне пора...

В родильный дом ехать не хотелось. Больничная атмосфера на меня удручающе действует. Одни фикусы чего стоят...

Захожу в отдел к Марине. Слышу:

— А, это ты... Прости, работы много.

— Что-нибудь случилось?

— Что могло случиться? Дела...

— Что еще за дела?

— Юбилей и все такое. Мы же люди серые, романов не пишем...

— Чего ты злишься?

— А чего мне радоваться? Ты куда-то исчезаешь. То безумная любовь, то неделю шляешься...

— Что значит — шляешься?! Я был в командировке на Сааремаа. Меня в гостинице клопы покусали...

— Это не клопы, — подозрительно сощурилась Марина, — это бабы. Отвратительные, грязные шлюхи. И чего они к тебе лезут? Вечно без денег, вечно с похмелья... Удивляюсь, как ты до сих пор не заразился...

— Чем можно заразиться у клопа?

— Ты хоть не врал бы! Кто эта рыжая, вертлявая дылда? Я тебя утром из автобуса видела...

— Это не рыжая, вертлявая дылда. Это — поэт-метафизик Владимир Эрль. У него такая прическа...

Вдруг я понял, что она сейчас заплачет. А плакала Ма-

рина отчаянно, горько, вскрикивая и не щадя себя. Как актриса после спектакля...

— Прошу тебя, успокойся. Все будет хорошо. Все знают, что я к тебе привязан...

Марина достала крошечный розовый платочек, вытерла глаза. Заговорила спокойнее:

— Ты можешь быть серьезным?

— Конечно.

— Не уверена. Ты совершенно безответственный... Как жаворонок... У тебя нет адреса, нет имущества, нет цели... Нет глубоких привязанностей. Я — лишь случайная точка в пространстве. А мне уже под сорок. И я должна как-то устраивать свою жизнь.

— Мне тоже под сорок. Вернее — за тридцать. И я не понимаю, что значит — устраивать свою жизнь... Ты хочешь выйти замуж? Но что изменится? Что даст этот идиотский штамп? Это лошадиное тавро... Пока мне хорошо, я здесь. А надоест — уйду. И так будет всегда...

— Не собираюсь я замуж. Да и какой ты жених! Просто я хочу иметь ребенка. Иначе будет поздно...

— Ну и рожай. Только помни, что его ожидает.

— Ты вечно сгущаешь краски. Миллионы людей честно живут и работают. И потом, как я рожу одна?

— Почему одна? Я буду... содействовать. А что касается материальной стороны дела, ты зарабатываешь втрое больше. То есть от меня практически не зависишь...

— Я говорила о другом...

Зазвонил телефон. Марина сняла трубку.

— Да? Ну и прекрасно... Он как раз у меня...

Я замахал руками. Марина понимающе кивнула.

— Я говорю, только что был здесь... Вот уж не знаю. Видно, пьет где-нибудь.

Ну, думаю, стерва.

— Тебя Цехановский разыскивает. Хочет долг вернуть.

— Что это с ним?

— Деньги получил за книгу.

— «Караван уходит в небо»?

— Почему — караван? Книга называется «Продолжение следует».

— Это одно и то же. Ладно, — говорю, — мне пора.

— Куда ты собрался? Если не секрет...

— Представь себе, в родильный дом...

Я оглядел заваленные газетами столы. Ощутил запах табачного дыма и клея. Испытал такую острую скуку и горечь, что даже атмосфера больницы уже не пугала меня.

За дверью я осознал, что секунду назад Марина выкрикнула:

«Ну и убирайся, жалкий пьяница!»

Сел в автобус, поехал на улицу Карла Маркса. В автобусе неожиданно задремал. Через минуту проснулся с головной болью. Пересекая холл родильного дома, мельком увидел себя в зеркале и отвернулся...

Навстречу шла женщина в белом халате.

— Посторонним сюда нельзя.

— А потусторонним, — спрашиваю, — можно?

Медсестра замерла в недоумении. Я сунул ей редакционную книжку. Поднялся на второй этаж. На лестничной площадке курили женщины в бесформенных халатах.

— Как разыскать главного врача?

— Выше, напротив лифта.

Напротив лифта — значит, скромный человек. Напротив лифта — шумно, двери хлопают...

Захожу. Эстонцев лет шестидесяти делает перед раскрытой форточкой гимнастику.

Эстонцев я отличаю сразу же и безошибочно. Ничего крикливого, размашистого в облике. Неизменный галстук и складка на брюках. Бедноватая линия подбородка и спокойное выражение глаз. Да и какой русский будет тебе делать гимнастику в одиночестве...

Протягиваю удостоверение.

— Доктор Михкель Теппе. Садитесь. Чем могу быть полезен?

Я изложил суть дела. Доктор не удивился. Вообще, что бы ни затеяла пресса, рядового читателя удивить трудно. Ко всему привыкли...

— Думаю, это несложно, — произнес Теппе, — клиника огромная.

— Вам сообщают о каждом новорожденном?

— Я могу распорядиться.

Он снял трубку. Что-то сказал по-эстонски. Затем обратился ко мне:

— Интересуетесь, как проходят роды?

— Боже упаси! Мне бы записать данные, взглянуть на ребенка и поговорить с отцом.

Доктор снова позвонил. Еще раз что-то сказал по-эстонски.

— Тут одна рожает. Я позвоню через несколько минут. Надеюсь, все будет хорошо. Здоровая мать... Такая полная блондинка, — отвлекся доктор.

— Вы-то, — говорю, — сами женаты?

— Конечно.

— И дети есть?

— Сын.

— Не задумывались, что его ожидает?

— А что мне думать? Я прекрасно знаю, что его ожи-

дает. Его ожидает лагерь строгого режима. Я беседовал с адвокатом. Уже и подписку взяли...

Теппе говорил спокойно и просто. Как будто речь шла о заурядном положительном явлении.

Я понизил голос, спросил доверительно и конспиративно:

— Дело Солдатова?

— Что? — не понял доктор.

— Ваш сын — деятель эстонского возрождения?

— Мой сын, — отчеканил Теппе, — фарцовщик и пьяница. И я могу быть за него относительно спокоен, лишь когда его держат в тюрьме...

Мы помолчали.

— Когда-то я работал фельдшером на островах. Затем сражался в эстонском корпусе. Добился высокого положения. Не знаю, как это вышло. Я и мать — положительные люди, а сын — отрицательный...

— Неплохо бы и его выслушать.

— Слушать его невозможно. Говорю ему: «Юра, за что ты меня презираешь? Я всего добился упорным трудом. У меня была нелегкая жизнь. Сейчас я занимаю высокое положение. Как ты думаешь, почему меня, скромного фельдшера, назначили главным врачом?..» А он и отвечает: «Потому что всех твоих умных коллег расстреляли...» Как будто это я их расстрелял...

Зазвонил телефон.

— У аппарата, — выговорил Теппе, — отлично.

Затем перешел на эстонский. Речь шла о сантиметрах и килограммах.

— Ну, вот, — сказал он, — родила из девятой палаты. Четыре двести и пятьдесят восемь сантиметров. Хотите взглянуть?

— Это не обязательно. Дети все на одно лицо...

— Фамилия матери — Окас. Хилья Окас. Тысяча девятьсот сорок шестой год рождения. Нормировщица с «Пунанэ рэт». Отец — Магабча...

— Что значит — Магабча?

— Фамилия такая. Он из Эфиопии. В мореходной школе учится.

— Черный?

— Я бы сказал — шоколадный.

— Слушайте, — говорю, — это любопытно. Вырисовывается интернационализм. Дружба народов... Они зарегистрированы?

— Разумеется. Он ей каждый день записки пишет. И подписывается: «Твой соевый батончик».

— Разрешите мне позвонить?

— Сделайте одолжение.

Звоню в редакцию. Подходит Туронок.

— Слушаю вас... Туронок.

— Генрих Францевич, только что родился мальчик.

— В чем дело? Кто говорит?

— Это Довлатов. Из родильного дома. Вы мне задание дали...

— А, помню, помню.

— Так вот, родился мальчик. Большой, здоровый...
Пятьдесят восемь сантиметров. Вес — четыре двести...
Отец — эфиоп.

Возникла тягостная пауза.

— Не понял, — сказал Туронок.

— Эфиоп, — говорю, — родом из Эфиопии... Учится
здесь... Марксист, — зачем-то добавил я.

— Вы пьяны? — резко спросил Туронок.

— Откуда?! Я же на задании.

— На задании... Когда вас это останавливало?! Кто в
декабре облевал районный партактив?..

— Генрих Францевич, мне неловко подолгу занимать
телефон... Только что родился мальчик. Его отец — друже-
ственный нам эфиоп.

— Вы хотите сказать — черный?

— Шоколадный.

— То есть — негр?

— Естественно.

— Что же тут естественного?

— По-вашему, эфиоп не человек?

— Довлатов, — исполненным муки голосом произнес
Туронок, — Довлатов, я вас уволю... За попытки дискреди-
тировать все самое лучшее... Оставьте в покое своего засран-
ного эфиопа! Дождитесь нормального — вы слышите ме-
ня? — нормального человеческого ребенка!..

— Ладно, — говорю, — я ведь только спросил...

Раздались частые гудки. Теппе сочувственно поглядел
на меня.

— Не подходит, — говорю.

— У меня сразу же возникли сомнения, но я промол-
чал.

— А, ладно...

— Хотите кофе?

Он достал из шкафа коричневую банку. Снова раздал-
ся звонок. Теппе долго говорил по-эстонски. Видно, речь
шла о деле, меня не касающемся. Я дождался конца раз-
говора и неожиданно спросил:

— Можно поспать у вас за ширмой?

— Конечно, — не удивился Теппе. — Хотите моим
плащом воспользоваться?

— И так сойдет.

Я снял ботинки и улегся. Нужно было сосредоточиться. Иначе контуры действительности безнадежно расплывались. Я вдруг увидел себя издали, растерянным и нелепым. Кто я? Зачем здесь нахожусь? Почему лежу за ширмой в ожидании бог знает чего? И как глупо сложилась жизнь!..

Когда я проснулся, надо мной стоял Теппе.

— Извините, потревожил... Только что родила ваша знакомая.

«Марина!» — с легким ужасом подумал я. (Все знают, что ужас можно испытывать в едва ощутимой степени.) Затем, отогнав безумную мысль, спросил:

— То есть как — знакомая?

— Журналистка из молодежной газеты — Румянцева.

— А, Лена, жена Бори Штейна. Действительно, ее с мая не видно..

— Пять минут назад она родила.

— Это любопытно. Редактор будет счастлив. Отец ребенка — известный в Таллинне поэт. Мать — журналистка. Оба — партийные. Штейн напишет балладу по такому случаю..

— Очень рад за вас.

Я позвонил Штейну.

— Здорово, — говорю, — тебя можно поздравить...

— Рано. Ответ будет в среду.

— Какой ответ?

— Поеду я в Швецию или не поеду. Говорят — нет опыта поездок в капстраны. А где взять опыт, если не пускают?.. Ты бывал в капстранах?

— Нет. Меня и в соц-то не пустили. Я в Болгарию подавал...

— А я даже в Югославии был. Югославия — почти что кап...

— Я звоню из клиники. У тебя сын родился.

— Мать твою! — воскликнул Штейн. — Мать твою!..

Теппе протянул мне листок с каракулями.

— Рост, — говорю, — 56, вес — три девятьсот. Лена чувствует себя нормально.

— Мать твою, — не унимался Штейн, — сейчас приеду. Такси возьму.

Теперь нужно было вызвать фотографа.

— Звоните, звоните, — сказал Теппе.

Я позвонил Жбанкову. Трубку взяла Лера.

— Михаил Владимирович нездоров, — сказала она.

— Пьяный, что ли? — спрашиваю.

— Как свинья. Это ты его напоил?

— Ничего подобного. И вообще, я на работе.

— Ну, прости.

Звоню Малкиэлю.

— Приезжай, ребенка сфотографировать в юбилейный номер. У Штейна сын родился. Гонорар, между прочим, двойной...

— Ты хочешь об этом ребенке писать?

— А что?

— А то, что Штейн — еврей. А каждого еврея нужно согласовывать. Ты фантастически наивен, Серж.

— Я писал о Каплане и не согласовывал.

— Ты еще скажи о Гликмане. Каплан — член бюро обкома. О нем двести раз писали. Ты Каплана со Штейном не равняй...

— Я и не равняю. Штейн куда симпатичнее.

— Тем хуже для него.

— Ясно. Спасибо, что предупредил.

Говорю Теппе:

— Оказывается, и Штейн не подходит.

— У меня были сомнения.

— А кто меня спрашивается, разбудил?

— Я разбудил. Но сомнения у меня были.

— Что же делать?

— Скоро еще одна родит. А может, уже родила. Я сейчас позвоню.

— А я выйду, прогуляюсь.

В унылом больничном сквере разгуливали кошки. Резко скрипели облетевшие черные тополя. Худой, сутулый юноша, грохоча, катил телегу с баком. Застиранный голубой халат делал его похожим на старуху.

Из-за поворота вышел Штейн.

— Ну, поздравляю.

— Спасибо, дед, спасибо. Только что Ленке передачу отправил... Состояние какое-то необыкновенное! Надо бы выпить по этому случаю.

«Выпьешь, — думаю, — с тобой... Одно расстройство».

Я не хотел его огорчать. Не стал говорить, что его ребенок забракван. Но Штейн уже был в курсе дела.

— Юбилейный материал готовишь?

— Пытаюсь.

— Хочешь нас прославить?

— Видишь ли, — говорю, — тут нужна рабоче-крестьянская семья. А вы — интеллигенты...

— Жаль. А я уже стих написал в такси. Конец такой:

На фабриках, в жерлах забоев,
На дальних планетах иных —
Четыреста тысяч героев,
И первенец мой среди них!

Я сказал:

— Какой же это первенец? У тебя есть взрослая дочь.

— От первого брака.

— А, — говорю, — тогда нормально.

Штейн подумал и вдруг сказал:

— Значит, антисемитизм все-таки существует?

— Похоже на то.

— Как это могло появиться у нас? У нас в стране, где, казалось бы...

Я перебил его:

— В стране, где основного мертвеца еще не похоронили... Само название которой лживо...

— По-твоему, все — ложь!

— Ложь в моей журналистике и в твоих паршивых стишках! Где ты видел эстонца в космосе?

— Это же метафора.

— Метафора... У жи десятки таких подпольных кличек!

— Можно подумать, один ты — честный. А кто целую повесть написал о БАМе? Кто прославлял чекиста Тимофеева?

— Брошу я это дело. Увидишь, брошу...

— Тогда и упрекай других.

— Не сердись.

— Черт, настроение испортил... Будь здоров.

Теппе встретил меня на пороге.

— Күзина родила из шестой палаты. Вот данные. Сама эстонка, водитель автокары. Муж — токарь на судостроительном заводе, русский, член КПСС. Ребенок в пределах нормы.

— Слава Богу, кажется, подходит. Позвоню на всякий случай.

Турунок сказал:

— Вот и отлично. Договоритесь, чтобы ребенка назвали Лембитом.

— Генрих Францевич, — взмолился я, — кто же назовет своего ребенка Лембитом! Уж очень старомодно. Из фольклора...

— Пусть назовут. Какая им разница?! Лембит — хорошо, мужественно и символично звучит... В юбилейном номере это будет смотреться.

— Вы могли бы назвать своего ребенка — Бовой? Или Микулой?

— Не занимайтесь демагогией. Вам дано задание. К среде материал должен быть готов. Откажутся назвать Лембитом — посулите им денег.

— Сколько?

— Рублей двадцать пять. Фотографа я пришлю. Как фамилия новорожденного?

— Кузин. Шестая палата.

— Лембит Кузин. Прекрасно звучит. Действуйте.

Я спросил у Теппе:

— Как найти отца?

— А вон. Под окнами сидит на газоне.

Я спустился вниз.

— Але, — говорю, — вы Кузин?

— Кузин-то Кузин, — сказал он, — а что толку?!

Видимо, настрой у товарища Кузина был философский.

— Разрешите, — говорю, — вас поздравить. Ваш ребенок оказался 400 000-м жителем нашего города. Сам я из редакции. Хочу написать о вашей семье.

— Чего писать-то?

— Ну, о вашей жизни...

— А что, живем неплохо... Трудимся, как положено...
Расширяем свой кругозор... Пользуемся авторитетом...

— Надо бы куда-то зайти, побеседовать.

— В смысле — поддать? — оживился Кузин.

Это был высокий человек с гранитным подбородком и детскими невинными ресницами. Живо поднялся с газона, отряхнул колени.

Мы направились в «Космос», сели у окна. Зал еще не был переполнен.

— Денег — восемь рублей, — сказал Кузин, — плюс живая бутылка отравы.

Он достал из портфеля бутылку кубинского рома. За-маскировал оконной портьерой.

— Возьмем для понта граммов триста?

— И пива, — говорю, — если холодное...

Мы заказали триста граммов водки, два салата и по котлете.

— Нарезик копченный желаете? — спросил официант.

— Отдохнешь! — реагировал Кузин.

В зале было пустынно. На возвышении расположились четверо музыкантов. Рояль, гитара, контрабас и ударные. Дубовые пюпитры были украшены лирами из жести.

Гитарист украдкой вытер ботинки носовым платком. Затем подошел к микрофону и объявил:

— По заказу наших друзей, вернувшихся из курортного местечка Азалемма...

Он выждал многозначительную паузу.

— Исполняется лирическая песня «Дождик каплет на рыло!..».

Раздался невообразимый грохот, усиленный динамиками. Музыканты что-то выкрикивали хором.

— Знаешь, что такое Азалемма? — развеселился Кузин. — Самый большой лагерный поселок в Эстонии. ИТК, пересылка, БУР... Ну, давай!

Он поднял стакан.

— За тебя! За твоего сына!

— За встречу! И чтоб не последняя...

Две пары отрешенно танцевали между столиками. Официанты в черно-белой униформе напоминали пингвинов.

— По второй?

Мы снова выпили.

Кузин бегло закусил и начал:

— А как у нас все было — это чистый театр. Я на судомехе работал, жил один. Ну, познакомился с бабой, тоже одинокая. Чтобы уродливая, не скажу — задумчивая. Стала она заходить, типа выстирать, погладить... Сошлись мы на Пасху... Вру, на Покровá... А то после работы — вакуум... Сколько можно нажираться?.. Жили с год примерно... А чего она забеременела, я не понимаю... Лежит, бывало, как треска. Я говорю: «Ты, часом, не уснула?» — «Нет, — говорит, — все слышу». — «Не много же, — говорю, — в тебе пыла». А она: «Вроде бы свет на кухне горит...» — «С чего это ты взяла?» — «А счетчик-то вон как работает...» — «Тебе бы, — говорю, — у него поучиться...» Так и жили с год...

Кузин вытащил из-за портьеры бутылку рома, призывно ее наклонил. Мы снова выпили.

Гитарист одернул пиджак и воскликнул:

— По заказу Толика Б., сидящего у двери, исполняется...

Пауза. Затем — с еще бóльшим нажимом:

— Исполняется лирическая песня: «Каким меня ты ядом напоила?..»

— Ты сам женат? — поинтересовался Кузин.

— Был женат.

— А сейчас?

— Сейчас вроде бы нет.

— Дети есть?

— Есть.

— Много?

— Много... Дочь.

— Может, еще образуется?

— Вряд ли...

— Детей жалко. Дети-то не виноваты... Лично я их называю «цветы жизни»... Может, по новой?

— Давай.

— С пивом.

— Естественно...

Я знал, еще три рюмки, и с делами будет покончено. В этом смысле хорошо пить утром. Выпил — и целый день свободен...

— Послушай, — говорю, — назови сына Лембитом.

— Почему же Лембитом? — удивился Кузин. — Мы хотим Володей. Что это такое — Лембит?

— Лембит — это имя.

— А Володя что, не имя?

— Лембит — из фольклора.

— Что значит — фольклор?

— Народное творчество.

— При чем тут народное творчество?! Личного моего сына хочу назвать Володей... Как его, высерка, назвать — это тоже проблема. Меня вот Гришей назвали, а что получилось? Кем я вырос? Алкашом... Уж так бы и назвали — Алкаш... Поехали?

Мы выпили, уже не закусывая.

— Назовешь Володей, — разглагольствовал Кузин, — а получится ханыга. Многое, конечно, от воспитания зависит...

— Слушай, — говорю, — назови его Лембитом временно. Наш редактор за это капусту обещал. А через месяц переименуешь, когда вы его регистрировать будете...

— Сколько? — поинтересовался Кузин.

— Двадцать пять рублей.

— Две полбанки и закуска. Это если в кабаке...

— Как минимум. Сиди, я позвоню...

Я спустился в автомат. Позвонил в контору. Редактор оказался на месте.

— Генрих Францевич! Все о'кей! Папа — русский, мать — эстонка. Оба с судомеха...

— Странный у вас голос, — произнес Туронок.

— Это автомат такой... Генрих Францевич, срочно пришлите Хуберта с деньгами.

— С какими еще деньгами?

— В качестве стимула. Чтобы ребенка назвали Лембитом... Отец согласен за двадцать пять рублей. Иначе, говорит, Адольфом назову...

— Довлатов, вы пьяны! — сказал Туронок.

— Ничего подобного.

— Ну, хорошо, разберемся. Материал должен быть готов к среде. Хуберт выезжает через пять минут. Ждите его на Ратушной площади. Он передаст вам ключ...

— Ключ?

— Да. Символический ключ. Ключ счастья. Вручите его отцу... В соответствующей обстановке... Ключ стоит три восемьдесят. Я эту сумму вычту из двадцати пяти рублей.

— Нечестно, — сказал я.

Редактор повесил трубку.

Я поднялся наверх. Кузин дремал, уронив голову на скатерть. Из-под щеки его косо торчало блюдо с хлебом.

Я взял Кузина за плечо.

— Але, — говорю, — проснись! Нас Хуберт ждет...
— Что?! — всполошился он, — Хуберт? А ты говорил — Лембит.

— Лембит — это не то. Лембит — это твой сын. Временно...

— Да, у меня родился сын.

— Его зовут Лембит.

— Сначала Лембит, а потом Володя.

— А Хуберт нам деньги везет.

— Деньги есть, — сказал Кузин, — восемь рублей.

— Надо рассчитаться. Где официант?

— Але! Нарезик, где ты? — закричал Кузин.

Возник официант с уныло поджатыми губами.

— Разбита одна тарелка, — заявил он.

— Ага, — сказал Кузин, — это я мордой об стол — трах!

Он смущенно достал из внутреннего кармана черепки.

— И в туалете мимо сделано, — добавил официант, — поаккуратнее надо ходить...

— Вали отсюда, — неожиданно рассердился Кузин, — слышишь? Или я тебе плешь отполирую!

— При исполнении — не советую. Можно и срок получить.

Я сунул официанту деньги.

— Извините, — говорю, — у моего друга сын родился. Вот он и переживает.

— Поддали — так и ведите себя культурно, — уступил официант.

Мы расплатились и вышли под дождь. Машина Хуберта стояла возле ратуши. Он просигналил и распахнул дверцу. Мы залезли внутрь.

— Вот деньги, — сказал Хуберт, — редактор беспокоится, что ты запьешь...

Я принял у него в темноте бумажки и мелочь...

Хуберт протянул мне увесистую коробку.

— А это что?

— «Псковский сувенир».

Я раскрыл коробку. В ней лежал анодированный ключ размером с небольшую балалайку.

— А, — говорю, — ключ счастья!

Я отворил дверцу и бросил ключ в урну. Потом сказал Хуберту:

— Давай выпьем.

— Я же за рулем.

— Оставь машину, и пошли.

— Мне еще редактора везти домой.

— Сам доберется, жирный боров...

— Понимаешь, они мне квартиру обещали. Если бы не квартира...

— Живи у меня, — сказал Кузин, — а бабу я в деревню отправлю. На Псковщину, в Усохи. Там маргарина с лета не видели...

— Мне пора ехать, ребята, — сказал Хуберт...

Мы снова вышли под дождь. Окна ресторана «Астория» призывно сияли. Фонарь выхватывал из темноты разноцветную лужу у двери...

Стоит ли подробно рассказывать о том, что было дальше? Как мой спутник вышел на эстраду и заорал: «Продали Россию!..» А потом ударил швейцара так, что фуражка закатилась в кладовую... И как потом нас забрали в милицию... И как освободили благодаря моему удостоверению... И как я потерял блокнот с записями... А затем и самого Кузина...

Проснулся я у Марины, среди ночи. Бледный сумрак заливал комнату. Невыносимо гулко стучал будильник. Пахло нашатырным спиртом и мокрой одеждой.

Я потрогал набухающую царапину у виска.

Марина сидела рядом, грустная и немного осунувшаяся. Она ласково гладила меня по волосам. Гладила и повторяла:

— Бедный мальчик... Бедный мальчик... Бедный мальчик...

С кем это она, думаю, с кем?..

КОМПРОМИСС ШЕСТОЙ

(«Вечерний Таллинн». Недельная радиопрограмма.

Март. 1976 г.)

...13.30. «ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
Владимир Меркин. Экономика — день грядущий».

В радиоочерке Л. Агаповой и С. Довлатова предстает кандидат экономических наук Владимир Григорьевич Меркин. Вы услышите его живой и увлекательный рассказ об экономическом прогрессе в СССР и о необратимом финансовом кризисе современного Запада. В перерыве — новости и «Музыкальный антракт».

Четыре года спустя на лице журналистки Агаповой появится глубокий шрам от удара металлической рейшиной. На нее с безумным воплем кинется архитектор-самоучка Дегтяренко, герой публицистической радиопередачи «Ясность», так и не запущенной в эфир. За шесть недель до этой безобразной сцены журналистке впервые расскажут о проекте «Мобиле кооперато» и его гениальном творце, чернорабочем одной из таллиннских фабрик. Агапова напишет очерк под рубрикой «Встреча с интересным человеком». Технический отдел затребует чертежи. Эксперт Чубаров минуту подержит в холеных руках две грязные трепещущие кальки и выскажется следующим образом:

— Оригинально! Весьма оригинально!

Журналистка с облегчением и гордостью воскликнет:

— У него четыре класса образования!

— А у вас? — безглаголиво поинтересуется эксперт. — Вы знаете, что это такое?

— Мобиле кооперато. Подвижный дом. Жилище будущего...

— Это вагон, — прервет ее Чубаров, — обыкновенный вагон. А вашего Ле Корбюзье нужно срочно госпитализировать...

Передачу тут же забракут. Обнадеженный было Дег-

тяренко ударит Лиду металлической рейшиной по голове. Карьера внештатной сотрудницы Таллиннского радио надолго прервется... Все это произойдет четыре года спустя. А пока мы следуем за ней к трамвайной остановке.

До этого было пасмурное утро, еще раньше — ночь. Сонный голубь бродил по карнизу, царапая жесть. Затем — будильник, остывшие шлепанцы, толчая возле уборной, чай, покоробившийся влажный сыр, гудение электробритвы — муж спешит на работу. Дочь: «Я, кажется, просила не трогать мой халат!»... И наконец — прохлада равнодушных улиц, ветер, цинковые лужи, болонки в сквере, громычание трамвая...

Попробую ее изобразить. Хотя внешность Агаповой существенного значения не имеет.

Резиновые импортные боты. Тяжелая коричневая юбка не подчеркивает шага. Синтетическая курточка на молнии — шуршит. Кепка с голубым верхом — форменная — таллиннского политехника. Лицо решительное, вечно озябшее. Никаких следов косметики. Отсутствующий зуб на краю улыбки. Удивляются только глаза, брови неподвижны, как ленточка финиша...

Следуем за нашей героиней. Трамвайная остановка...

«...Вон как хорошо девчонки молодые одеваются. Пальтишко бросовое, а не наше. Вместо пуговиц какие-то еловые шишки... А ведь смотрится... Или эта, в спецодежде... Васильки на заднице... Походка гордая, как у Лолобриджида... А летом как-то раз босую видела... Не пьяную, сознательно босую... В центре города... Идет, фигурирует... Так и у меня, казалось бы, все импортное, народной демократии. А вида нету... И где они берут? С иностранцами гуляют? Позор!.. А смотрится...»

С натугой разъехались двери трамвая. Короткий мучительный штурм. Дорогу ей загородила широкая армейская спина. Щекой — по ворсистой удушливой ткани... Ухватилась за поручень. Мелькнула жизнь в никелированной трубе...

— Копеечку не опускайте...

Лида балансирует над металлическим ящиком-кассой.

— Да проходите же, стоит, как неродная...

Главное, не раздражаться, относиться с юмором. Час пик, обычное явление. Тут главное — найти источник положительных эмоций. Вон бабке место уступили. Студент конспекты перелистывает. Даже у военного приличное лицо...

И снова — улица, машины, люди, приятная волнующая безучастность людей и машин. Затем — вестибюль, широкая мраморная лестница, ковровые дорожки, потертые на сгибах... Табличка — «Отдел пропаганды».

Лида постучала и вошла. Все ужасно ей обрадовались.

Кулешов сказал очередную пошлость. Верочка Котова улыбнулась, не поднимая глаз. Женя Тюрин помог раздеться. Моралевич спросил:

— Ты слушала в четверг? Сам Юрна тобой доволен.

— Правда?!

Тут же курил и Валя Чмутов, хронический неудачник. Чмутов был актером. Имел природный дар — красивый низкий голос удивительного тембра. Работал диктором. Шесть месяцев назад с ним произошла трагическая история. Чмутов должен был рано утром открыть передачу, которая шла непосредственно в эфир. Произнести всего несколько слов: «Дорогие радиослушатели! В эфире еженедельная программа — «Здравствуй, товарищ!». И все. Дальше — музыка и запись. Чмутов получает свои одиннадцать рублей.

Чмутов зашел в рубку. Сел. Придвинул микрофон. Мысленно повторил текст. Подвернул манжеты, чтобы запонки не брякали по столу. Ждал, когда загорится лампочка — «Эфир». На душе после вчерашнего было тоскливо. Лампочка не загоралась.

— Дорогие радиослушатели! — задумчиво произнес Чмутов.

Тяжело ворочался обожженный портвейном язык. Лампочка не загоралась.

— Дорогие радиослушатели, — снова повторил Чмутов, — о, мерзость... Дорогие радиослушатели... Да, напрасно я вчера завелся...

Лампочка не загоралась. Как выяснилось, она перегорела... Это бывает раз в сто лет...

— В эфире еженедельная программа, — репетировал Чмутов, — ну, бля, все, завязываю...

За стеклом мелькнула перекошенная физиономия редактора. Чмутов обмер. Распахнулась дверь. Упирающегося диктора выбросили на лестницу. Его похмельные заклинания разнеслись на весь мир. Актер был уволен... История не кончается.

Чмутов уехал во Псков. Поступил диктором на радио. Местная радиотрансляция велась ежедневно часа полтора. Остальное время занимали Москва и Ленинград. Чмутов блаженствовал. Его ценили как столичного мастера.

Как-то раз он вел передачу. Неожиданно скрипнула дверь. Вошла большая коричневая собака. (Чья? Откуда?) Чмутов ее осторожно погладил. Собака прижала уши и зажмурилась. Нос ее сиял крошечной боксерской перчаткой.

— Труженики села рапортуют, — произнес Чмутов.

И тут собака неожиданно залаяла. Может быть, от счастья. Лаской ее, видимо, не избаловали.

— Труженики села рапортуют... Гав! Гав! Гав!

Чмутова снова уволили. Теперь уже навсегда и ото-всюду. Когда он рассказал о собаке, ему не поверили. Решили, что он сам залаял с похмелья.

Чмутов уехал в Ленинград. Целыми днями сидел на радио. Ждал своего часа...

Неудачников все избегают, Лида ему улыбнулась.

В отделе пропаганды Агапова сотрудничала давно. Все ее любили. Вот и теперь заведующая Нина Игнатъевна ласково ей кивнула:

— Лидочка, пройдите ко мне.

В кабинете тишина, полированный стол, бесчисленные авторучки. В шкафах за стеклами мерцают сувениры и корешки энциклопедии. В столе у Нины Игнатъевны — помада, зеркальце и тушь. И вообще приятно — интересная молодая женщина в таком серьезном кабинете...

— Лидочка, я хочу вам новую рубрику предложить. «Встреча с интересным человеком». Причем не обязательно с ученым или космонавтом. Диапазон тут исключительно широкий. Почетное хобби, неожиданное увлечение, какой-нибудь штрих в биографии. Допустим, скромный номенклатурный главбух тайно... я не знаю... все, что угодно... не приходит в голову... Допустим, он тайно...

— Раствлеает малолетних, — подсказала Лида.

— Я другое имела в виду. Допустим, он тайно...

— Изучает санскрит...

— Что-то в этом духе. Только более значимое в социальном отношении. Допустим, милиционер помогает кому-то отыскать близкого человека...

— Есть кино на эту тему.

— Я не могу предложить вам что-то конкретное. Тут надо подумать. Вот, к примеру. На фабрике «Калев» проходили съемки «Одинокой женщины». Помните, с артисткой Дорониной. Так вот, мальчишка, который участвовал в съемках, превратился в начальника одного из цехов.

— Мне нравится эта тема, — сказала Лида, — я ее чувствую.

— Эту тему уже использовал Арвид Кийск. Я говорю — в принципе. Надо придумать что-то свое. Допустим, старый генерал ложится на операцию. И узнает в хирурге своего бывшего денщика...

— Как фамилия? — спросила Лида.

— Чья?

— Как фамилия этого генерала? Или денщика?

— Я говорю условно... Тут главное — неожиданность, загадка, случай... Многоплановая жизнь... Снаружи одно, внутри другое...

— Это у многих так, — вздохнула Лида.

— Короче — действуйте, — сказала Нина Игнатьевна, едва заметно раздражаясь.

Лидочка вышла из кабинета.

Интересные люди окружали ее с детства. Отец был знаком с Эренбургом. Учитель рисования в школе слыл непризнанным гением. Потом за ней ухаживал бандит и даже написал стихи. Институтские профессора удивляли своими чудачествами. У одного была вечно растегнута ширинка. Интересным человеком был ее муж: старший экономист, а пишет с ошибками. Дочь казалась загадочной — всегда молчит. А последнее время до такой степени, что Лида решила, не беременна ли... Монтера из домоуправления вызвали, оказывается — сидел чуть ли не за убийство. Короче, все люди интересные, если разобраться...

По образованию Лидочка была врачом-гигиенистом. Начала перебирать бывших однокурсников. Павинский, Рожин, Янкелевич, Феофанов... Мищенко, кажется, спортом занимался. Левин в науку ушел... Левин, Борька Левин, профессор, умница, доктор наук... Говорят, был во Франции...

Агапова достала блокнот и записала на чистой странице — Левин.

Стала перебирать знакомых мужа. Тоже, конечно, интересные люди. Экономисты. Калинин, например, утверждает, что безработица — стимул прогресса. А то все знают, что их не уволят. А если и уволят, то не беда. Перейдет через дорогу и устроится на соседний завод. То есть можно прогуливать, злоупотреблять... Калинин вряд ли подойдет. Уж слишком прогрессивный... А Меркин тот вообще. Его спрашивают, что может резко поднять нашу экономику? Отвечает — война. Война, и только война. Война — это дисциплина, подъем сознательности. Война любые недостатки спишет... Думаю, что и Меркин не подойдет... А вот приходил на днях один филолог со знакомой журналисткой... Или даже, кажется, переводчик. Служил, говорит, надзирателем в конвойных частях... Жуткие истории рассказывал... Фамилия нерусская — Алиханов. Бесспорно, интересный человек...

Так рядом с Левиным в блокноте появился Алиханов.

Еще бы третьего кандидата найти. И тут Лида вспомнила, что у соседней оказалась родственник из Порхова. Или знакомый. Что-то Милка Осинская во дворе говорила. Какая-то у него судьба загадочная. То ли был репрессирован, то ли наоборот... Начальник из провинции — это любопытно. Это можно как-нибудь оригинально повернуть. «Нет географической провинции, есть провинция духовная...»

Так рядом с Алихановым и Левиным появился вопросительный знак. И в скобках: родственник Милки О. ...

Можно еще в резерве оставить начитанного домуправа. Сименоном интересовался. Но у Лиды с ним конфликт из-за

вечно переполненных мусорных баков... Ладно... Надо брать-ся за дело!..

— До свидания, Верочка, мальчики!

— Агапова, не пропадай!..

Позвонила Борьке Левину в клинику. Узнал, обрадо-вался, договорились на час.

Бывший надзиратель оказался дома.

— Приезжайте, — сказал он, — и если можно, купите три бутылки пива. Деньги сразу же верну.

Лида зашла в гастроном на улице Карья, купила пиво. Дома в районе новостроек: от подъезда до подъезда — кило-метр...

Алиханов встретил ее на пороге. Это был огромный мо-лодой человек с низким лбом и вялым подбородком. В гла-зах его мерцало что-то фальшиво неаполитанское. Затеял какой-то несуразный безграмотный возглас и окончить его не сумел:

— Чем я обязан, Лидочка, тем попутным ветром, ко-его... коего... Достали пиво? Умница. Раздевайтесь. У меня чудовищный беспорядок.

Комната производила страшное впечатление. Диван, за-валенный бумагами и пеплом. Стол, невидимый под грудой книг. Черный остов довоенной пишущей машинки. Какой-то ржавый ятаган на стене. Немытая посуда и багровый осадок в фужерах. Тусклые лезвия селедок на клочке газет-ной бумаги...

— Идите сюда. Тут более-менее чисто.

Надзиратель откупорил пиво.

— Да, колоритно у вас, — сказала Лида. — Я ведь по образованию гигиенист.

— Меня за антисанитарию к товарищескому суду при-влекали.

— Чем же это кончилось?

— Ничем. Я на мятежный дух закашивал. Поэт, мол, йог, буддист, живу в дерьме... Хотите пива?

— Я не пью.

— Вот деньги. Рубль одиннадцать.

— Какая ерунда, — сказала Лида.

— Нет, извините, — громко возмутился Алиханов.

Лида сунула горсть мелочи в карман. Надзиратель ловко выпил бутылку пива из горлышка.

— Полегче стало, — доверительно высказался он. За-тем попытался еще раз, теперь уже штурмом осилить гро-моздкую фразу: — Чем я обязан, можно сказать, тому не-ожиданному удовольствию, коего...

— Вы филолог? — спросила Агапова.

— Точнее — лингвист. Я занимаюсь проблемой фоне-матичности русского «Щ»...

— Есть такая проблема?

— Одна из наиболее животрепещущих... Слушайте, что произошло? Чем я обязан неожиданному удовольствию лицезреть?..

Надзиратель опрокинул вторую бутылку.

— Мы готовим радиопередачу «Встреча с интересным человеком». Необходим герой с оригинальной биографией. Вы филолог. Точнее — лингвист. Бывший надзиратель. Человек многоплановой жизни... У вас многоплановая жизнь?

— Последнее время — да, — честно ответил надзиратель.

— Расскажите подробнее о ваших филологических исследованиях. Желательно, в доступной форме.

— Я вам лучше дам свой реферат. Что-то я плохо соображаю. Где-то здесь. Сейчас найду...

Алиханов метнулся к напластованиям бумаги.

— В другой раз, — успокоила Лида. — Мы, очевидно, еще встретимся. Это у нас предварительная беседа. Мне хочется спросить. Вы были надзирателем, это опасно, рискованно?

Алиханов неохотно задумался.

— Риск, конечно, был. Много водки пили. Лосьоном не брезговали. На сердце отражается...

— Я имела в виду заключенных. Ведь это страшные люди. Ничего святого...

— Люди как люди, — сказал Алиханов, откупоривая третью бутылку.

— Я много читала. Это особый мир... Свои законы... Необходимо мужество... Вы мужественный человек?

Алиханов вконец растерялся.

— Люба, — сказал он.

— Лида.

— Лида! — почти закричал Алиханов. — Я сейчас достану шесть рублей. У меня гуманные соседи. Возьмем полбанки и сухого. Что-то я плохо соображаю.

— Я не пью. Вы мужественный человек?

— Не знаю. Раньше мог два литра выпить. А теперь от семисот граммов балдею... Возраст...

— Вы не понимаете. Мне нужен оригинальный человек, интересная личность. Вы филолог, тонко чувствующий индивидуум. А раньше были надзирателем. Ежедневно шли на риск. Душевная тонкость очень часто сопутствует физической грубости...

— Когда я вам грубил?

— Не мне. Вы охраняли заключенных...

— Мы больше себя охраняли.

— Откуда у вас этот шрам? Не скромничайте, пожалуйста...

— Это не шрам, — воскликнул Алиханов, — это фурункул. Я расчесал... Извините меня...

— Я все-таки хочу знать, что вы испытывали на Севере? Фигурально выражаясь, о чем молчала тундра?

— Что?

— О чем молчала тундра?

— Лида! — дико крикнул Алиханов. — Я больше не могу! Я не гожусь для радиопередачи! Я вчера напился! У меня долги и алименты! Меня упоминала «Немецкая волна»! Я некоторым образом — диссидент! Вас уволят... Отпустите меня...

Лида завинтила колпачок авторучки.

— Жаль, — сказала она, — материал интересный. Будьте здоровы. Я вам позвоню. А вы пока отыщите свой реферат...

Надзиратель стоял обессиленный и бледный.

— Минутку, — сказал он, — я тоже иду. У меня гуманитарные соседи...

На площадке они расстались. Лида зашагала вниз. Алиханов взлетел на четвертый этаж...

Левин обнял ее и долго разглядывал.

— Да, — сказал он, — годы идут, годы идут...

— Постарела?

— Как тебе сказать... Оформилась.

— А ты обрюзг. Позор. Галина дома?

— На собрании в школе. Хулиган у нас растет... Толстею, говоришь? Жена советует: «Тебе надо бегать по утрам». А я отвечаю: «Если побегу, то уже не вернусь...» Кофе хочешь? Раздевайся...

— Только после вас, доктор, — вспомнила Лида какую-то старую шутку.

Они прошли в гостиную. Торшер с прожженным абажуром. Иностранные журналы на подоконнике...

— Хорошо у тебя, — сказала Лида, — в новых квартирах жутко делается. Все полированное, сплошной хрусталь...

— Хрусталь и у меня есть, — похвастал Левин.

— Где?

— В ломбарде.

— По-прежнему канцерогенами занимаешься?

— По-прежнему.

— Расскажи.

— Минуточку, чайник поставлю.

— Жду...

Лида вынула записную книжку, авторучку и сигареты «БТ».

Левин вернулся. Они закурили.

— Ты во Франции был?

- Две недели.
- Ну и как?
- Нормально.
- А конкретнее?
- Трудолюбивый народ, реакционная буржуазия, экономический кризис, обнищание масс...
- Ты по-человечески расскажи. Хорошо французы к нам относятся?
- А черт их знает. Настроение у всех хорошее.
- Как насчет благосостояния? Как тебе французенки, понравились?
- Благосостояние нормальное. Кормили хорошо. У меня был третий стол. Вино, дыплята, кофе, сливки... Девицы замечательные. Вернее, так, либо уродина, либо красотка. Тут дело в косметике, я полагаю. Косметика достоинства подчеркивает, а недостатки утрирует... Держатся свободно, непосредственно. У них такие белые синтетические халаты, декольте...
- Что значит — белые халаты? Ты в клинике работал?
- Я не работал. Я дизентерией в Ницце заболел. День погулял и слег.
- Значит, Франции практически не видел?
- Почему? У нас был цветной телевизор.
- Не повезло тебе.
- Зато я отдохнул.
- Привез что-нибудь интересное? Сувениры, тряпки?
- Слушай, — оживился Левин, — я уникальную вещь привез. Только отнесись без ханжества. Ты же врач. Сейчас достану. Я его от Вовки прячу.
- Что ты имеешь в виду?
- Лидка, я член привез. Каучуковый член филигранной работы. Ей-богу. Куда же он девался? Видно, Галка перепрятала...
- Зачем это тебе?
- Как зачем? Это произведение искусства. Клянусь. И Галке нравится.
- Как таможенники не отобрали?
- Я же не в руках его тащил, я спрятал.
- Куда? Ведь не иголка...
- Я одну даму попросил из нашей лаборатории. Женщин менее тщательно обыскивают. И возможностей у них больше. Физиология более... укромная...
- Ты как ребенок. Поговорим лучше о деле.
- Сейчас я кофе принесу.
- На столе появились конфеты, вафли и лимон.
- Сгущенное молоко принести?
- Нет. Рассказывай.

— Чего рассказывать? Я занимаюсь моделированием химических реакций. Одно время исследовал канцерогенез асбестовой пыли...

— Ты мне скажи, рак излечим?

— Рак кожи — да.

— А рак желудка, например?

— Лидочка, полный хаос в этом деле. Миллиграмм канцерогена убивает лошадь. У любого взрослого человека на пальце этих самых канцерогенов — табун отравить можно. А я вот курю и тем не менее — жив... Дым, в свою очередь, тоже... Не записывай. Рак — щекотливая тема. Запретят твою передачу.

— Не думаю.

— Что, я с журналистами дела не имел?! Обратись к терапевту, у них благодать. Соцбязательства каждый месяц берут... Ты позвони в свою контору, согласуй.

Агапова позвонила Нине Игнатьевне. Та перепугалась.

— Лидочка, рак — слишком печально. Порождает отрицательные эмоции. Ассоциируется с незабытым романом. Мы ждем чего-нибудь светлого...

— Рак — это проблема номер один.

— Лидочка, не упрямитесь. Есть негласное распоряжение.

— Что ж, — вздохнула Лида, — извините...

— Куда ты? — удивился Левин. — Посиди.

— Я, в общем-то, по делу зашла.

— Мы семь лет не виделись. Скоро Галка придет, выпьем чего-нибудь.

— Ты уж прости, не хотелось бы мне ее видеть.

Левин молчал.

— Ты счастлив, Боря?

Левин снял очки. Теперь он был похож на второгодника.

— Какое там счастье! Живу, работаю. Галка, я согласен, трудный человек. Есть в ней что-то безжизненное. Володя — хам, начитанный, развитый хам. Я все-таки доктор наук, профессор. А он говорит мне вчера: «У тебя комплекс неполноценности...»

— Но ведь ты ученый, служишь людям. Ты должен гордиться...

— Брось, Лида. Я служу Галине и этому засранцу.

— Ты просто не в форме.

Лида уже стояла на площадке.

— А помнишь, как в Новгород ездили? — спросил Левин.

— Боря, замолчи сейчас же. Все к лучшему. Ну, я пошла.

И она пошла вниз, на ходу раскрывая зонтик. Щелчок — и над головой ее утвердился пестрый, чуть вибрирующий купол.

— А как мы дыни воровали?! — закричал он в лестничный пролет...

К этому времени стемнело. В лужах плавали акварельные неоновые огни. Бледные лица прохожих казались отрешенными. Из-за поворота, качнувшись, выехал наполненный светом трамвай. Лида опустилась на деревянную скамью. Сложила зонтик. В черном стекле напротив отражалось ее усталое лицо. Кому-то протянула деньги, ей сунули билет. Всю дорогу она спала и проснулась с головной болью. К дому шла медленно, ступая в лужи. Хорошо, догадалась надеть резиновые чешские боты...

Осинские жили в соседнем подъезде. Аркадий — тренер, вечно шутит. На груди у него, под замшевой курткой, блестит секундомер. Милка где-то химию преподает.

Сын — таинственная личность. Шесть лет уклоняется от воинской повинности. Шесть лет симулирует попеременно — невроты, язву желудка и хронический артрит. Превзошел легендарного революционера Камо. За эти годы действительно стал нервным, испортил желудок и приобрел хронический артрит. Что касается медицинских знаний, то Игорь давно оставил позади любого участкового врача. Кроме того, разбирался в джазе и свободно говорил по-английски...

В общем, человек довольно интересный, только не работает...

Лида поднялась на третий этаж. Ей вдруг неудержимо захотелось домой. Прогоняя эту мысль, нажала кнопку. Глухо залаял Милорд.

— Входи, — обрадовалась Мила Осинская, — Игорь где-то шляется. Арик на сборах в Мацесте. Познакомься, это Владимир Иванович.

Навстречу ей поднялся грузный человек лет шестидесяти. Протянул руку, назвался. С достоинством разлил коньяк. Мила включила телевизор.

— Хочешь борща?

— Нет. Я, как ни странно, выпью.

— За все хорошее, — дружелюбно произнес Владимир Иванович.

Это был широкоплечий, здоровый мужчина в красивом тонком джемпере. Лицо умеренно, но регулярно выпивающего человека. В кино так изображают отставных полковников. Прочный лоб, обыденные светлые глаза, золотые коронки.

Чокнулись, выпили.

— Ну, беседуйте, — сказала хозяйка, — а я к Воробьевым зайду на десять минут. Мне Рита кофту вяжет...

И ушла.

— Я, в общем-то, по делу, — сказала Лида.

— К вашим услугам.

— Мы готовим радиопередачу «Встреча с интересным человеком». Людмила Сергеевна кое-что о вас рассказывает... И я подумала... Мне кажется, вы интересный человек...

— Человек я самый обыкновенный, — произнес Владимир Иванович, — хотя не скрою, работу люблю и в коллективе меня уважают...

— Где вы работаете? — Лида достала блокнот.

— В Порхове имеется филиал «Красной зари». Создаем координатные АТС. Цех большой, ведущий. По итогам второго квартала добились серьезных успехов...

— Вам не скучно?

— Не понял.

— Не скучно в провинции?

— Город наш растет, благоустраивается. Новый Дом культуры, стадион, жилые массивы... Записали?

Владимир Иванович наклонил бутылку. Лида отрицательно покачала головой. Он выпил. Подцепил ускользящий маринованный гриб.

Лида, выждав, продолжала:

— Я думаю, можно быть провинциалом в столице и столичным жителем в тундре.

— Совершенно верно.

— То есть провинция — явление духовное, а не географическое.

— Вот именно. Причем снабжение у нас хорошее: мясо, рыба, овощи...

— Гастролируют столичные творческие коллективы?

— Разумеется, вплоть до Магомаева.

Владимир Иванович снова налил.

— Вы, наверное, много читаете? — спросила Лида.

— Как же без этого. Симонова уважаю. Ананьева, военные мемуары, естественно — классику: Пушкина, Лермонтова, Толстого... Последних, как известно, было три... В молодости стихи писал...

— Это интересно.

— Дай Бог памяти. Вот, например...

Владимир Иванович откинулся на спинку кресла:

Каждый стремится у нас быть героем,
Дружно шагаем в строю,
Именем Сталина землю покроем,
Счастье добудем в бою...

Лида подавила разочарование.

— Трудно быть начальником цеха?

— Прямо скажу — нелегко. Тут и производственный фактор, и моральный... План, текучесть, микроклимат, отрицаловка... А главное, требовательный народ пошел. Права свои знает. Дай то, дай это... Обязанностей никаких, а прав до черта... Эх, батьки Сталина нет... Порядок был, порядок... Опоздал на минуту — под суд! А сейчас... Разболтался народ, разболтался... Сатирики, понимаешь, кругом... Эх, нету батьки...

— Значит, вы одобряете культ личности? — тихо спросила Агапова.

— Культ, культ... Культ есть и будет... Личность нужна, понимаете, личность!

Владимир Иванович разгорячился, опьянел. Теперь он жестикулировал, наваливался и размахивал вилкой.

— Жизнь я нелегкую прожил. Всякое бывало. Низко падал, высоко залетал... Я ведь, между нами, был женат...

— Почему — между нами? — удивилась Лида.

— На племяннице Якира, — шепотом добавил Владимир Иванович.

— Якира? Того самого?

— Ну. Ребенок был у нас. Мальчишка...

— И где они сейчас?

— Не знаю. Потерял из виду. В тридцать девятом году...

Владимир Иванович замолчал, ушел в себя.

Долго Лида ждала, потом, волнуясь, краснея, спросила:

— То есть как это — потерял из виду? Как можно потерять из виду свою жену? Как можно потерять из виду собственного ребенка?

— Время было суровое, Лидочка, грозное, суровое время. Семьи рушились, вековые устои рушились...

— При чем тут вековые устои?! — неожиданно крикнула Лида. — Я не маленькая. И все знаю. Якира арестовали, и вы подло бросили жену с ребенком. Вы... Вы... Вы — неинтересный человек!

— Я попросил бы, — сказал Владимир Иванович, — я попросил бы... Такими словами не бросаются...

И затем уже более миролюбиво:

— Ведите себя поскромнее, Лидочка, поскромнее, поскромнее...

Милорд приподнял голову.

Лида уже не слушала. Вскочила, сорвала курточку в прихожей и хлопнула дверь.

На лестнице было тихо и холодно. Тенью пронеслась невидимая кошка. Запах жареной рыбы навел тоску.

Лида спустилась вниз и пошла через двор. Влажные

сумерки прятались за гаражами и около мусорных баков. Темнели и поскрипывали ветки убогого сквера. На снегу валялся деревянный конь.

Лида заглянула в почтовый ящик, достала «Экономическую газету». Поднялась и отворила дверь. В комнате мужа гудел телевизор. На вешалке алело Танино демисезонное пальто. Лида разделась, кинула перчатки на зеркальный столик.

В уборную, едва поздоровавшись, скользнул молодой человек. Грязноватые локоны его были перевязаны коричневым сапожным шнурком. Плюшевые брюки ниспадали, как шлейф.

— Татьяна, кто это? — спросила Лида.

— Допустим, Женя. Мы занимаемся.

— Чем?

— Допустим, немецким языком. Ты что-нибудь имеешь против?

— Проследи, чтобы он вымыл руки, — сказала Лида.

— Как ты любишь все опошлить! — ненавидящим шепотом выговорила дочь...

Лида позвонила мне в час ночи. Ее голос звучал встревоженно и приглушенно:

— Не разбудила?

— Нет, — говорю, — хуже...

— Ты не один?

— Один. С Мариной...

— Ты можешь разговаривать серьезно?

— Разумеется.

— Нет ли у тебя в поле зрения интересного человека?

— Есть. И он тебе кланяется.

— Перестань. Дело очень серьезное. Мне в четверг передачу сдавать.

— О чем?

— Встреча с интересным человеком. Нет ли у тебя подходящей кандидатуры?

— Лида, — взмолился я, — ты же знаешь мое окружение. Сплошные подонки! Позвони Кленскому, у него тесть — инвалид...

— У меня есть предложение. Давай напишем передачу вместе. Заработаешь рублей пятнадцать.

— Я же не пользуюсь магнитофоном.

— Это я беру на себя. Мне нужен твой...

— Цинизм? — подсказал я.

— Твой профессиональный опыт, — деликатно сформулировала Лида.

— Ладно, — сказал я, чтобы отделаться, — позвоню тебе завтра утром. Вернее — сегодня...

— Только обязательно позвони.

— Я же сказал...

Тут Марина не выдержала. Укусила меня за палец.

— До завтра, — сказал (вернее — крикнул) я и положил трубку...

Лида приоткрыла дверь в комнату мужа, залитую голубоватым светом. Вадим лежал на диване в ботинках.

— Могу я наконец поужинать? — спросил он.

Заглянула дочь:

— Мы уходим.

У Тани было хмурое лицо, на котором застыла гримаса вечного противоборства.

— Возвращайся поскорее...

— Могу я наконец чаю выпить? — спросил Вадим.

— Я, между прочим, тоже работаю, — ответила Лида.

И потом, не давая разрастаться ссоре:

— Как ты думаешь, Меркин — интересный человек?..

КОМПРОМИСС СЕДЬМОЙ

(«Советская Эстония». Апрель. 1976 г.)

«НАРЯД ДЛЯ МАРСИАНИНА (Человек и профессия). Чего мы ждем от хорошего портного? Сшитый им костюм должен отвечать моде. А что бы вы подумали о закройщике, изделие которого отстает от требований моды... на двести лет? Между тем этот человек пользуется большим уважением и заслуживает самых теплых слов. Мы говорим о закройщике-модельере Русского драматического театра ЭССР Вольдемар Сильде. Среди его постоянных клиентов испанские гранды и мушкетеры, русские цари и японские самураи, более того — лисицы, петухи и даже марсиане.

Театральный костюм рождается совместными усилиями художника и портного. Он должен соответствовать характеру эпохи, выражая при этом дух спектакля и свойства персонажей. Представьте себе Онегина в мешковатых брюках или Собакевича в элегантном фраке... Для того чтобы создать костюм раба Эзопа, Вольдемару Сильде пришлось изучать старинную живопись, греческую драму...

Сюртук, кафтан, бекеша, ментик, архалук — все это строго определенные виды одежды со своими специфическими чертами и аксессуарами.

— Один молодой актер, — рассказывает Сильд, — спросил меня: «Разве фрак и смокинг не одно и то же?» Для меня это вещи столь же разные, как телевизор и магнитофон.

Посещая спектакли других театров, Вольдемар Хендрикович с профессиональной взыскательностью обращает внимание на то, как одеты персонажи.

— И только на спектаклях моего любимого Вахтанговского театра, — говорит В. Сильд, — я забываю о том, что я модельер, и слежу за развитием пьесы — верный признак того, что костюмеры в этом театре работают безукоризненно.

Безукоризненно работает и сам Вольдемар Сильд, портной, художник, человек театра».

На летучке материал похвалили.

— Довлатов умеет живо писать о всякой ерунде.

— И заголовок эффектный...

— Слова откуда-то берет — аксессуары...

Назавтра вызывает меня редактор Туронок.

— Садитесь.

Сел.

— Разговор будет неприятный.

«Как все разговоры с тобой, идиот», — подумал я.

— Что за рубрика у вас?

— «Человек и профессия». Нас интересуют люди редких профессий. А также неожиданные аспекты...

— Знаете, какая профессия у этого вашего Сильда?

— Знаю. Портной. Театральный портной. Неожиданный аспект...

— Это сейчас. А раньше?

— Раньше — не знаю.

— Так знайте же, в войну он был палачом. Служил у немцев. Вешал советских патриотов. За что и отсидел двенадцать лет.

— О Господи! — сказал я.

— Понимаете, что вы наделали?! Прославили изменника Родины! Навсегда скомпрометировали интересную рубрику!

— Но мне его рекомендовал директор театра.

— Директор театра — бывший обер-лейтенант СС. Кроме того, он голубой.

— Что значит — голубой?

— Так раньше называли гомосексуалистов. Он к вам не приставал?

— Приставал, думаю. Еще как приставал. Руку мне, журналисту, подал. То-то я удивился...

Тут я вспомнил разговор с одним французом. Речь шла о гомосексуализме.

— У нас за это судят, — похвастал я.

— А за геморрой у вас не судят? — проворчал француз...

— Я вас не обвиняю, — сказал Туронок, — вы действовали как положено. То есть согласовали кандидатуру. И все-таки надо быть осмотрительнее. Выбор героя — серьезное дело, чрезвычайно серьезное...

Об этом случае говорили в редакции недели две. Затем отличился мой коллега Буш. Взял интервью у капитана торгового судна ФРГ. Это было в канун годовщины Октябрьской революции. Капитан у Буша прославляет советскую власть. Выяснилось, что он беглый эстонец. Рванул летом шестьдесят девятого года на байдарке в Финляндию. Оттуда — в Швецию. И так далее. Буш выдумал это интервью от начала до конца. Случай имел резонанс, и про меня забыли...

КОМПРОМИСС ВОСЬМОЙ

(«Советская Эстония». Июнь. 1976 г.).

«МОСКВА. КРЕМЛЬ. Л. И. БРЕЖНЕВУ. ТЕЛЕГРАММА. Дорогой и многоуважаемый Леонид Ильич! Хочу поделиться с Вами радостным событием. В истекшем году мне удалось достичь небывалых трудовых показателей. Я надоила с одной коровы рекордное число* молока.

И еще одно радостное событие произошло в моей жизни. Коммунисты нашей фермы дружно избрали меня своим членом!

Обещаю Вам, Леонид Ильич, впредь трудиться с еще большим подъемом.

ЛИНДА ПЕЙПС».

«Эстонская ССР. ПАЙДЕСКИЙ РАЙОН. ЛИНДЕ ПЕЙПС. ТЕЛЕГРАММА. Дорогая Линда Пейпс! Я и мои товарищи от всего сердца благодарят Вас за достигнутые успехи. Самоотверженный труд на благо Родины возвышает человеческую жизнь ощущением причастности к борьбе за достижение коммунистических идеалов.

Разрешите также от души поздравить Вас с незабываемым событием — вступлением в ряды коммунистической партии. Ведь партия — авангард советского общества, его славный передовой отряд.

ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ».

У редактора Туронка лопнули штаны на заднице. Они лопнули без напряжения и треска, скорее — разошлись по шву. Таково негативное свойство импортной мягкой фланели.

Около двенадцати Туронок подошел к стойке учрежденческого бара. Люминесцентная голубизна редакторских

* Здесь и в дальнейшем — явные стилистические погрешности.

кальсон явилась достоянием всех холуев, угодливо пропустивших его без очереди.

Сотрудники начали переглядываться.

Я рассказываю эту историю так подробно в силу двух обстоятельств. Во-первых, любое унижение начальства — большая радость для меня. Второе. Прореха на брюках Туронка имела определенное значение в моей судьбе...

Но вернемся к эпизоду у стойки.

Сотрудники начали переглядываться. Кто злорадно, кто сочувственно. Злорадствующие — искренне, сочувствующие — лицемерно. И тут, как всегда, появляется главный холуй, бескорыстный и вдохновенный. Холуй этот до того обожает начальство, что путает его с родиной, эпохой, мирозданием...

Короче, появился Эдик Вагин.

В любой газетной редакции есть человек, который не хочет, не может и не должен писать. И не пишет годами. Все к этому привыкли и не удивляются. Тем более что журналисты, подобные Вагину, неизменно утомлены и лихорадочно озабочены. Остряк Шаблинский называл это состояние — «вагинальным»...

Вагин постоянно спешил, здоровался отрывисто и нервно. Сперва я простодушно думал, что он — алкоголик. Есть среди бесчисленных модификаций похмелья и такая разновидность. Этакое мучительное бегство от дневного света. Вибрирующая подвижность беглеца, настигаемого муками совести...

Затем я узнал, что Вагин не пьет. А если человек не пьет и не работает — тут есть о чем задуматься.

— Таинственный человек, — говорил я.

— Вагин — стукач, — объяснил мне Быковер, — что в этом таинственного?

...Контора размещалась тогда на улице Пикк. Строго напротив здания госбезопасности (ул. Пагари, 1). Вагин бывал там ежедневно. Или почти ежедневно. Мы видели из окон, как он переходит улицу.

— У Вагина — сверхурочные! — орал Шаблинский...

Впрочем, мы снова отвлеклись.

...Сотрудники начали переглядываться. Вагин мягко тронул редактора за плечо:

— Шеф... Непорядок в одежде...

И тут редактор сплеховал. Он поспешно схватился обеими руками за ширинку. Вернее... Ну, короче, за это место... Прodelал то, что музыканты называют глиссандо. (Легкий пробег вдоль клавиатуры.) Убедился, что граница на замке. Побагровел:

— Найдите вашему юмору лучшее применение.

Развернулся и вышел, обдав подчиненных неоновым сиянием исподнего.

Затем состоялся короткий и весьма таинственный диалог.

К обескураженному Вагину подошел Шаблинский.

— Зря вылез, — сказал он, — так удобнее...

— Кому удобнее? — покосился Вагин.

— Тебе, естественно...

— Что удобнее?

— Да это самое...

— Нет, что удобнее?

— А то...

— Нет, что удобнее? Что удобнее? — раскричался Вагин. — Пусть скажет!

— Иди ты на хер! — помолчав, сказал Шаблинский.

— То-то же! — восторжествовал стукач...

Вагин был заурядный, неловкий стукач без размаха...

Не успел я его пожалеть, как меня вызвал редактор. Я немного встревожился. Только что подготовил материал на двести строк. Называется — «Папа выше солнца». О выставке детских рисунков. Чего ему надо, спрашивается? Да еще злополучная прореха на штанах. Может, редактор думает, что это я подстроил. Ведь был же подобный случай. Я готовил развернутую информацию о выставке декоративных собак. Редактор, любитель животных, приехал на казенной машине — взглянуть. И тут началась гроза. Туронок расстроился и говорит:

— С вами невозможно дело иметь...

— То есть как это?

— Вечно какие-то непредвиденные обстоятельства...

Как будто я — Зевс и нарочно подстроил грозу.

...Захожу в кабинет. Редактор прогуливается между гипсовым Лениным и стереоустановкой «Эстония».

Изображение Ленина — обязательная принадлежность всякого номенклатурного кабинета. Я знал единственное исключение, да и то частичное. У меня был приятель Авдеев. Ответственный секретарь молодежной газеты. У него был отец, провинциальный актер из Луганска. Годами играл Ленина в своем драмтеатре. Так Авдеев ловко вышел из положения. Укрепил над столом громадный фотоснимок — папа в роли Ильича. Вроде не придраться — как бы и Ленин, а все-таки — папа...

...Туронок все шагал между бюстом и радиолой. Вижу — прореха на месте. Если можно так выразиться... Если у порога существует законное место...

Наконец редактор приступил:

— Знаете, Довлатов, у вас есть перо!

Молчу, от похвалы не розовею...

— Есть умение видеть, подмечать... Будем откровенны, культурный уровень русских журналистов в Эстонии, что называется, оставляет желать лучшего. Темпы идейного роста значительно, я бы сказал, опережают темпы культурного роста. Вспомните минувший актив. Кленский не знает, что такое синоним. Толстиков в передовой, заметьте, указывает: «...Коммунисты фабрики должны в ближайшие месяцы ликвидировать это недопустимое статус-кво...» Репецкий озаглавил сельскохозяйственную передовицу: «Яйца на экспорт!»... Как вам это нравится?

— Несколько интимно...

— Короче. Вы обладаете эрудицией, чувством юмора. У вас оригинальный стиль. Не хватает какой-то внутренней собранности, дисциплины... В общем, пора браться за дело. Выходить, как говорится, на простор большой журналистики. Тут есть одно любопытное соображение. Из Пайдеского района сообщают... Некая Пейпс дала рекордное количество молока...

— Пейпс — это корова?

— Пейпс — это доярка. Более того, депутат республиканского Совета. У нее рекордные показатели. Может быть, двести литров, а может быть, две тысячи... Короче — много. Уточните в райкоме. Мы продумали следующую операцию. Доярка обращается с рапортом к товарищу Брежневу. Товарищ Брежнев ей отвечает, это будет согласовано. Нужно составить письмо товарищу Брежневу. Принять участие в церемониях. Отразить их в печати...

— Это же по сельскохозяйственному отделу.

— Поедете спецкором. Такое задание мы не можем доверить любому. Привычные газетные штампы здесь неуместны. Человечинка нужна, вы понимаете? В общем, надо действовать. Получите командировочные, и с Богом... Мы дадим телеграмму в райком... И еще. Учтите такое соображение. Подводя итоги редакционного конкурса, жюри будет отдавать предпочтение социально значимым материалам.

— То есть?

— То есть материалам, имеющим общественное значение.

— Разве не все газетные материалы имеют общественное значение?

Турунок поглядел на меня с едва заметным раздражением.

— В какой-то мере — да. Но это может проявляться в большей или меньшей степени.

— Говорят, за исполнение роли Ленина платят больше, чем за Отелло?..

— Возможно. И убежден, что это справедливо. Ведь актер берет на себя громадную ответственность...

...На протяжении всего разговора я испытывал странное ощущение. Что-то в редакторе казалось мне необычным. И тут я осознал, что дело в прорехе. Она как бы уравнила нас. Устранила его номенклатурное превосходство. Поставила на одну доску. Я убедился, что мы похожи. Завербованные немолодые люди в одинаковых (я должен раскрыть эту маленькую тайну) голубых кальсонах. Я впервые испытал симпатию к Туронку. Я сказал:

— Генрих Францевич, у вас штаны порвались сзади.

Туронк спокойно подошел к огромному зеркалу, нагнулся, убедился и говорит:

— Голубчик, сделай одолжение... Я дам нитки... У меня в сейфе... Не в службу, а в дружбу... Так, на скорую руку... Не обращаться же мне к Плюхиной...

Валя была редакционной секс-примой. С заученными, как у оперной певицы, фиоритурами в голосе. И с идиотской привычкой кусаться... Впрочем, мы снова отвлеклись...

— ...Не к Плюхиной же обращаться, — сказал редактор. Вот оно, думаю, твое подсознание.

— Сделайте, голубчик.

— В смысле — зашить?

— На скорую руку.

— Вообще-то я не умею...

— Да как сумеете.

Короче, зашил я ему брюки. Чего уж там...

Заглянул в лабораторию к Жбанкову.

— Собирайся, — говорю, — пошли.

— Момент, — оживился Жбанков, — иду. Только у меня всего сорок копеек. И Жора должен семьдесят...

— Да я не об этом. Работа есть.

— Работа? — протянул Жбанков.

— Тебе что, деньги не нужны?

— Нужны. Рубля четыре до аванса.

— Редактор предлагает командировку на три дня.

— Куда?

— В Пайде.

— О, воблы купим!

— Я же говорю — поехали.

Звоню по местному Туронку:

— Можно взять Жбанкова?

Редактор задумался:

— Вы и Жбанков — сочетание, прямо скажем, опасное.

Затем он что-то вспомнил и говорит:

— На вашу ответственность. И помните — задание серьезное.

...Так я пошел в гору. До этого был подобен советскому рублю. Все его любят, и падать некуда. У доллара все иначе. Забрался на такую высоту и падает, падает...

Путешествие началось оригинально. А именно — Жбанков явился на вокзал совершенно трезвый. Я даже узнал его не сразу. В костюме, печальный такой...

Сели, закурили.

— Ты молодец, — говорю, — в форме.

— Понимаешь, решил тормознуться. А то уже полный завал. Все же семья, дети... Старшему уже четыре годика. Лера была в детском саду, так заведующая его одного и хвалила. Развитый, говорит, сообразительный, энергичный, занимается онанизмом... В батьку пошел... Такой, понимаешь, клоп, а соображает...

Над головой Жбанкова звякнула корреспондентская сумка — поезд тронулся.

— Как ты думаешь, — спросил Жбанков, — буфет работает?

— У тебя же есть.

— Откуда?

— Только что звякнуло.

— А может, это химикаты?

— Рассказывай...

— Вообще, конечно, есть. Но ты подумай. Мы будем на месте в шесть утра. Захотим опохмелиться. Что делать? Все закрыто. Вакуум. Глас в пустыне...

— Нас же будет встречать секретарь райкома.

— С полбанкой, что ли? Он же не в курсе, что мы за люди.

— А кто тормознуться хотел?

— Я хотел, на время. А тут уже чуть ли не сутки проšli. Эпоха...

— Буфет-то работает, — говорю.

Мы шли по вагонам. В купейных было тихо. Бурые ковровые дорожки заглушали шаги. В общих приходилось беспрерывно извиняться, шагая через мешки, корзины с яблоками...

Раза два нас без злобы проводили матерком. Жбанков сказал:

— А выразаться, между прочим, не обязательно!

Тамбуры гудели от холодного ветра. В переходах, между тяжелыми дверьми с низкими алюминиевыми ручками, грохот усиливался.

Посетителей в ресторане было немного. У окна сидели два раскрасневшихся майора. Фуражки их лежали на столе. Один возбужденно говорил другому:

— Где линия отсчета, Витя? Необходима линия отсчета. А без линии отсчета, сам понимаешь...

Его собеседник возражал:

— Факт был? Был... А факт — он и есть факт... Перед фактом, как говорится, того...

В углу разместились еврейская семья. Красивая полная девочка заворачивала в угол скатерти чайную ложку. Мальчик постарше то и дело смотрел на часы. Мать и отец еле слышно переговаривались.

Мы расположились у стойки. Жбанков помолчал, а затем говорит:

— Серж, объясни мне, почему евреев ненавидят? Допустим, они Христа распяли. Это, конечно, зря. Но ведь сколько лет прошло... И потом, смотри. Евреи, евреи... Вагин — русский, Толстиков — русский. А они бы Христа не то что распяли. Они бы его живым съели... Вот бы куда антисемитизм направить. На Толстикова с Вагиным. Я против таких, как они, страшный антисемитизм испытываю. А ты?

— Естественно.

— Вот бы на Толстикова антисемитизмом пойти! И вообще... На всех партийных...

— Да, — говорю, — это бы неплохо... Только не кричи.

— Но притом обрати внимание... Видишь, четверо сидят, не оборачивайся... Вроде бы натурально сидят, а что-то меня бесит. Наш бы сидел в блевотине — о'кей! Те два мудозвона у окна разоряются — нормально! А эти тихо сидят, но я почему-то злюсь. Может, потому, что живут хорошо. Так ведь и я бы жил не хуже. Если бы не водяра проклятая. Между прочим, куда хозяева задевались?..

Один майор говорил другому:

— Необходима шкала ценностей, Витя. Истинная шкала ценностей. Плюс точка отсчета. А без шкалы ценностей и точки отсчета, сам посуди...

Другой по-прежнему возражал:

— Есть факт, Коля! А факт — есть факт, как его ни поворачивай. Факт — это реальность, Коля! То есть нечто фактическое...

Девочка со звоном уронила чайную ложку. Родители тихо произнесли что-то укоризненное. Мальчик взглянул на часы...

Возникла буфетчица с локонами цвета половой мастики. За ней — официант с подносом. Обслужил еврейскую семью.

— Конечно, — обиделся Жбанков, — евреи всегда первые...

Затем он подошел к стойке.

— Бутылочку водки, естественно... И чего-нибудь легонького, типа на брудершафт...

Мы чокнулись, выпили. Изредка поезд тормозил, Жбанков придерживал бутылку. Потом — вторую.

Наконец он возбудился, порозовел и стал довольно обременителен.

— Дед, — кричал он, — я же работаю с телевизором! По-

нимаешь, с телевизором! Я художник от природы! А снимаю всякое фуфло. Рожи в объектив не помещаются. Снимал тут одного. Орденов — килограммов на восемь. Блестят, отсвечивают, как против солнца... Замудохался, ты себе не представляешь! А выписали шесть рублей за снимок! Шесть рублей! Сунулись бы к Айвазовскому, мол, рисуй нам бурлаков за шестерик... Я ведь художник...

Был уже первый час. Я с трудом отвел Жбанкова в купе. С величайшим трудом уложил. Протянул ему таблетку аспирина.

— Это яд? — спросил Жбанков и заплакал.

Я лег и повернулся к стене.

Проводник разбудил нас за десять минут до остановки.

— Спице, а мы Ыхью проехали, — недовольно выговорил он.

Жбанков неподвижно и долго смотрел в пространство. Затем сказал:

— Когда проводники собираются вместе, один другому, наверное, говорит: «Все могу простить человеку. Но ежели кто спит, а мы Ыхью проезжаем — век тому не забуду...»

— Поднимайся, — говорю, — нас же будут встречать. Давай хоть рожи умоем.

— Сейчас бы чего-нибудь горячего, — размечтался Жбанков.

Я взял полотенце, достал зубную щетку и мыло. Вытащил бритву.

— Ты куда?

— Барана резать, — отвечаю, — ты же горячего хотел...

Когда я вернулся, Жбанков надевал ботинки. Завел было философский разговор: «Сколько же мы накануне выпили?..» Но я его прервал.

Мы уже подъезжали. За окном рисовался вокзальный пейзаж. Довоенное здание, плоские окна, наполненные светом часы...

Мы вышли на перрон, сырой и темный.

— Что-то я фанфар не слышу, — говорит Жбанков.

Но к нам уже спешил, призывно жестикулируя, высокий, делового облика мужчина.

— Товарищи из редакции? — улыбаясь, поинтересовался он.

Мы назвали свои фамилии.

— Милости прошу.

Около уборной (интересно, почему архитектура вокзальных сортиров так напоминает шедевры Растрелли?) дежурила машина. Рядом топтался коренастый человек в плаще.

— Секретарь райкома Лийвак, — представился он.

Тот, что нас встретил, оказался шофером. Оба говорили

почти без акцента. Наверное, происходили из волосовских эстонцев...

— Первым делом — завтракать! — объявил Лийвак. Жбанков заметно оживился.

— Так ведь закрыто, — притворно сказал он.

— Что-нибудь придумаем, — заверил секретарь райкома.

Небольшие эстонские города уютны и приветливы. Ранним утром Пайде казался совершенно вымершим, нарисованным. В сумраке дрожали голубые неоновые буквы.

— Как доехали? — спросил Лийвак.

— Отлично, — говорю.

— Устали?

— Нисколько.

— Ничего, отдохнете, позавтракаете...

Мы проехали центр с туберкулезной клиникой и желтым зданием райкома. Затем снова оказались в горизонтальном лабиринте тесных пригородных улиц. Два-три крутых поворота, и вот мы уже на шоссе. Слева — лес. Справа — плоский берег и мерцающая гладь воды.

— Куда это мы едем, — шепнул Жбанков, — может, у них там вытрезвиловка?

— Подъезжаем, — как бы угадал его мысли Лийвак, — здесь у нас что-то вроде дома отдыха. С ограниченным кругом посетителей. Для гостей...

— Вот я и говорю, — обрадовался Жбанков.

Машина затормозила возле одноэтажной постройки на берегу. Белые дощатые стены, вызывающая оскомины рифленая крыша, гараж... Из трубы, оживляя картину, лениво поднимается дым. От двери к маленькой пристани ведут цементные ступени. У причала, слегка накренившись, бежит лезвие яхты.

— Ну вот, — сказал Лийвак, — знакомьтесь.

На пороге стояла молодая женщина лет тридцати в брезентовой куртке и джинсах. У нее было живое, приветливое, чуть обезьянье лицо, темные глаза и крупные ровные зубы.

— Белла Ткаченко, — представилась она, — второй секретарь райкома комсомола.

Я назвал свою фамилию.

— Фотохудожник Жбанков Михаил, — тихо воскликнул Жбанков и щелкнул стоптанными каблуками.

— Белла Константиновна — ваша хозяйка, — ласково проговорил Лийвак, — тут и отдохнете... Две спальни, кабинет, финская баня, гостиная... Есть спортивный инвентарь, небольшая библиотека... Все предусмотрено, сами увидите...

Затем он что-то сказал по-эстонски.

Белла кивнула и позвала:

— Эви, туле синне!

Тотчас появилась раскрасневшаяся, совсем молодая девчонка в майке и шортах. Руки ее были в золе.

— Эви Саксон, — представил ее Лийвак, — корреспондент районной молодежной газеты.

Эви убрала руки за спину.

— Не буду вам мешать, — улыбнулся секретарь. — Программа в целом такова. Отдохнете, позавтракаете. К трем жду в райкоме. Отмечу ваши командировки. Познакомитесь с героиней. Дадим вам необходимые сведения. К утру материал должен быть готов. А сейчас, прошу меня извинить, дела...

Секретарь райкома бодро сбежал по крыльцу. Через секунду заработал мотор.

Возникла неловкая пауза.

— Проходите, что же вы? — спохватилась Белла.

Мы зашли в гостиную. Напротив окна мерцал камин, украшенный зеленой фаянсовой плиткой. По углам стояли глубокие низкие кресла.

Нас провели в спальню. Две широкие постели были накрыты клетчатыми верблюжьими одеялами. На тумбочке горел массивный багровый шандал, озаряя потолок колеблющимся розовым светом.

— Ваши апартаменты, — сказала Белла. — Через двадцать минут приходите завтракать.

Жбанков осторожно присел на кровать. Почему-то снял ботинки. Заговорил с испугом:

— Серж, куда это мы попали?

— А что? Просто идем в гору.

— В каком смысле?

— Получили ответственное задание.

— Ты обратил внимание, какие девки? Потрясающие девки! Я таких даже в ГУМе не видел. Тебе какая больше нравится?

— Обе ничего...

— А может, это провокация?

— То есть?

— Ты ее, понимаешь, хоп...

— Ну.

— А тебя за это дело в ментовку!

— Зачем же сразу — хоп. Отдыхай, беседуй...

— Что значит — беседуй?

— Беседа — это когда разговаривают.

— А-а, — сказал Жбанков.

Он вдруг стал на четвереньки и заглянул под кровать. Затем долго и недоверчиво разглядывал штепсельную розетку.

— Ты чего? — спрашиваю.

— Микрофон ищу. Тут, естественно, должен быть микрофон. Подслушивающее устройство. Мне знакомый алкаш рассказывал...

— Потом найдешь. Завтракать пора.

Мы наскоро умылись. Жбанков переделал сорочку.

— Как ты думаешь, — спросил он, — выставить полбанки?

— Не спеши, — говорю, — тут, видно, есть. К тому же сегодня надо быть в райкоме.

— Я же не говорю — упиться вдрабадан. Так, на брудершафт...

— Не спеши, — говорю.

— И еще вот что, — попросил Жбанков, — ты слишком умных разговоров не заводи. Другой раз бухнете с Шаблинским, а потом целый вечер: «Ипостась, ипостась...» Ты уж что-нибудь полегче... Типа — Сергей Есенин, армянское радио...

— Ладно, — говорю, — пошли.

Стол был накрыт в гостиной. Стандартный ассортимент распределителя ЦК: дорогая колбаса, икра, тунец, зефир в шоколаде.

Девушки переоделись в светлые кофточки и модельные туфли.

— Присаживайтесь, — сказала Белла.

Эви взяла поднос.

— Хотите выпить?

— А как же?! — сказал мой друг. — Иначе не по-христиански.

Эви принесла несколько бутылок.

— Коньяк, джин с тоником, вино, — предложила Белла.

Жбанков вдруг напрягся и говорит:

— Пардон, я этот коньяк знаю... Называется КВН.. Или НКВД...

— КВВК, — поправила Белла.

— Один черт... Цена шестнадцать двадцать... Уж лучше три бутылки водяры на эту сумму.

— Не волнуйтесь, — успокоила Белла.

А Эви спросила:

— Вы — алкоголик?

— Да, — четко ответил Жбанков, — но в меру...

Я разлил коньяк.

— За встречу, — говорю.

— За приятную встречу, — добавила Белла.

— Поехали, — сказал Жбанков.

Воцарилась тишина, заглушаемая стуком ножей и вилок.

— Расскажите что-нибудь интересное, — попросила Эви.

Жбанков закурил и начал:

— Жизнь, девчата, в сущности — калейдоскоп. Сегодня — одно, завтра — другое. Сегодня — поддаешь, а завтра, глядишь, и копыта отбросил... Помнишь, Серж, какая у нас лажа вышла с трупами?

Белла подалась вперед:

— Расскажите.

— Помер завхоз телестудии — Ильвес. А может, директор, не помню. Ну, помер и помер... И правильно, в общем-то, сделал... Хороним его как положено... Мужики с телестудии приехали. Трансляция идет... Речи, естественно... Начали прощаться. Подхожу к этому самому делу и вижу — не Ильвес... Что я, Ильвеса не знаю?.. Я его сто раз фотографировал. А в гробу лежит посторонний мужик...

— Живой? — спросила Белла.

— Почему живой? Натурально, мертвый, как положено. Только не Ильвес. Оказывается, трупы в морге перепутали...

— Чем же все это кончилось? — спросила Белла.

— Тем и кончилось. Похоронили чужого мужика. Не прерывать же трансляцию. А ночью поменяли гробы... И вообще, какая разница?! Суть одна, только разные... как бы это выразиться?

— Ипостаси, — подсказал я.

Жбанков погрозил мне кулаком.

— Кошмар, — сказала Белла.

— Еще не то бывает, — воодушевился Жбанков, — я расскажу, как один повесился... Только выпьем сначала.

Я разлил остатки коньяка. Эви прикрыла рюмку ладонью.

— Уже пьяная.

— Никаких! — сказал Жбанков.

Девушки тоже закурили. Жбанков дождался тишины и продолжал:

— А как один повесился — это чистая хохма. Мужик по-черному гудел. Жена, естественно, пилит с утра до ночи. И вот он решил повеситься. Не совсем, а фиктивно. Короче — завернуть поганку. Жена пошла на работу. А он подтяжками за люстру уцепился и висит. Слышит — шаги. Жена с работы возвращается. Мужик глаза закатил. Для понта, естественно. А это была не жена. Соседка лет восьмидесяти, по делу. Заходит — висит мужик...

— Ужас, — сказала Белла.

— Старуха железная оказалась. Не то что в обморок... Подошла к мужику, стала карманы шмонать. А ему-то щекотно. Он и засмеялся. Тут старуха — раз и выключилась. И с концами. А он висит. Отцепиться не может. Приходит жена. Видит — такое дело. Бабка с концами и муж повесивши. Жена берет трубку, звонит: «Вася, у меня дома — тыща

и одна ночь... Зато я теперь свободна. Приезжай...»
А муж и говорит: «Я ему приеду... Я ему, пидору, глаз выколю...» Тут и жена отключилась. И тоже с концами...

— Ужас, — сказала Белла.

— Еще не такое бывает, — сказал Жбанков, — давайте выпьем!

— Баня готова, — сказала Эви.

— Это что же, раздеваться? — встревоженно спросил Жбанков, поправляя галстук.

— Естественно, — сказала Белла.

— Ногу, — говорю, — можешь отстегнуть.

— Какую ногу?

— Деревянную.

— Что? — закричал Жбанков.

Потом он нагнулся и высоко задрал обе штанины. Его могучие голубоватые икры были стянуты пестрыми немодными резинками.

— Я в футбол до сих пор играю, — не унимался Жбанков. — У нас там пустырь... Малолетки тренируются... Выйдешь, бывало, с похмелюги...

— Баня готова, — сказала Эви.

Мы оказались в предбаннике. На стенах висели экзотические плакаты. Девушки исчезли за ширмой.

— Ну, Серж, понеслась душа в рай! — бормотал Жбанков.

Он разделся быстро, по-солдатски. Остался в просторных сатиновых трусах. На груди его синела пороховая татуировка. Бутылка с рюмкой, женский профиль и червовый туз. А посредине — надпись славянской вязью: «Вот, что меня сгубило!»

— Пошли, — говорю.

В тесной, стилизованной под избу коробке было нестерпимо жарко. Термометр показывал девяносто градусов. Раскаленные доски пришлось окатить холодной водой.

На девушках были яркие современные купальники, по две узеньких волнующих тряпицы.

— Правила знаете? — улыбнулась Белла. — Металлические вещи нужно снять. Может быть ожог...

— Какие вещи? — спросил Жбанков.

— Шпильки, заколки, булавки...

— А зубы? — спросил Жбанков.

— Зубы можно оставить, — улыбнулась Белла и добавила: — Расскажите еще что-нибудь.

— Это — в момент. Я расскажу, как один свадьбу в дерьме утопил...

Девушки испуганно притихли.

— Дружок мой на ассенизационном грузовике работал. Выгробал это самое дело. И была у него подруга, шибко гра-

мوتная. «Запах, — говорит, — от тебя нехороший». А он-то что может поделаться? «Зато, — говорит, — платят нормально». «Шел бы в такси», — она ему говорит. «А какие там заработки? С воробьиный пуп?»... Год проходит. Нашла она себе друга. Без запаха. А моему дружку говорит: «Все. Разлюбила. Кранты...» Он, конечно, переживает. А у тех — свадьба. Наняли общественную столовую, пьют, гуляют... Дело к ночи... Тут мой дружок разворачивается на своем говновозе, пардон... Форточку открыл, шланг туда засунул и врубил насос... А у него в цистерне тонны четыре этого самого добра... Гостям в аккурат по колено. Шум, крики, вот тебе и «Горько!»... Милиция приехала... Общественную столовую активировать пришлось. А дружок мой получил законный семерик... Такие дела...

Девушки сидели притихшие и несколько обескураженные. Я невыносимо страдал от жары. Жбанков пребывал на вершине блаженства.

Мне все это стало надоедать. Алкоголь постепенно испарился. Я заметил, что Эви поглядывает на меня. Не то с испугом, не то с уважением. Жбанков что-то горячо шептал Белле Константиновне.

— Давно в газете? — спрашиваю.

— Давно, — сказала Эви, — четыре месяца.

— Нравится?

— Да, очень нравится.

— А раньше?

— Что?

— Где ты до этого работала?

— Я не работала. Училась в школе.

У нее был детский рот и пушистая челка. Высказывалась она поспешно, добросовестно, слегка задыхаясь. Говорила с шершавым эстонским акцентом. Иногда чуть коверкала русские слова.

— Чего тебя в газету потянуло?

— А что?

— Много врать приходится.

— Нет. Я делаю корректуру. Сама еще не пишу. Писала статью, говорят — нехорошо...

— О чем?

— О сексе.

— О чем?!

— О сексе. Это важная тема. Надо специальные журналы и книги. Люди все равно делают секс, только много неправильное...

— А ты знаешь, как правильно?

— Да. Я ходила замуж.

— Где же твой муж?

— Утонул. Выпил коньяк и утонул. Он изучался в Тарту по химии.

— Прости, — говорю.

— Я читала много твои статьи. Очень много смешное. И очень часто многоточки... Сплошные многоточки... Я бы хотела работать в Таллинне. Здесь очень маленькая газета...

— Это еще впереди.

— Я знаю, что ты сказал про газету. Многие пишут не то самое, что есть. Я так не люблю.

— А что ты любишь?

— Я люблю стихи, люблю битлз... Сказать, что еще?

— Скажи.

— Я немного люблю тебя.

Мне показалось, что я ослышался. Чересчур это было неожиданно. Вот уж не думал, что меня так легко смутить...

— Ты очень красивый!

— В каком смысле?

— Ты — копия Омар Шариф.

— Кто такой Омар Шариф?

— О, Шариф! Это — прима!..

Жбанков неожиданно встал. Потянул на себя дверь. Неуклюже и стремительно ринулся по цементной лестнице к воде. На секунду замер. Взмахнул руками. Произвел звериный, неприличный вопль и рухнул...

Поднялся фонтан муаровых брызг. Со дна потревоженной реки всплыли какие-то банки, коряги и мусор.

Секунды три его не было видно. Затем вынырнула черная непутевая голова с безумными, как у месячного щенка, глазами. Жбанков, шатаясь, выбрался на берег. Его худые чресла были скульптурно облеплены длинными армейскими трусами.

Дважды обежав вокруг коттеджа с песней «Любо, братцы, любо!», Жбанков уселся на полку и закурил.

— Ну как? — спросила Белла.

— Нормально, — ответил фотограф, гулко хлопнув себя резинкой по животу.

— А вы? — спросила Белла, обращаясь ко мне.

— Предпочитаю душ.

В соседнем помещении имелась душевая кабина. Я умылся и стал одеваться.

«Семнадцатилетняя провинциальная дурочка, — твердил я, — выпила три рюмки коньяка и ошалела...»

Я пошел в гостиную, налил себе джина с тоником.

Снаружи доносились крики и плеск воды.

Скоро появилась Эви, раскрасневшаяся, в мокром купальнике.

— Ты злой на меня?

— Нисколько.

— Я вижу... Дай я тебя поцелую...

Тут я снова растерялся. И это при моем жизненном опыте...

— Нехорошую игру ты затеяла, — говорю.

— Я тебя не обманываю.

— Но мы завтра уезжаем.

— Ты будешь снова приходиться...

Я шагнул к ней. Попробуйте оставаться благоразумным, если рядом семнадцатилетняя девчонка, которая только что вылезла из моря. Вернее, из реки...

— Ну, что ты? Что ты? — спрашиваю.

— Так всегда целуется Джуди Гарланд, — сказала Эви. — И еще она делает так...

Поразительно устроен человек! Или я один такой?! Знаешь, что вранье, примитивное райкомовское вранье, и липа, да еще с голливудским налетом — все знаешь и счастлив, как мальчишка...

У Эви были острые лопатки, а позвоночник из холодных морских камешков... Она тихо вскрикивала и дрожала... Хрупкая пестрая бабочка в неплотном сжатом кулаке...

Тут раздалось оглушительное:

— Пардон!

В дверях маячил Жбанков. Я отпустил Эви.

Он поставил на стол бутылку водки. Очевидно, пустил в ход свой резерв.

— Уже первый час, — сказал я, — нас ждут в райкоме.

— Какой ты сознательный, — усмехнулся Жбанков.

Эви пошла одеваться. Белла Константиновна тоже переделась. Теперь на ней был строгий, отчетно-перевыборный костюмчик.

И тут я подумал: ох, если бы не этот райком, не эта взбесившаяся корова!.. Жить бы тут и никаких ответственных заданий... Яхта, речка, молодые барышни... Пусть лгут, кокетничают, изображают уцененных голливудских звезд... Какое это счастье — женское притворство!.. Да, может, я ради таких вещей на свет произошел!.. Мне тридцать четыре года, и ни одного, ни единого беззаботного дня... Хотя бы день пожить без мыслей, без забот и без тоски... Нет, собирайся в райком... Это где часы, портреты, коридоры, бесконечная игра в серьезность...

— Люди! У меня открылось второе дыхание! — заявил Жбанков.

Я разлил водку. Себе — полный фужер. Эви коснулась моего рукава:

— Теперь не выпей... Потом...

— А, ладно!

— Тебя ждет Лийвак.

— Все будет хорошо.

— Что значит — будет? — рассердился Жбанков. — Все уже хорошо! У меня открылось второе дыхание! Поехали! Белла включила приемник. Низкий баритон выкрикивал что-то мучительно актуальное:

Истины нет в этом мире бушующем,
Есть только миг, за него и держись...
Есть только свет между прошлым и будущим,
Именно он называется — жизнь!

Мы пили снова и снова. Эви сидела на полу возле моего кресла. Жбанков разглагольствовал, то и дело отлучаясь в уборную. Каждый раз он изысканно вопрошал: «Могу ли я ознакомиться с планировкой?» Неизменно добавляя: «В смысле — отлить...»

И вдруг я понял, что упустил момент, когда нужно было остановиться. Появились обманчивая легкость и кураж. Возникло ощущение силы и безнаказанности.

— В гробу я видел этот райком! Мишка, наливай!

Тут инициативу взяла Белла Константиновна:

— Мальчики, отделаемся, а потом... Я вызову машину. И ушла звонить по телефону.

Я сунул голову под кран. Эви вытащила пудреницу и говорит:

— Не можно смотреть.

Через двадцать минут наше такси подъехало к зданию райкома. Жбанков всю дорогу пел:

Не хочу с тобою говорить,
Не пори ты, Маня, ахинею...
Лучше я уйду к ребятам пить,
Эх, у ребят есть мысли поважнее...

Вероятно, таинственная Маня олицетворяла райком и партийные сферы...

Эви гладила мою руку и шептала с акцентом волнующие непристойности. Белла Константиновна выглядела строго.

Она повела нас широкими райкомовскими коридорами. С ней то и дело здоровались.

На первом этаже возвышался бронзовый Ленин. На втором — тоже бронзовый Ленин, поменьше. На третьем — Карл Маркс с похоронным венком бороды.

— Интересно, кто на четвертом дежурит? — спросил, ухмыляясь, Жбанков.

Там снова оказался Ленин, но уже из гипса...

— Подождите минутку, — сказала Белла Константиновна.

Мы сели. Жбанков погрузился в глубокое кресло. Ноги его в изношенных скороходовских ботинках достигали центра приемной залы. Эви несколько умерила свой пыл. Уж чересчур ее призывы шли вразрез с материалами наглядной агитации.

Белла приоткрыла дверь:

— Заходите.

Лийвак говорил по телефону. Свободная рука его призывно и ободряюще жестикулировала.

Наконец он повесил трубку.

— Отдохнули?

— Лично я — да, — веско сказал Жбанков. — У меня открылось второе дыхание...

— Вот и отлично. Поедете на ферму.

— Это еще зачем?! — воскликнул Жбанков. — Ах, да...

— Вот данные относительно Линды Пейпс... Трудовые показатели... Краткая биография... Свидетельства о поощрениях... Где ваши командировочные? Штампы поставите внизу... Теперь, если вечер свободный, можно куда-то пойти... Драмтеатр, правда на эстонском языке, Сад отдыха... В «Интуристе» бар до часу ночи... Белла Константиновна, организуйте товарищам маленькую экскурсию...

— Можно откровенно? — Жбанков поднял руку.

— Прошу вас, — кивнул Лийвак.

— Здесь же все свои.

— Ну, разумеется.

— Так уж я начистоту, по-флотски?

— Слушаю.

Жбанков шагнул вперед, конспиративно понизил голос:

— Вот бы на кир перевести!

— То есть? — не понял Лийвак.

— Вот бы, говорю, на кир перевести!

Лийвак растерянно поглядел на меня. Я потянул Жбанкова за рукав. Тот шагнул в сторону и продолжал:

— В смысле — энное количество водяры заместо драмтеатра! Я, конечно, дико извиняюсь...

Изумленный Лийвак повернулся к Белле. Белла Константиновна резко отчеканила:

— Товарищ Жбанков и товарищ Довлатов обеспечены всем необходимым.

— Очень много вина, — простодушно добавила Эви.

— Что значит — много?! — возразил Жбанков. — Много — понятие относительное.

— Белла Константиновна, позаботьтесь, — распорядился секретарь.

— Вот это — по-флотски, — обрадовался Жбанков, — это — по-нашему!

Я решил вмешаться.

— Все ясно, — говорю, — данные у меня. Товарищ Жбанков сделает фотографии. Материал будет готов к десяти часам утра.

— Учтите, письмо должно быть личным...

Я кивнул.

— Но при этом его будет читать вся страна.

Я снова кивнул.

— Это должен быть рапорт...

Я кивнул в третий раз.

— Но рапорт самому близкому человеку...

Еще один кивок. Лийвак стоял рядом, я боялся обдать его винными парами. Кажется, все-таки обдал...

— И не увлекайтесь, товарищи, — попросил он, — не увлекайтесь. Дело очень серьезное. Так что в меру...

— Хотите, я вас с Довлатовым запечатлею? — неожиданно предложил Жбанков. — Мужики вы оба колоритные...

— Если можно, в следующий раз, — нетерпеливо отозвался Лийвак, — мы же завтра увидимся.

— Ладно, — согласился Жбанков, — тогда я вас запечатлею в более приличной обстановке...

Лийвак промолчал...

...Внизу нас ждала машина с утренним шофером.

— На ферму заедем, и все, — сказала Белла.

— Далеко это? — спрашиваю.

— Минут десять, — ответил шофер, — тут все близко.

— Хорошо бы по дороге врезку сделать, — шепнул Жбанков, — горячее на исходе.

И затем, обращаясь к водителю:

— Шеф, тормозни возле первого гастронома. Да смотри не продай!

— Мне-то какое дело, — обиделся шофер, — я сам вчера того.

— Так, может, за компанию?

— Я на работе... У меня дома приготовлено...

— Ладно. Дело хозяйское. Емкость у тебя найдется?

— А как же?!

Машина остановилась возле сельмага. У прилавка толпился народ. Жбанков, вытянув кулак с шестью рублями, энергично прокладывал себе дорогу.

— На самолет опаздываю, мужики... Такси, понимаешь, ждет... Ребенок болен... Жена, сука, рожает...

Через минуту он выплыл с двумя бутылками кагора.

Водитель протянул ему мутный стакан.

— Ну, за все о'кей!

— Наливай, — говорю, — и мне. Чего уж там!

— А кто будет фотографировать? — спросила Эви.

— Мишка все сделает. Работник он хороший.

И действительно, работал Жбанков превосходно. Сколько бы ни выпил. Хотя аппаратура у него была самая примитивная. Фотокорам раздали японские камеры, стоимостью чуть ли не пять тысяч. Жбанкову японской камеры не досталось. «Все равно пропьет», — заявил редактор. Жбанков фотографировал аппаратом «Смена» за девять рублей. Носил

его в кармане, футляр был потерян. Проявитель использовал неделями. В нем плавали окурки. Фотографии же выходили четкие, непринужденные, по-газетному контрастные. Видно, было у него какое-то особое дарование...

Наконец мы подъехали к зданию дирекции, увешанному бесчисленными стендами. Над воротами алел транспарант: «Кость — ценное промышленное сырье!» У крыльца толпилось несколько человек. Водитель что-то спросил по-эстонски. Нам показали дорогу...

Коровник представлял собой довольно унылое низкое здание. Над входом горела пыльная лампочка, освещающая загаженные ступени.

Белла Константиновна, Жбанков и я вышли из машины. Водитель курил. Эви дремала на заднем сиденье.

Неожиданно появился хромой человек с кожаной офицерской сумкой.

— Главный агроном Савкин, — назвался он, — проходите.

Мы вошли. За дощатыми перегородками топтались коровы. Позвякивали колокольчики, раздавались тягостные вздохи и уютный шорох сена. Вялые животные томно оглядывали нас.

...Есть что-то жалкое в корове, приниженное и отталкивающее. В ее покорной безотказности, обжорстве и равнодушии. Хотя, казалось бы, и габариты, и рога... Обыкновенная курица и та выглядит более независимо. А эта — чемодан, набитый говядиной и отрубями... Впрочем, я их совсем не знаю...

— Проходите, проходите...

Мы оказались в тесной комнатке. Пахло кислым молоком и навозом. Стол был покрыт голубой клеенкой. На перекрученном шнуре свисала лампа. Вдоль стен желтели фанерные ящики для одежды. В углу поблескивал доильный агрегат.

Навстречу поднялась средних лет женщина в зеленой кофте. На пологой груди ее мерцали ордена и значки.

— Линда Пейпс! — воскликнул Савкин.

Мы поздоровались.

— Я ухожу, — сказал главный агроном, — если что, звоните по местному — два, два, шесть...

Мы с трудом разместились. Жбанков достал из кармана фотоаппарат.

Линда Пейпс казалась немного растерянной.

— Она говорит только по-эстонски, — сказала Белла.

— Это не важно.

— Я переведу.

— Спроси ее чего-нибудь для понта, — шепнул мне Жбанков.

— Вот ты и спроси, — говорю.

Жбанков наклонился к Линде Пейпс и мрачно спросил:

— Который час?

— Переведите, — оттеснил я его, — как Линда добилась таких высоких результатов?

Белла перевела.

Доярка что-то испуганно прошептала.

— Записывайте, — сказала Белла, — Коммунистическая партия и ее ленинский Центральный Комитет...

— Все ясно, — говорю, — узнайте, состоит ли она в партии?

— Состоит, — ответила Белла.

— Давно?

— Со вчерашнего дня.

— Момент, — сказал Жбанков, наводя фотоаппарат.

Линда замерла, устремив глаза в пространство.

— Порядок, — сказал Жбанков, — шестерик в кармане.

— А корова? — удивилась Белла.

— Что — корова?

— По-моему, их нужно сфотографировать рядом.

— Корова здесь не поместится, — разъяснил Жбанков, — а там освещение хреновое.

— Как же быть?

Жбанков засунул аппарат в карман.

— Коров в редакции навалом, — сказал он.

— То есть? — удивилась Белла.

— Я говорю, в архиве коров сколько угодно. Вырежу твою Линду и подклею.

Я тронул Беллу за рукав:

— Узнайте, семья большая?

Она заговорила по-эстонски. Через минуту перевела:

— Семья большая, трое детей. Старшая дочь кончает школу. Младшему сыну — четыре годика.

— А муж? — спрашиваю.

Белла понизила голос:

— Не записывайте... Муж их бросил.

— Наш человек! — почему-то обрадовался Жбанков.

— Ладно, — говорю, — пошли...

Мы попрощались. Линда проводила нас чутьочку разочарованным взглядом. Ее старательно уложенные волосы поблескивали от лака.

Мы вышли на улицу. Шофер успел развернуться. Эви в замшевой курточке стояла у радиатора.

Жбанков вдруг слегка помешался.

— Кыйк, — заорал он по-эстонски, — все! Вперед, товарищи! К новым рубежам! К новым свершениям!

Через полчаса мы были у реки. Шофер сдержанно про-

стился и уехал. Белла Константиновна подписала его наряд.

Вечер был теплый и ясный. За рекой багровел меркнущий край неба. На воде дрожали розовые блики.

В дом идти не хотелось. Мы спустились на пристань. Некоторое время молчали. Затем Эви спросила меня:

— Почему ты ехал в Эстонию?

Что я мог ответить? Объяснить, что нет у меня дома, родины, пристанища, жилья?.. Что я всегда искал эту тихую пристань?.. Что я прошу у жизни одного — сидеть вот так, молчать, не думать?..

— Снабжение, — говорю, — у вас хорошее. Ночные бары...

— А вы? — Белла повернулась к Жбанкову...

— Я тут воевал, — сказал Жбанков, — ну и остался... Короче — оккупант...

— Сколько же вам лет?

— Не так уж много, сорок пять. Я самый конец войны застал, мальчишкой. Был вестовым у полковника Адера... Ранило меня...

— Расскажите, — попросила Белла, — вы так хорошо рассказываете.

— Что тут рассказывать? Долбануло осколком, и вся любовь... Ну что, пошли?

В доме зазвонил телефон.

— Минутку, — воскликнула Белла, на ходу доставая ключи.

Она скоро вернулась.

— Юхан Оскарович просит вас к телефону.

— Кто? — спрашиваю.

— Лийвак...

Мы зашли в дом. Щелкнул выключатель — окна стали темными. Я поднял трубку.

— Мы получили ответ, — сказал Лийвак.

— От кого? — не понял я.

— От товарища Брежнева.

— То есть как? Ведь письмо еще не отправлено.

— Ну и что? Значит, референты Брежнева чуточку оперативнее вас... нас, — деликатно поправился Лийвак.

— Что же пишет товарищ Брежнев?

— Поздравляет... Благодарит за достигнутые успехи... Желает личного счастья...

— Как быть? — спрашиваю. — Рапорт писать или нет?

— Обязательно. Это же документ. Надеюсь, канцелярия товарища Брежнева оформит его задним числом.

— Все будет готово к утру.

— Жду вас...

...Девушки принялись возрождать закуску. Жбанков и я уединились в спальне.

— Мишка, — говорю, — у тебя нет ощущения, что все это происходит с другими людьми... Что это не ты... И не я... Что это какой-то идиотский спектакль... А ты просто зритель...

— Знаешь, что я тебе скажу, — отозвался Жбанков, — не думай. Не думай, и все. Я уже лет пятнадцать не думаю. А будешь думать — жить не захочется. Все, кто думает, несчастные...

— А ты счастливый?

— Я-то? Да я хоть сейчас в петлю! Я боли страшусь в последнюю минуту. Вот если бы заснуть и не проснуться...

— Что же делать?

— Вдруг это такая боль, что и перенести нельзя...

— Что же делать?

— Не думать. Водку пить.

Жбанков достал бутылку.

— Я, кажется, напьюсь, — говорю.

— А то нет! — подмигнул Жбанков. — Хочешь из горла?

— Там же есть стакан.

— Кайф не тот.

Мы по очереди выпили. Закусить было нечем. Я с удовольствием ощущал, как надвигается пьяный дурман. Контуры жизни становились менее отчетливыми и резкими...

Чтобы воспроизвести дальнейшие события, требуется известное напряжение.

Помню, была восстановлена дефицитная райкомовская закуска. Впрочем, появилась кабачковая икра — свидетельство упадка. Да и выпивка пошла разрядом ниже — заветная Мишкина бутылка, югославская «Сливовица», кагор...

На десятой минуте Жбанков закричал, угрожающе приподнимаясь:

— Я художник, понял! Художник! Я жену Хрущева фотографировал! Самого Жискара, блядь, д'Эстена! У меня при доме инвалидов выставка была! А ты говоришь — корова!..

— Дурень ты мой, дурень, — любовалась им Белла, — пойдем, киса, я тебя спать уложу...

— Ты очень грустный, — сказала мне Эви, — что-нибудь есть плохое?

— Все, — говорю, — прекрасно! Нормальная собачья жизнь...

— Надо меньше думать. Радоваться то хорошее, что есть.

— Вот и Мишка говорит — пей!

— Пей уже хватит. Мы сейчас пойдем. Я буду тебе понравиться...

— Что несложно, — говорю.

— Ты очень красивый.

— Старая песня, а как хорошо звучит!

Я налил себе полный фужер. Нужно ведь как-то закончить этот идиотский день. Сколько их еще впереди?..

Эви села на пол возле моего кресла.

— Ты непохожий, как другие, — сказала она. — У тебя хорошая карьера. Ты красивый. Но часто грустный. Почему?

— Потому что жизнь одна, другой не будет.

— Ты не думай. Иногда лучше быть глупым.

— Поздно, — говорю, — лучше выпить.

— Только не будь грустный.

— С этим покончено. Я иду в гору. Получил ответственное задание. Выхожу на просторы большой журналистики...

— У тебя есть машина?

— Ты спроси, есть ли у меня целые носки.

— Я так хочу машину.

— Будет. Разбогатею — купим.

Я выпил и снова налил. Белла тащила Жбанкова в спальню. Ноги его волочились, как два увядших гладиолуса.

— И мы пойдем, — сказала Эви, — ты уже засыпаешь.

— Сейчас.

Я выпил и снова налил.

— Пойдем.

— Вот уеду завтра, найдешь какого-нибудь с машиной.

Эви задумалась, положив голову мне на колени.

— Когда буду снова жениться, только с евреем, — заявила она.

— Это почему же? Думаешь, все евреи — богачи?

— Я тебе объясню. Евреи делают обрезание...

— Ну.

— Остальные не делают.

— Вот сволочи!

— Не смейся. Это важная проблема. Когда нет обрезания, получается смегма...

— Что?

— Смегма. Это нехорошие вещества... канцерогены. Вон там, хочешь, я тебе показываю?

— Нет уж, лучше заочно...

— Когда есть обрезание, смегма не получается. И тогда не бывает рак шейки матки. Знаешь шейку матки?

— Ну, допустим... Ориентировочно...

— Статистика показывает, когда нет обрезания, чаще рак шейки матки. А в Израиле нет совсем...

— Чего?

— Шейки матки... Рак шейки матки... Есть рак горла, рак желудка...

— Тоже не подарок, — говорю.

— Конечно, — согласилась Эви.

Мы помолчали.

— Идем, — сказала она, — ты уже засыпаешь.

— Подожди. Надо обрезание сделать...

Я выпил полный фужер и снова налил.

— Ты очень пьяный, идем...

— Мне надо обрезание сделать. А еще лучше — отрезать эту самую шейку к чертовой матери!

— Ты очень пьяный. И злой на меня.

— Я не злой. Мы — люди разных поколений. Мое поколение — дрянь! А твое — это уже нечто фантастическое!

— Почему ты злой?

— Потому что жизнь одна. Прошла секунда, и конец. Другой не будет...

— Уже час ночи, — сказала Эви.

Я выпил и снова налил. И сразу же куда-то провалился. Возникло ощущение, как будто я — на дне аквариума. Все раскачивалось, уплывало, мерцали какие-то светящиеся блики... Потом все исчезло...

...Проснулся я от стука. Вошел Жбанков. На нем был спортивный халат.

Я лежал поперек кровати. Жбанков сел рядом.

— Ну как? — спросил он.

— Не спрашивай.

— Когда я буду стариком, — объявил Жбанков, — напишу завещание внукам и правнукам. Вернее, инструкцию. Это будет одна-единственная фраза. Знаешь какая?

— Ну?

— Это будет одна-единственная фраза: «Не занимайтесь любовью с похмелья!» И три восклицательных знака.

— Худо мне. Совсем худо.

— И подлечиться нечем. Ты же все и оприходовал.

— А где наши дамы?

— Готовят завтрак. Надо вставать, Лийвак ждет...

Жбанков пошел одеваться. Я сунул голову под кран. Потом сел за машинку. Через пять минут текст был готов.

«Дорогой и многоуважаемый Леонид Ильич! Хочу поделиться с Вами радостным событием. В истекшем году мне удалось достичь небывалых трудовых показателей. Я надоила с одной коровы...» («...с одной коровы» я написал умышленно. В этом обороте звучала жизненная достоверность и трогательное крестьянское простодушие).

Конец был такой:

«...И еще одно радостное событие произошло в моей жизни. Коммунисты нашей фермы дружно избрали меня своим членом!»

Тут уже явно хромала стилистика. Переделывать не было сил...

— Завтракать, — позвала Белла.

Эви нарезала хлеб. Я виновато с нею поздоровался. В ответ — радужная улыбка и задушевное: «Как ты себя чувствуешь?»

— Хуже некуда, — говорю.

Жбанков добросовестно исследовал пустые бутылки.

— Ни грамма, — засвидетельствовал он.

— Пейте кофе, — уговаривала Белла, — через минуту садимся в такси.

От кофе легче не стало. О еде невозможно было и думать.

— Какие-то бабки еще шевелятся, — сказал Жбанков, вытаскивая мелочь!

Затем он посмотрел на Беллу Константиновну:

— Мать, добавишь полтора рубля?

Та вынула кошелек.

— Я из Таллинна вышлю, — заверил Жбанков.

— Ладно, заработал, — цинично усмехнулась Белла.

Раздался автомобильный гудок.

Мы собрали портфели, уселись в такси. Вскоре Лийвак пожимал нам руки. Текст, составленный мною, одобрил безоговорочно. Более того, произнес короткую речь:

— Я доволен, товарищи. Вы неплохо потрудились, культурно отдохнули. Рад был познакомиться. Надеюсь, эта дружба станет традиционной. Ведь партийный работник и журналист где-то, я бы сказал, — коллеги. Успехов вам на трудном идеологическом фронте. Может, есть вопросы?

— Где тут буфет? — спросил Жбанков. — Маленько подлечиться...

Лийвак нахмурился.

— Простите мне грубое русское выражение...

Он выждал укоризненную паузу.

— ...Но вы поступаете, как дети!

— Что, и пива нельзя? — спросил Жбанков.

— Вас могут увидеть, — понизил голос секретарь, — есть разные люди... Знаете, какая обстановка в райкоме...

— Ну и работенку ты выбрал, — посочувствовал ему Жбанков.

— Я по образованию — инженер, — неожиданно сказал Лийвак.

Мы помолчали. Стали прощаться. Секретарь уже перебирал какие-то бумаги.

— Машина ждет, — сказал он. — На вокзал я позвоню. Обратитесь в четвертую кассу. Скажите, от меня...

— Чао, — махнул ему рукой Жбанков.

Мы спустились вниз. Сели в машину. Бронзовый Ленин смотрел нам вслед. Девушки поехали с нами...

На перроне Жбанков и Белла отошли в сторону.

— Ты будешь приходить еще? — спросила Эви.

— Конечно.

— И я буду ехать в Таллинн. Позвоню в редакцию. Чтобы не рассердилась твоя жена.

— Нет у меня жены, — говорю, — прощай, Эви. Не сердись, пожалуйста...

— Не пей так много, — сказала Эви.

Я кивнул.

— А то не можешь делать секс.

Я шагнул к ней, обнял и поцеловал. К нам приближались Белла и Жбанков. По его жестикуляции было видно, что он нахально лжет.

Мы поднялись в купе. Девушки шли к машине, оживленно беседуя. Так и не обернулись...

— В Таллинне опохмелимся, — сказал Жбанков, — есть около шести рублей. А хочешь, я тебе приятную вещь скажу?

Жбанков подмигнул мне. Радостная, торжествующая улыбка преобразила его лицо.

— Сказать? Мне еще Жора семьдесят копеек должен!..

КОМПРОМИСС ДЕВЯТЫЙ

(«Советская Эстония». Июль. 1976 г.)

«САМАЯ ТРУДНАЯ ДИСТАНЦИЯ. Тийна Кару родилась в дружной семье, с золотой медалью окончила школу, была секретарем комитета ВЛКСМ, увлекалась спортом. Тут нужно выделить одну характерную деталь. Из многочисленных видов легкой атлетики она предпочла бег на 400 метров, а эта дистанция, по мнению специалистов, наиболее трудоемкая в спорте, требует сочетания быстроты и выносливости, взрывной силы и напряженной воли к победе. Упорство, последовательность, аскетический режим — вот факторы, которые определили биографию Тийны, ее путь к намеченной цели. Окончив школу, Тийна поступает на химическое отделение ТГУ, участвует в работе СНО, охотно выполняет комсомольские поручения. На последнем курсе она становится членом КПСС. Затем она — аспирантка института химии АН ЭССР. Как специалиста-химика Тийну интересует механизм воздействия канцерогенных веществ на организм человека. Диссертация почти готова.

Тийна Кару ставит перед собой высокие реальные цели. Верись, что она добьется успеха на своей трудной дистанции».

С Тийной Кару нас познакомили общие друзья. Интересная, неглупая женщина, молодой ученый. Подготовил о ней зарисовку. Изредка Тийна попадалась мне в разных научных компаниях. Звонит однажды:

— Ты свободен? Мне надо с тобой поговорить.

Я пришел в кафе «Райа». Заказал джина. Она сказала:

— Я четыре года замужем. До сих пор все было хорошо. Летом Руди побывал в Москве. Затем вернулся. Тут все и началось...

— ?

— Происходит что-то странное. Он хочет... Как бы тебе объяснить... Мы стали чужими...

Я напрягся и внятно спросил:

— В половом отношении?

— Именно.

— Чем же я могу помочь?

— То есть почему я к тебе обратилась? Ты единственный аморальный человек среди моих знакомых. Вот я и хочу проконсультироваться.

— Не понимаю.

— Обсудить ситуацию.

— Видишь ли, я даже с мужчинами не обсуждаю эти темы. Но у моего приятеля есть книга — «Технология секса». Я возьму, если хочешь. Только ненадолго. Это его настольная книга. Ты свободно читаешь по-русски?

— Конечно.

Принес ей «Технологию». Книга замечательная. Первую страницу открываешь, написано «Введение». Уже смешно. Один из разделов начинается так: «Любовникам с непомерно большими животами можем рекомендовать позицию — 7». Гуманный автор уделил внимание даже таким презренным существам, как любовники с большими животами...

Отдал ей книгу. Через неделю возвращает.

— Все поняла?

— Кроме одного слова — «исподволь».

Объяснил ей, что значит — исподволь.

— Теперь я хочу овладеть практическими навыками.

— Благословляю тебя, дочь моя!

— Только не с мужем. Я должна сначала потренироваться.

Подчеркиваю, все это говорилось без тени кокетства, на эстонский манер, основательно и деловито.

— Ты — аморальный человек? — спросила она.

— Не совсем.

— Значит — отказываешься?

— Тийна! — взмолился я. — Так это не делается! У нас хорошие товарищеские отношения. Нужен срок, может быть, они перейдут в другое чувство...

— Какой?

— Что — какой?

— Какой нужен срок?

— О Господи, не знаю... Месяц, два...

— Не выйдет. Я в апреле кандидатский минимум сдаю...

Познакомь меня с кем-нибудь. Желательно с брюнетом. Есть же у тебя друзья-подонки?

— Преобладают, — сказал я.

Сижу, думаю. Шаблинский, конечно, ас, но грубый. Розенштейн дачу строит, вконец обессилел. Гуляев — блондин. У Мити Кленского — триппер. Оська Чернов? Кажется, подходит. Застенчивый, пылкий брюнет. Правда, он скуповат, но это чепуха. На один раз сойдет.

Спрашиваю Чернова:

- Много у тебя было женщин?
- Тридцать шесть и четыре под вопросом.
- Что значит — под вопросом?

Оська потупился:

- Всякого рода отклонения.

Годится, думаю. Изложил ему суть дела. Оська растерялся:

— Я ее видел как-то раз. Она мне даже нравится. Но, согласишься, вот так, утилитарно...

- Что тебе стоит?

— Я все-таки мужчина.

- Вот и поспособствуй человеку.

Купил я на свои деньги бутылку рома, пригласил Осю и Тийну. Тийна мне шепнула:

— Я договорилась с подружкой. Три часа квартира в моем распоряжении.

Выпили, закурили, послушали Би-би-си. Оська пустился было в рассуждения:

— Да, жизнестойкой может быть лишь преследуемая организация...

Тийна его перебила:

- Надо идти. А то подруга вернется.

Отправились. Утром Тийна мне звонит.

- Ну как? — спрашиваю.

— Проводил меня и ушел домой.

Звоню Чернову:

- Совесть есть у тебя?

— Веришь ли, старик, не могу. Как-то не получается...

- Что ты за мужик после этого?!

Оська возмущился:

— Я имел больше женщин, чем ты съел котлет. А такой не встречал. Самое удивительное, что она мне нравится.

Пригласил их обоих снова. Выставил недопитый ром.

Ушли. Тийна звонит:

- Черт бы побрал твоего друга!

— Неужели, — говорю, — опять дезертировал?

— Ты понимаешь, сели в машину. Расплачивался Ося в темноте. Сунул шоферу десятку вместо рубля. Потом страшно расстроился. Пешком ушел домой... Я видела, что он сует десятку. Я думала, что на Кавказе это принято. Что он хочет произвести на меня впечатление. Ведь Ося — грузин?

— Ося — еврей. И вообще его настоящая фамилия — Малкиэль.

Снова ему звоню:

- Оська, будь же человеком!

— Понимаешь, была десятка, рубль и мелочь...

В третий раз их пригласил.

- Послушайте, — говорю, — я сегодня ночью в редак-

ции. А вы оставайтесь. Шнапс в холодильнике. Будут звонить — не реагируйте. Двери запереть, чтобы Оська не сбежал?

— Да не сбегу я.

Отправился в редакцию дежурить. Тийна звонит:

— Спустись на минутку.

Спустился в холл. Она достает из портфеля шоколад и бутылку виски «Лонг Джон».

— Дай, — говорит, — я тебя поцелую. Да не бойся, товарищески...

Поцеловала меня.

— Если бы знал, как я тебе благодарна!

— Оську благодари.

— Я ему десять рублей вернула. Те, что он шоферу дал.

— Какой позор!

— Ладно, он их честно заработал.

Я спрятал бутылку в карман и пошел заканчивать статью на моральную тему.

КОМПРОМИСС ДЕСЯТЫЙ

(«Вечерний Таллинн». Июль. 1976 г.)

«ОНИ МЕШАЮТ НАМ ЖИТЬ. Сегодня утром был доставлен в медвытрезвитель № 4 гражданин Э. Л. Буш, пытавшийся выдать себя за работника республиканской прессы. Э. Л. Буш оказал неповиновение служащим медвытрезвителя, выразившееся в укусах, о чем решено сообщить по месту его работы, установить которое хотя бы с приближительной точностью все еще не удалось».

Как обычно, не хватило спиртного, и, как всегда, я предвидел это заранее. А вот с закуской не было проблем. Да и быть не могло. Какие могут быть проблемы, если Севастьянову удавалось разрезать обыкновенное яблоко на шестьдесят четыре дольки?!..

Помню, дважды бегали за «Стрелецкой». Затем появились какие-то девушки из балета на льду. Шаблинский все глядел на девиц, повторяя:

— Мы растопим этот лед... Мы растопим этот лед...

Наконец подошла моя очередь бежать за водкой. Шаблинский отправился со мной. Когда мы вернулись, девушек не было.

Шаблинский сказал:

— А бабы-то умнее, чем я думал. Поели, выпили и ретировались.

— Ну и хорошо, — произнес Севастьянов, — давайте я картошки отварю.

— Ты бы еще нам каши предложил! — сказал Шаблинский.

Мы выпили и закурили. Алкоголь действовал неэффективно. Ведь напиться как следует — это тоже искусство...

Девушкам в таких случаях звонить бесполезно. Раз уж пьянка не состоялась, то все. Значит, тебя ждут сплошные унижения. Надо менять обстановку. Обстановка — вот что главное.

Помню, Тофик Алиев рассказывал:

— Дома у меня рояль, альков, серебряные ложки... Картины чуть ли не эпохи Возрождения... И — никакого секса. А в гараже — разный хлам, покрышки старые, брезентовый чехол... Так я на этом чехле имел половину хореографического училища. Многие буквально уговаривали — пошли в гараж! Там, мол, обстановка соответствующая...

Шаблинский встал и говорит:

— Поехали в Таллинн.

— Поедем, — говорю.

Мне было все равно. Тем более что девушки исчезли.

Шаблинский работал в газете «Советская Эстония». Гостил в Ленинграде неделю. И теперь возвращался с оказией домой.

Севастьянов вяло предложил не расходиться. Мы попросились и вышли на улицу. Заглянули в магазин. Бутылки оттягивали наши карманы. Я был в летней рубашке и в кедах. Даже паспорт отсутствовал.

Через десять минут подъехала «Волга». За рулем сидел угрюмый человек, которого Шаблинский называл Гришаня.

Гришаня всю дорогу безмолвствовал. Водку пить не стал. Мне даже показалось, что Шаблинский видел его впервые.

Мы быстро проскочили невзрачные северо-западные окраины Ленинграда. Далее следовали однообразные поселки, бедноватая зелень и медленно текущие речки. У переезда Гришаня затормозил, распахнул дверцу и направился в кусты. На ходу он деловито расстегивал ширинку, как человек, пренебрегающий условностями.

— Чего он такой мрачный? — спрашиваю.

Шаблинский ответил:

— Он не мрачный. Он под следствием. Если не ошибаюсь, там фигурирует взятка.

— Он что, кому-то взятку дал?

— Не идеализируй Гришу. Гриша не давал, а брал. Причем в неограниченном количестве. И вот теперь он под следствием. Уже подписку взяли о невыезде.

— Как же он выехал?

— Откуда?

— Из Ленинграда.

— Он дал подписку в Таллинне.

— Как же он выехал из Таллинна?

— Очень просто. Сел в машину и поехал. Грише уже нечего терять. Его скоро арестуют.

— Когда? — задал я лишний вопрос.

— Не раньше чем мы окажемся в Таллинне...

Тут Гришаня вышел из кустов. На ходу он сосредоточенно застегивал брюки. На крепких запястьях его что-то сверкало.

«Наручники?» — подумал я.

Потом разглядел две пары часов с металлическими браслетами.

Мы поехали дальше.

За Нарвой пейзаж изменился. Природа выглядела теперь менее беспорядочно. Домá — более аккуратно и строго.

Шаблинский выпил и задремал. А я все думал — зачем? Куда и зачем я еду? Что меня ожидает? И до чего же глупо складывается жизнь!..

Наконец мы подъехали к Таллинну. Миновали безликие кирпичные пригороды. Затем промелькнула какая-то готика. И вот мы на Ратушной площади.

Звякнула бутылка под сиденьем. Машина затормозила. Шаблинский проснулся.

— Вот мы и дома, — сказал он.

Я выбрался из автомобиля. Мостовая отражала расплывчатые неоновые буквы. Плоские фасады сурово выступали из мрака. Пейзаж напоминал иллюстрации к Андерсену.

Шаблинский протянул мне руку:

— Звони.

Я не понял.

Тогда он сказал:

— Нелька волнуется.

Тут я по-настоящему растерялся. Я даже спросил от безнадежности:

— Какая Нелька?

— Да жена, — сказал Шаблинский, — забыл? Ты же первый и отключился на свадьбе...

Шаблинский давно уже работал в партийной газете. Положение функционера не слишком его тяготило. В нем даже сохранилось какое-то обаяние.

Вообще я заметил, что человеческое обаяние истребить довольно трудно. Куда труднее, чем разум, принципы или убеждения. Иногда десятилетия партийной работы оказываются бессильны. Честь, бывает, полностью утрачена, но обаяние сохранилось. Я даже знал, представьте себе, обаятельного начальника тюрьмы в Мордовии...

Короче, Шаблинский был нормальным человеком. Если и делал подлости, то без ненужного рвения. Я с ним почти дружил. И вот теперь:

— Звони, — повторил он...

В Таллинне я бывал и раньше. Но это были служебные командировки. То есть с необходимыми бумагами, деньгами и гостиницей. А главное — с ощущением пошлой, но разумной цели.

А зачем я приехал сейчас? Из редакции меня уволили. Денег в кармане — рублей шестнадцать. Единственный зна-

комый торопится к жене. Гришаня — и тот накануне ареста.

Тут Шаблинский задумался и говорит:

— Идея. Поезжай к Бушу. Скажи, что ты от меня. Буш тебя охотно приютит.

— Кто такой Буш?

— Буш — это нечто фантастическое. Сам увидишь. Думаю, он тебе понравится. Телефон — четыре, два нуля, одиннадцать.

Мы попрощались. Гришаня сидел в автомобиле. Шаблинский махнул ему рукой и быстро свернул за угол. Так и бросил меня в незнакомом городе. Удивительно, что неделю спустя мы будем работать в одной газете и почти дружить.

Тут медленно опустилось стекло автомобиля и выглянул Гришаня.

— Может, тебе деньги нужны? — спросил он.

Деньги были нужны. Более того — необходимы. И все-таки я ответил:

— Спасибо. Деньги есть.

Впервые я разглядел Гришанино лицо. Он был похож на водолаза. Так же одинок и непроницаем.

Мне захотелось сказать ему что-то приятное. Меня поразило его благородство. Одалживать деньги перед арестом, что может быть изысканнее такого категорического неприятия судьбы?..

— Желаю удачи, — сказал я.

— Чао, — коротко ответил Гришаня.

С работы меня уволили в начале октября. Конкретного повода не было. Меня, как говорится, выгнали «по совокупности». Видимо, я позволял себе много лишнего.

В журналистике каждому разрешается делать что-то одно. В чем-то одном нарушать принципы социалистической морали. То есть одному разрешается пить. Другому — хулиганить. Третьему — рассказывать политические анекдоты. Четвертому — быть евреем. Пятому — беспартийным. Шестому — вести аморальную жизнь. И так далее. Но каждому, повторяю, дозволено что-то одно. Нельзя быть одновременно евреем и пьяницей. Хулиганом и беспартийным...

Я же был пагубно универсален. То есть разрешал себе всего понемногу.

Я выпивал, скандалил, проявлял идеологическую близорукость. Кроме того, не состоял в партии и даже частично был евреем. Наконец, моя семейная жизнь все более запутывалась.

И меня уволили. Вызвали на заседание парткома и сказали:

— Хватит! Не забывайте, что журналистика — передо-

вая линия идеологического фронта. А на фронте главное — дисциплина. Этого-то вам и не хватает. Ясно?

— Более или менее.

— Мы даем вам шанс исправиться. Идите на завод. Проявите себя на тяжелой физической работе. Станьте работником. Отражайте в своих корреспонденциях подлинную жизнь...

Тут я не выдержал.

— Да за подлинную жизнь, — говорю, — вы меня без суда расстреляете!

Участники заседания негодуяще переглянулись. Я был уволен «по собственному желанию».

После этого я не служил. Редактировал какие-то генеральские мемуары. Халтурил на радио. Написал брошюру «Коммунисты покорили тундру». Но даже и тут совершил грубую политическую ошибку. Речь в брошюре шла о строительстве Мончегорска. События происходили в начале тридцатых годов. Среди ответственных работников было много евреев. Припоминаю каких-то Шимкуса, Фельдмана, Раппорта... В горкоме ознакомились и сказали:

— Что это за сионистская прокламация? Что это за мифические евреи в тундре? Немедленно уничтожить весь тираж!..

Но гонорар я успел получить. Затем писал внутренние рецензии для журналов. Анонимно сотрудничал на телевидении. Короче, превратился в свободного художника. И наконец занесло меня в Таллинн...

Около магазина сувениров я заметил телефонную будку. Припомнил цифры: четыре, два нуля, одиннадцать.

Звоню. Отвечает женский голос:

— Слушаю! — У нее получилось — «свущаю». — Свущаю, мивенький!

Я попросил к телефону Эрика Буша. В ответ прозвучало:

— Его нет. Я прямо вовнуюсь. Он дал мне своо не задерживаться. Так что приходите. Мы свавно побовтаем...

Женщина довольно толково продиктовала мне адрес. Объяснила, как ехать.

Миниатюрный эстонский трамвай раскачивался на поворотах. Через двадцать минут я был в Кадриорге. Легко разыскал полуразрушенный бревенчатый дом.

Дверь мне отворила женщина лет пятидесяти, худая, с бледно-голубыми волосами. Кружева ее лилового пеньюара достигали золотых арабских туфель. Лицо было густо напудрено. На щеках горел химический румянец. Женщина напоминала героиню захолустной оперетты.

— Эрик дома, — сказала она, — проходите.

Мы с трудом разминулись в узкой прихожей. Я зашел

в комнату и обмер. Такого чудовищного беспорядка мне еще видеть не приходилось.

Обеденный стол был завален грязной посудой. Ключья зеленоватых обоев свисали до полу. На рваном ковре толстым слоем лежали газеты. Сиамская кошка перелетала из одного угла в другой. У двери выстроились пустые бутылки.

С продавленного дивана встал мужчина лет тридцати. У него было смуглое мужественное лицо американского киногероя. Лацкан добротного заграничного пиджака был украшен гвоздикой. Полуботинки сверкали. На фоне захламленного жилища Эрик Буш выглядел космическим пришельцем.

Мы поздоровались. Я неловко и сбивчиво объяснил ему, в чем дело.

Буш улыбнулся и неожиданно заговорил гладкими певучими стихами:

— Входи, полночный гость! Чулан к твоим услугам. Кофейник на плите. В шкафу голландский сыр. Ты братом станешь мне. Галине станешь другом. Люби ее, как мать. Люби ее, как сын. Пускай кругом бардак...

— Есть свадкие бувочки! — вмешалась Галина.

Буш прервал ее мягким, но величественным жестом:

— Пускай кругом бардак — есть худшие напасти! Пусть дует из окна. Пусть грязен наш сортир... Зато — и это факт — тут нет советской власти. Свобода — мой девиз, мой фетиш, мой кумир!

Я держался так, будто все это нормально. Что мне оставалось делать? Уйти из дома в первом часу ночи? Обратиться в «скорую помощь»?

Кроме того, человеческое безумие — это еще не самое ужасное. С годами оно для меня все более приближается к норме. А норма становится чем-то противоестественным.

Нормальный человек бросил меня в полном одиночестве. А ненормальный предлагает кофе, дружбу и чулан...

Я напрягся и выговорил:

— Быть вашим гостем чрезвычайно лестно. От всей души спасибо за приют. Тем более что, как давно известно, все остальные на меня плюют...

Затем мы пили кофе, ели булку с джемом. Сиамская кошка прыгнула мне на голову. Галина завела пластинку Оффенбаха.

Разошлись мы около двух часов ночи.

У Буша с Галиной я прожил недели три. С каждым днем они мне все больше нравились. Хотя оба были законченными шизофрениками.

Эрик Буш происходил из весьма респектабельной семьи. Его отец был доктором наук и профессором математи-

ки в Риге. Мать заведовала сектором в республиканском институте тканей. Годом к семи Буш возненавидел обоих. Каким-то чудом он почти с рождения был антисоветчиком и нонконформистом. Своих родителей называл — «выдвиженцы».

Окончив школу, Буш покинул Ригу. Больше года плавал на траулере. Затем какое-то время был пляжным фотографом. Поступил на заочное отделение Ленинградского института культуры. По окончании его стал журналистом.

Казалось бы, человеку с его мировоззрением такая деятельность противопоказана. Ведь Буш не только критиковал существующие порядки. Буш отрицал саму историческую реальность. В частности — победу над фашистской Германией.

Он твердил, что бесплатной медицины не существует. Делился сомнениями относительно нашего приоритета в космосе. После третьей рюмки Буш выкрикивал:

— Гагарин в космос не летал! И Титов не летал!.. А все советские ракеты — это огромные консервные банки, наполненные глиной...

Казалось бы, такому человеку не место в советской журналистике. Тем не менее Буш выбрал именно это занятие. Решительный нонконформизм уживался в нем с абсолютной беспринципностью. Это бывает.

В творческой манере Буша сказывались уроки немецкого экспрессионизма. Одна из его корреспонденций началась так:

«Настал звездный час для крупного рогатого скота. Участники съезда ветеринаров приступили к работе. Пахнущие молоком и навозом ораторы сменяют друг друга...»

Сначала Буш работал в провинциальной газете. Но захолустье быстро ему наскучило. Для небольшого северного городка он был чересчур крупной личностью.

Два года назад Буш переехал в Таллинн. Поселился у какой-то стареющей женщины.

В Буше имелось то, что роковым образом действует на стареющих женщин. А именно — бедность, красота, саркастический юмор, но главное — полное отсутствие характера.

За два года Буш обольстил четырех стареющих женщин. Галина Аркадьевна была пятой и самой любимой. Остальные сохранили к Бушу чувство признательности и восхищения.

Злые языки называли Буша альфонсом. Это было несправедливо. В любви к стареющим женщинам он руководствовался мотивами альтруистического порядка. Буш милостиво разрешал им обрушиваться на себя водопады горьких, запоздалых эмоций.

Постепенно о Буше начали складываться легенды. Он беспрерывно попадал в историю.

Однажды Буш поздно ночью шел через Кадриорг. К нему подошли трое. Один из них мрачно выговорил:

— Дай закурить.

Как в этой ситуации поступает нормальный человек? Есть три варианта сравнительно разумного поведения.

Невозмутимо и бесстрашно протянуть хулигану сигареты.

Быстро пройти мимо, а еще лучше — стремительно убежать.

И последнее, — нокаутировав того, кто ближе, срочно ретироваться.

Буш избрал самый губительный, самый нестандартный вариант. В ответ на грубое требование Буш изысканно произнес:

— Что значит — дай? Разве мы пили с вами на брудершафт?!

Уж лучше бы он заговорил стихами. Его могли бы принять за опасного сумасшедшего. А так Буша до полусмерти избили. Наверное, хулиганов взбесило таинственное слово — «брудершафт».

Теряя сознание, Буш шептал:

— Ликуйте, смерды! Зрю на ваших лицах грубое торжество плоти!..

Неделю он пролежал в больнице. У него было сломаны ребра и вывихнут палец. На лбу появился романтический шрам...

Буш работал в «Советской Эстонии». Года полтора его держали внештатным корреспондентом. Шли разговоры о том, чтобы дать ему постоянное место. Главный редактор, улыбаясь, поглядывал в его сторону. Сотрудники прилично к нему относились. Особенно — стареющие женщины. Завидев Буша, они шептались и краснели.

Штатная должность означала многое. Особенно — в республиканской газете. Во-первых, стабильные деньги. Кроме того, множество разнообразных социальных льгот. Наконец, известную степень личной безнаказанности. То есть главное, чем одаривает режим свою номенклатуру.

Буш нетерпеливо ожидал зачисления в штат. Он, повторяю, был двойственной личностью. Мятежность легко уживалась в нем с отсутствием принципов. Буш говорил:

— Чтобы низвергнуть режим, я должен превратиться в один из его столпов. И тогда вся постройка скоро зашатается...

Приближалось 7 Ноября. Редактор вызвал Буша и сказал:

— Решено, Эрнст Леопольдович, поручить вам ответ-

ственное задание. Берете в секретариате пропуск. Едете в морской торговый порт. Беседуете с несколькими западными капитанами. Выбираете одного, наиболее лояльного к идеям социализма. Задаете ему какие-то вопросы. Добиваетесь более или менее подходящих ответов. Короче, берете у него интервью. Желательно, чтобы моряк поздравил нас с шестьдесят третьей годовщиной Октябрьской революции. Это не значит, что он должен выкрикивать политические лозунги. Вовсе нет. Достаточно сдержанного уважительного поздравления. Это все, что нам требуется. Ясно?

— Ясно, — ответил Буш.

— Причем нужен именно западный моряк. Швед, англичанин, норвежец, типичный представитель капиталистической системы. И тем не менее лояльный к советской власти.

— Найду, — заверил Буш, — такие люди попадаются. Помню, разговорился я в Хабаровске с одним матросом швейцарского королевского флота. Это был наш человек, все Лена цитировал...

Редактор вскинул брови, задумался и укоризненно произнес:

— В Швейцарии, товарищ Буш, нет моря, нет короля, а следовательно, нет и швейцарского королевского флота. Вы что-то путаете.

— Как это нет моря? — удивился Буш. — А что же там есть, по-вашему?

— Суша, — ответил редактор.

— Вот как, — не сдавался Буш. — Интересно. Очень интересно... Может, и озер там нет? Знаменитых швейцарских озер?!

— Озера есть, — печально согласился редактор, — а швейцарского королевского флота — нет... Можете действовать, — закончил он, — но будьте, пожалуйста, серьезнее. Мы, как известно, думаем о предоставлении вам штатной работы. Это задание — во многом решающее. Желаю удачи...

Таллиннский порт расположен в двадцати минутах езды от центра города.

Буш отправился на задание в такси. Зашел в редакцию портовой многотиражки. Там как раз отмечали сорокалетие фотографа Левы Баранова. Бушу протянули стакан ликера. Буш охотно выпил и сказал:

— Мне нельзя. Я на задании.

Он выпил еще немного и стал звонить диспетчеру. Диспетчер рекомендовал Бушу западногерманское торговое судно «Эдельвейс».

Буш выпил еще один стакан и направился к четвертому пирсу.

Капитан встретил Буша на трапе. Это был типичный морской волк, худой, краснолицый, с орлиным профилем. Звали его Пауль Руди.

Диспетчер предупредил капитана о визите советского журналиста. Тот пригласил Буша в каюту.

Они разговорились. Капитан довольно сносно объяснялся по-русски. Коньяк предпочитал — французский.

— Это «Кордон-бло», — говорил он, — рекомендую. Двести марок бутылка.

Сознавая, что пьянеет, Буш успел задать вопрос:

— Когда ты отчаливаешь?

— Завтра в одиннадцать тридцать.

Теперь о деле можно было и не заговаривать. Накануне отплытия капитан мог произнести все, что угодно. Кто будет это проверять?

Беседа велась откровенно и просто.

— Ты любишь женщин? — спрашивал капитан.

— Люблю, — говорил Буш, — а ты?

— Еще бы! Только моя Луиза об этом не догадывается. Я люблю женщин, выпивку и деньги. Ты любишь деньги?

— Я забыл, как они выглядят. Это такие разноцветные бумажки?

— Или металлические кружочки.

— Я люблю их больше, чем футбол! И даже больше, чем женщин. Но я люблю их чисто платонически...

Буш пил, и капитан не отставал. В каюте плавал дым американских сигарет. Из невидимой радиоточки долетала гавайская музыка. Разговор становился все более откровенным.

— Если бы ты знал, — говорил журналист, — как мне все опротивело! Надо бежать из этой проклятой страны!

— Я понимаю, — соглашался капитан.

— Ты не можешь этого понять! Для тебя, Пауль, свобода — как воздух! Ты его не замечаешь. Ты им просто дышишь. Понять меня способна только рыба, выброшенная на берег.

— Я понимаю, — говорил капитан, — есть выход. Ты же немец. Ты можешь эмигрировать в свободную Германию.

— Теоретически это возможно. Практически — исключено. Да, мой папаша — обрусевший курляндский немец. Мать — из Польши. Оба в партии с тридцать шестого года. Оба — выдвигенцы, слуги режима. Они не подпишут соответствующих бумаг.

— Я понимаю, — твердил капитан, — есть другой выход. Иди в торговый флот, стань матросом. Добейся полу-

чения визы. И, оказавшись в западном порту, беги. Проси убежища.

— И это фикция. Я ведь на плохом счету. Мне не откроят визы. Я уже добивался, пробовал... Увы, я обречен на медленную смерть.

— Понимаю... Можно спрятать тебя на «Эдельвейсе». Но это рискованно. Если что, тебя будут судить как предателя...

Капитан рассуждал очень здраво. Слишком здраво. Вообще для иностранца он был на редкость компетентен. У трезвого человека это могло бы вызвать подозрения. Но Буш к этому времени совершенно опьянел. Буш ораторствовал:

— Свободен не тот, кто борется против режима. И не тот, кто побеждает страх. А тот, кто его не ведает. Свобода, Пауль, — функция организма! Тебе этого не понять! Ведь ты родился свободным, как птица!

— Я понимаю, — отвечал капитан...

Около двенадцати ночи Буш спустился по трапу. Он то и дело замедлял шаги, вскидывая кулак — «рот фронт!». Затем растопыривал пальцы, что означало — «виктори!». Победа!..

Капитан с пониманием глядел ему вслед...

На следующий день Буш появился в редакции. Он был возбужден, но трезв. Его сигареты распространяли благоухание. Авторучка «Паркер» выглядывала из бокового кармана.

Буш отдал статью машинисткам. Называлась она длинно и красиво: «Я вернусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба!»

Статья начиналась так:

«Капитана Пауля Руди я застал в машинном отделении. Торговое судно «Эдельвейс» готовится к отплытию. Изношенные механизмы требуют дополнительной проверки.

— Босса интересует только прибыль, — жалуется капитан. — Двадцать раз я советовал ему заменить цилиндры. Того и гляди лопнут прямо в открытом море. Сам-то босс путешествует на яхте. А мы тут загораем, как черти в преисподней...»

Конец был такой:

«Капитан вытер мозолистые руки паклей. Борода его лоснилась от мазута. Глиняная трубка оттягивала квадратную челюсть. Он подмигнул мне и сказал:

— Запомни, парень! Свобода — как воздух. Ты дышишь свободой и не замечаешь ее... Советским людям этого не понять. Ведь они родились свободными, как птицы. А меня поймет только рыба, выброшенная на берег... И по-

тому — я вернусь! Я вернусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба! Душистого хлеба свободы, равенства и братства!..»

— Неплохо, — сказал редактор, — живо, убедительно. Единственное, что меня смущает... Он действительно говорил нечто подобное?

Буш удивился:

— А что еще он мог сказать?

— Впрочем, да, конечно, — отступил редактор..

Статья была опубликована. На следующий день Буша вызвали к редактору. В кабинете сидел незнакомый мужчина лет пятидесяти. Его лицо выражало полное равнодушие и одновременно крайнюю сосредоточенность.

Редактор как бы отодвинулся в тень. Мужчина же при всей его невыразительности распространился широко и основательно. Он заполнил собой все пространство номенклатурного кабинета. Даже гипсовый бюст Ленина на обтянутом кумачом постаменте уменьшился в размерах.

Мужчина поглядел на Буша и еле слышно выговорил:
— Рассказывайте.

Буш раздраженно переспросил:

— О чем? Кому? Вообще, простите, с кем имею честь?

Ответ был короткий, словно вычерченный пунктиром:

— О встрече... Мне... Сорокин... Полковник Сорокин...

Назвав свой чин, полковник замолчал, как будто вконец обессилев.

Что-то заставило Буша повиноваться. Буш начал пересказывать статью о капитане Руди.

Полковник слушал невнимательно. Вернее, он почти дремал. Он напоминал профессора, задавшего вопрос ленивому студенту. Вопрос, ответ на который ему заранее известен.

Буш говорил, придерживаясь фактов, изложенных в статье. Закончил речь патетически:

— Где ты, Пауль? Куда несет тебя ветер дальних странствий? Где ты сейчас, мой иностранный друг?!..

— В тюрьме, — неожиданно ответил полковник.

Он хлопнул газетой по столу, как будто убивая муху, и четко выговорил:

— Пауль Руди находится в тюрьме. Мы арестовали его как изменника родины. Настоящая его фамилия — Рютти. Он — беглый эстонец. В семидесятом году рванул на байдарке через Швецию. Обосновался в Гамбурге. Женился на Луизе Рейшвиц. Четвертый год плавает на судах западногерманского торгового флота. Наконец совершил первый рейс в Эстонию. Мы его давно поджидали..

Полковник повернулся к редактору:

— Оставьте нас вдвоем.

Редактору было неловко, что его выгоняют из собственного кабинета. Он пробормотал:

— Да, я как раз собирался посмотреть иллюстрации. И вышел.

Полковник обратился к Бушу:

— Что вы на это скажете?

— Я поражен. У меня нет слов!

— Как говорится, неувязка получилась.

Но Буш держался прежней версии:

— Я описал все, как было. О прошлом капитана Руди не догадывался. Воспринял его как прогрессивно мыслящего иностранца.

— Хорошо, — сказал полковник, — допустим. И все-таки случай для вас неприятный. Крайне неприятный. Пятно на вашей журналистской репутации. Я бы даже сказал — идеологический просчет. Потеря бдительности. Надо что-то делать...

— Что именно?

— Есть одна идея. Хотите нам помочь? А мы соответственно будем рекомендовать вас на штатную должность.

— В КГБ? — спросил Буш.

— Почему в КГБ? В газету «Советская Эстония». Вы же давно мечтаете о штатной работе. В наших силах ускорить это решение. Сроки зависят от вас.

Буш насторожился. Полковник Сорокин продолжал:

— Вы могли бы дать интересующие нас показания.

— То есть?

— Насчет капитана Руди... Дайте показания, что он хотел вас это самое... Употребить... Ну, в смысле полового извращения...

— Что?! — приподнялся Буш.

— Спокойно!

— Да за кого вы меня принимаете?! Вот уж не думал, что КГБ использует подобные методы!

Глаза полковника сверкнули бритвенными лезвиями. Он побагровел и выпрямился:

— Пожалуйста, без громких слов. Я вам советую подумать. На карту поставлено ваше будущее.

Но тут и Буш расправил плечи. Он медленно вынул пачку американских сигарет. Прикурил от зажигалки «Ронсон». Затем спокойно произнес:

— Ваше предложение аморально. Оно идет вразрез с моими нравственными принципами. Этого мне только не хватало — понравиться гомосексуалисту! Короче, я отказываюсь. Половые извращения — не для меня!.. Хотите, я напишу, что он меня спаивал?.. А впрочем, и это не совсем благородно...

— Ну, что ж, — сказал полковник, — мне все ясно. Боясь, что вы на этом проиграете.

— Да неужели у КГБ можно выиграть?! — расхохотался Буш.

На этом беседа закончилась. Полковник уехал. Уже в дверях он произнес совершенно неожиданную фразу:

— Вы лучше, чем я думал.

— Полковник, не теряйте стили! — ответил Буш...

Его лишили внештатной работы. Может быть, Сорокин этого добился. А скорее всего, редактор проявил усердие. Буш вновь перешел на иждивение к стареющим женщинам. Хотя и раньше все шло примерно таким же образом.

Как раз в эти дни Буш познакомился с Галиной. До этого его любила Марианна Викентьевна, крупный торговый работник. Она покупала Бушу сорочки и галстуки. Платила за него в ресторанах. Кормила его вкусной и здоровой пищей. Но карманных денег Бушу не полагалось. Иначе Буш сразу принимался ухаживать за другими женщинами.

Получив очередной редакционный гонорар, Буш исчез. Домой являлся поздно ночью, благоухая луком и косметикой. Однажды Марианна не выдержала и закричала:

— Где ты бродишь, подлец?! Почему возвращаешься среди ночи?!

Буш виновато ответил:

— Я бы вернулся утром — просто не хватило денег...

Наконец Марианна взбунтовалась. Уехала на курорт с пожилым работником главка. Рядом с ним она казалась моложавой и легкомысленной. Оставить Буша в пустой квартире Марианна, естественно, не захотела.

И тут возникла Галина Аркадьевна. Практически из ничего. Может быть, под воздействием закона сохранения материи.

Дело в том, что она не имела гражданского статуса. Галина была вдовой знаменитого эстонского революционера, чуть ли не самого Кингисеппа. И ей за это дали что-то вроде пенсии.

Буш познакомился с ней в романтической обстановке. А именно — на берегу пруда.

В самом центре Кадриорга есть небольшой затененный пруд. Его огибают широкие липовые аллеи. Ручные белки прыгают в траве.

У берега плавают черные лебеди. Как они сюда попали — неизвестно. Зато всем известно, что эстонцы любят животных. Кто-то построил для лебедей маленькую фанерную будку. Посетители Кадриорга бросают им хлеб...

Майским вечером Буш сидел на траве у пруда. Сигареты у него кончились. Денег не было вторые сутки. Минувшую ночь он провел в заброшенном киоске «Союзпечати». Благо на полу там лежали старые газеты.

Буш жевал сухую горькую травинку. Мысли в его голове проносились отрывистые и беспокойные, как телеграммы:

«...Еда... Сигареты... Жилье... Марианна на курорте... Нет работы... К родителям обращаться стыдно, а главное — бессмысленно...»

Когда и где он ел в последний раз? Припомнились два куска хлеба в закусочной самообслуживания. Затем — кислые яблоки над оградой чужого сада. Найденная у дороги ванильная сушка. Зеленый помидор, обнаруженный в киоске «Союзпечати»...

Лебеди скользили по воде, как два огромных черных букета. Пища доставалась им без видимых усилий. Каждую секунду резко опускались вниз точеные маленькие головы на изогнутых шеях...

Буш думал о еде. Мысли его становились все короче: «...Лебедь... Птица... Дичь...»

И тут зов предков отозвался в Буше легкой нервической дрожью. В глазах его загорелись отблески первобытных костров. Он замер, как сеттер на болоте, вырвавшийся из городского плена...

К десяти часам окончательно стемнеет. Изловить самоуверенную птицу будет делом минуты. Ощипанный лебедь может вполне сойти за гуся. А с целым гусем Буш не пропадет. В любой компании будет желанным гостем...

Буш преобразился. В глубине его души звучал охотничий рожок. Он чувствовал, как тверд его небритый подбородок. Доисторическая сила пробудилась в Буше...

И тут произошло чудо. На берегу появилась стареющая женщина. То есть дичь, которую Буш чуял на огромном расстоянии.

Вовек не узнают черные лебеди, кто спас им жизнь!

Женщина была стройна и прекрасна. Над головой ее кружились бабочки. Голубое воздушное платье касалось травы. В руках она держала книгу. Прижимала ее к груди наподобие молитвенника.

Дальнозоркий Буш легко прочитал заглавие — «Ахматова. Стихи».

Он выплюнул травинку и сильным глуховатым баритоном произнес:

Они летят, они еще в дороге,
Слова освобожденья и любви,
А я уже в божественной тревоге,
И холоднее льда уста мои...

Женщина замедлила шаги. Прижала ладони к вискам. Книга, шелестя страницами, упала на траву.

Буш продолжал:

А дальше — свет невыносимо щедрый,
Как сладкое, горячее вино...
Уже душистым, раскаленным ветром
Сознание мое опалено...

Женщина молчала. Ее лицо выражало смятение и ужас.
(Если ужас может быть пылким и радостным чувством.)
Затем, опустив глаза, женщина тихо проговорила:

Но скоро там, где жидкие березы,
Прильнувши к окнам, сухо шелестят, —
Венцом червонным заплетутся розы,
И голоса незримо прозвучат...

(У нее получилось — «говоса».)

Буш поднялся с земли.

— Вы любите Ахматову?

— Я знаю все ее стихи наизусть, — ответила женщина.

— Какое совпадение! Я тоже... А цветы? Вы любите цветы?

— Это моя свобода!.. А птицы? Что вы скажете о птицах?

Буш кинул взгляд на черных лебедей, помедлил и сказал:

Ах, чайка ли за облаком кружится,
Малиновки ли носятся вокруг...
О незнакомка! Я хочу быть птицей,
Чтобы клевать зерно из ваших рук...

— Вы поэт? — спросила женщина.

— Пишу кое-что между строк, — застенчиво ответил Буш...

День остывал. Тени лип становились длиннее. Вода утрачивала блеск. В кустах бродили сумерки.

— Хотите кофе? — предложила женщина. — Мой дом совсем близко.

— Извините, — поинтересовался Буш, — а колбасы у вас нет?

В ответ прозвучало:

— У меня есть все, что нужно одинокому сердцу...

Три недели я прожил у Буша с Галиной. Это были странные, наполненные безумием дни.

Утро начиналось с тихого взволнованного пения. Галина мальчишеским тенором выводила:

Эх, истомилась, устала я,
Ночью и днем... Только о нем...

Ее возлюбленный откликнулся низким, простуженным баритоном:

Эх, утону ль я в Северной Двине,
А может, сгину как-нибудь иначе...
Страна не зарыдает обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут...

Случалось, они по утрам танцевали на кухне. При этом каждый напевал что-то свое.

За чаем Галина объявляла:

— Называйте меня сегодня — Верочкой. А с завтрашнего дня — Жар-Птицей...

Днем она часто звонила по телефону. Цифры набирала произвольно. Дождавшись ответа, ласково произносила:

— Сегодня вас ожидает приятная неожиданность.

Или:

— Бойтесь дамы с вишенкой на шляпе...

Кроме того, Галина часами дрессировала прозрачного, стремительного меченосца. Шептала ему, склонившись над аквариумом:

— Не капризничай, Джим. Помаши маме ручкой...

И наконец, Галина прорицала будущее. Мне, например, объявила, разглядывая какие-то цветные бусинки:

— Ты кончишь свои дни где-нибудь в Бразилии.

(Тогда — в семьдесят пятом году — я засмеялся. Но сейчас почти уверен, что так оно и будет.)

Буш целыми днями разгуливал в зеленом халате, который Галина сшила ему из оконной портьеры. Он готовил речь, которую произнесет, став Нобелевским лауреатом. Речь начиналась такими словами:

«Леди и джентльмены! Благодарю за честь. Как говорится — лучше поздно, чем никогда...»

Так мы и жили. Мои шестнадцать рублей быстро кончились. Галининой пенсии хватило дней на восемь. Надо было искать какую-то работу.

И вдруг на глаза мне попало объявление — «Срочно требуются кочегары».

Я сказал об этом Бушу. Я не сомневался, что Буш откажется. Но он вдруг согласился и даже просиял.

— Гениально, — сказал он, — это то, что надо! Давно пора окунуться в гущу народной жизни. Прильнуть, что называется, к истокам. Ближе к природе, старик! Ближе к простым человеческим радостям! Ближе к естественным цельным натурам! Долой метафизику и всяческую трансцендентность! Да здравствуют молот и наковальня!..

Галина тихо возражала:

— Эринька, ты свабый!

Буш сердито посмотрел на женщину, и она затихла...

Котельная являла собой мрачноватое низкое здание у подножия грандиозной трубы. Около двери возвышалась куча угля. Здесь же валялись лопаты и две опрокинутые тачки.

В помещении мерно гудели три секционных котла. Возле одного из них стоял коренастый юноша. В руке у него была тяжелая сварная шуровка. Над колосниками бился розовый огонь. Юноша морщился и отворачивал лицо.

— Привет, — сказал ему Буш.

— Здорово, — ответил кочегар, — вы новенькие?

— Мы по объявлению.

— Рад познакомиться. Меня зовут Олег.

Мы назвали свои имена.

— Зайдите в диспетчерскую, — сказал Олег, — представьтесь Цурикову.

В маленькой будке с железной дверью шум котлов звучал приглушенно. На выщербленном столе лежали графики и ведомости. Над столом висел дешевый репродуктор. На узком топчане, прикрыв лицо газетой, дремал мужчина в солдатском обмундировании. Газета едва заметно шевелилась. За столом работал человек в жокейской шапочке. Увидев нас, приподнял голову:

— Вы новенькие?

Затем он встал и протянул руку:

— Цуриков, старший диспетчер. Присаживайтесь.

Я заметил, что бывший солдат проснулся. С шуршанием убрал газету.

— Худ, — коротко представился он.

— Люди нужны, — сказал диспетчер. — Работа несложная. А теперь идемте со мной.

Мы спустились по шаткой лесенке. Худ двигался следом. Олег помахал нам рукой как старым знакомым.

Мы остановились возле левого котла, причем так близко, что я ощутил сильный жар.

— Устройство, — сказал Цуриков, — на редкость примитивное. Топка, колосники, поддувало... Температура на выходе должна быть градусов семьдесят. Обратная — сорок пять. В начале смены заготавливаете уголь. Полную тачку загружать не советую — опрокинется... Уходя, надо прочистить колосники, выбрать шлак... Пожалуй, это все... График простой — сутки работаем, трое отдыхаем. Оплата сдельная. Можно легко заработать сотни полторы...

Цуриков подвел нас к ребятам и сказал:

— Надеюсь, вы поладите. Хотя публика у нас тут довольно своеобразная. Олешка, например, буддист. Последователь школы «дзен». Ищет успокоения в монастыре собственного духа... Худ — живописец, левое крыло мирового авангарда. Работает в традициях метафизического синтетизма. Рисует преимущественно тару — ящики, банки, чехлы...

— Цикл называется «Мертвые истины», — шепотом пояснил Худ, багровый от смущения.

Цуриков продолжал:

— Ну, а я — человек простой. Занимаюсь в свободные дни теорией музыки. Кстати, что вы думаете о политональных наложениях у Бриттена?

До этого Буш молчал. Но тут его лицо внезапно исказилось. Он коротко и твердо произнес:

— Идем отсюда!

Цуриков и его коллеги растерянно глядели нам вслед.

Мы вышли на улицу. Буш разразился гневным монологом:

— Это не котельная! Это, извини меня, какая-то Сорбонна!.. Я мечтал погрузиться в гущу народной жизни. Окрепнуть морально и физически. Припасть к живительным истокам... А тут?! Какие-то дзенбуддисты с метафизиками! Какие-то блядские политональные наложения! Короче, поехали домой!..

Что мне оставалось делать?

Галина встретила нас радостными криками.

— Я так плакава, — сказала она, — так плакава. Мне было вас так жавко...

Прошло еще дня три. Галина продала несколько книг в букинистический магазин. Я обошел все таллинские редакции. Договорился о внештатной работе. Взял интервью у какого-то слесаря. Написал репортаж с промышленной выставки. Попросил у Шаблинского двадцать рублей в счет будущих гонораров. Голодная смерть отодвинулась.

Более того, я даже преуспел. Если в Ленинграде меня считали рядовым журналистом, то здесь я был почти корифеем. Мне поручали все более ответственные задания. Я писал о книжных и театральных новинках, вел еженедельную рубрику «Другое мнение», сочинял фельетоны. А фельетоны, как известно, самый дефицитный жанр в газете. Короче, я довольно быстро пошел в гору.

Меня стали приглашать на редакционные летучки. Еще через месяц — на учрежденческие вечеринки. О моих публикациях заговорили в эстонском ЦК.

К этому времени я уже давно покинул Буша с Галиной. Редакция дала мне комнату на улице Томпа — льгота для внештатного сотрудника беспрецедентная. Это значило, что мне намерены предоставить вскоре штатную работу. И действительно, через месяц после этого я был зачислен в штат.

Редактор говорил мне:

— У вас потрясающее чувство юмора. Многие ваши афоризмы я помню наизусть. Например, вот это: «Когда храбрый молчит, трусливый помалкивает...» Некоторые ваши фельетоны я пересказываю своей домработнице. Между прочим, она закончила немецкую гимназию.

— А, — говорил я, — теперь мне все понятно. Теперь я знаю, откуда у вас столь безукоризненные манеры.

Редактор не обижался. Он был либерально мыслящим интеллигентом. Вообще обстановка была тогда сравнительно либеральной. В Прибалтике — особенно.

Кроме того, дерзил я продуманно и ловко. Один мой знакомый называл этот стиль — «почтительной фамильярностью».

Зарабатывал я теперь не меньше двухсот пятидесяти рублей. Даже умудрялся платить какие-то алименты.

И друзья у меня появились соответствующие. Это были молодые писатели, художники, ученые, врачи. Полноценные, хорошо зарабатывающие люди. Мы ходили по театрам и ресторанам, ездили на острова. Короче, вели нормальный для творческой интеллигенции образ жизни.

Все эти месяцы я помнил о Буше. Ведь Таллинн — город маленький, интимный. Обязательно повстречаешь знакомого хоть раз в неделю.

Буш не завидовал моим успехам. Наоборот, он радостно повторял: «Действуй, старик! Наши люди должны занимать ключевые посты в государстве!»

Я одалживал Бушу деньги. Раз двадцать платил за него в Мюнди-баре. То есть вел себя как полагается. А что я мог сделать еще? Не уступать же было ему свою должность!

Честное слово, я не избегал Буша. Просто мы относились теперь к различным социальным группам.

Мало того, я настоял, чтобы Буша снова использовали как внештатного автора. Откровенно говоря, для этого я был вынужден преодолеть значительное сопротивление. История с капитаном Руди все еще не забылась.

Разумеется, Бушу теперь не доверяли материалов с политическим оттенком. Он писал бытовые, спортивные, культурные информации. Каждое его выступление я старался похвалить на летучке. Буш стал чаще появляться в редакционных коридорах.

К этому времени он несколько потускнел. Брюки его слегка лоснились на коленях. Пиджак явно требовал чистки. Однако стареющие женщины (а их в любой редакции хватает) продолжали, завидев Буша, мучительно краснеть. Значит, его преимущества таились внутри, а не снаружи.

В редакции Буш держался корректно и скромно. С начальством безмолвно раскланивался. С рядовыми журналистами обменивался новостями. Женщинам говорил комплименты.

Помню, в редакции отмечалось шестидесятилетие заведующей машинописным бюро — Лорейды Филипповны Кожич. Буш посвятил ей милое короткое стихотворение:

Вздыхаю я, завидевши Лорейду...
Ах, что бы это значило по Фрейду?!

После этого Лорейда Филипповна неделю ходила сияющая и бледная одновременно...

Есть у номенклатурных работников одно привлекательное свойство. Они не злопамятны хотя бы потому, что ленивы. Им не хватает сил для мстительного рвения. Для подлинного зла им не хватает чистого энтузиазма. За многие годы благополучия их чувства притупляются до снисходительности. Их мысли так безжизненны, что это временами напоминает доброту.

Редактор «Советской Эстонии» был человеком добродушным. Разумеется, до той минуты, пока не становился жестоким и злым. Пока его не вынуждали к этому соответствующие инструкции. Известно, что порядочный человек тот, кто делает гадости без удовольствия...

Короче, Бушу разрешили печататься. Первое время его заметки редактировались с особой тщательностью. Затем стало ясно, что Буш изменился, повзрослел. Его корреспонденции становились все более объемистыми и значительными по тематике. Три или четыре очерка Буша вызвали небольшую сенсацию. На фоне местных журналистских кадров он заметно выделялся.

В декабре редактор снова заговорил о предоставлении Бушу штатного места. Кроме того, за Буша ратовали все стареющие женщины из месткома. Да и мы с Шаблинским активно его поддерживали. На одной летучке я сказал: «Необходимо полнее использовать Буша. Иначе мы толкнем его на скользкий диссидентский путь...»

Трудоустройство Буша приобрело характер идеологического мероприятия. Главный редактор, улыбаясь, поглядывал в его сторону. Судьба его могла решиться в обозримом будущем.

Подошел Новый год. Намечалась традиционная конторская вечеринка. Как это бывает в подобных случаях, заметно активизировались лодыри. Два алкоголика метранпажа побежали за водкой. Толстые девицы из отдела писем готовили бутерброды. Выездные корреспонденты Рушкис и Богданов накрывали столы.

Работу в этот день закончили пораньше. Внештатных авторов просили не расходиться. Редактор вызвал Буша и сказал:

— Надеюсь, мы увидимся сегодня вечером. Я хочу сообщить вам приятную новость.

Сотрудники бродили по коридорам. Самые нетерпеливые заперлись в отделе быта. Оттуда доносился звон станов.

Некоторые ушли домой переодеться. К шести часам вернулись. Буш щеголял в заграничном костюме табачного

цвета. Его лакированные туфли сверкали. Сорочка издавала канцелярский шелест.

— Ты прекрасно выглядишь, — сказал я ему.

Буш смущенно улыбнулся:

— Вчера Галина зубы продала. Отнесла ювелиру две платиновые коронки. И купила мне всю эту сбрую. Ну как я могу ее после этого бросить!..

Мы расположились в просторной комнате секретариата. Шли заключительные приготовления. Все громко беседовали, курили, смеялись.

Вообще редакционные пьянки — это торжество демократии. Здесь можно подшутить над главным редактором. Решить вопрос о том, кто самый гениальный журналист эпохи. Выразить кому-то свои претензии. Произнести неумеренные комплименты. Здесь можно услышать, например, такие речи:

— Старик, послушай, ты — гигант! Ты — Паганини фоторепортажа!

— А ты, — доносится ответ, — Шекспир экономической передовицы!..

Здесь же разрешаются текущие амурные конфликты. Плетутся интриги. Тайно выдвигаются кандидаты на Доску почета.

Иначе говоря, каждодневный редакционный бардак здесь становится нормой. Окончательно воцаряется типичная для редакции атмосфера с ее напряженным, лихорадочным бесплодием...

Буш держался на удивление чопорно и строго. Сел в кресло у окна. Взял с полки книгу. Погрузился в чтение. Книга называлась «Трудные случаи орфографии и пунктуации».

Наконец всех пригласили к столу. Редактор дождался полной тишины и сказал:

— Друзья мои! Вот и прошел еще один год, наполненный трудом. Нам есть что вспомнить. Были у нас печали и радости. Были достижения и неудачи. Но в целом, хочу сказать, газета добилась значительных успехов. Все больше мы публикуем серьезных, ярких и глубоких материалов. Все реже совершаем мы просчеты и ошибки. Убежден, что в наступающем году мы будем работать еще дружнее и сплоченнее... Сегодня мне звонили из Центрального Комитета. Иван Густавович Кэбин шлет вам свои поздравления. Разрешите мне от души к ним присоединиться. С Новым годом, друзья мои!..

После этого было множество тостов. Пили за главного редактора и ответственного секретаря. За скромных труженников — корректоров и машинисток. За внештатных коррек-

пондентов и активных рабкоров. Кто-то говорил о политической бдительности. Кто-то предлагал создать футбольную команду. Редакционный стукач Игорь Гаспль призывал к чувству локтя. Мишка Шаблинский предложил тост за наших очаровательных женщин...

Комната наполнилась дымом. Все разбрелись с фужерами по углам. Закуски быстро таяли.

Торшина из отдела быта уговаривала всех спеть хором. Фима Быковер раздавал долги. Завхоз Мелешко сокрушался:

— Видимо, я так и не узнаю, кто стянул общественный рефлектор!..

Вскоре появилась уборщица Хильда. Надо было освободить помещение.

— Еще минут десять, — сказал редактор и лично протянул Хильде бокал шампанского.

Затем на пороге возникла жена главного редактора — Зоя Семеновна. В руках она несла громадный мельхиоровый поднос. На подносе тонко дребезжали чашечки с кофе.

До этого Буш сидел неподвижно. Фужер он поставил на крышку радиолы. На коленях его лежал раскрытый справочник.

Потом Буш встал. Широко улыбаясь, приблизился к Зое Семеновне. Внезапно произвел какое-то стремительное футбольное движение. Затем — могучим ударом лакированного ботинка вышиб поднос из рук ошеломленной женщины.

Помещение наполнилось звоном. Ошпаренные сотрудники издавали пронзительные вопли. Люба Торшина, вскрикнув, потеряла сознание...

Четверо внештатников схватили Буша за руку. Буш не сопротивлялся. На лице его застыла счастливая улыбка.

Кто-то уже звонил в милицию. Кто-то — в «скорую помощь»...

Через три дня Буша обследовала психиатрическая комиссия. Признала его совершенно вменяемым. В результате его судили за хулиганство. Буш получил два года — условно.

Хорошо еще, что редактор не добивался более сурового наказания. То есть Буш легко отделался. Но о журналистике ему теперь смешно было и думать...

Тут я на месяц потерял Буша из виду. Ездил в Ленинград устраивать семейные дела. Вернувшись, позвонил ему — телефон не работал.

Я не забыл о Буше. Я надеялся увидеть его в центре города. Так и случилось.

Буш стоял около витрины фотоателье, разглядывая каких-то улыбающихся монстров. В руке он держал половинку французской булки. Все говорило о его совершенной праздности.

Я предложил зайти в бар «Кунгла». Это было рядом. Буш сказал:

— Я там должен.

— Много?

— Рублей шесть.

— Вот и хорошо, — говорю, — заодно рассчитаемся.

Мы разделись, поднялись на второй этаж, сели у окна.

Я хотел узнать, что произошло. Ради чего совершил Буш такой дикий поступок? Что это было — нервная вспышка? Помрачение рассудка?

Буш сам заговорил на эту тему:

— Пойми, старик! В редакции — одни шакалы...

Затем он поправился:

— Кроме тебя, Шаблинского и четырех несчастных старух... Короче, там преобладают свиньи. И происходит эта дурацкая вечеринка. И начинаются все эти похабные разговоры. А я сижу и жду, когда толстожопый редактор меня благодетельствует. И возникает эта кривоногая Зойка с подносом. И всем хочется только одного — лягнуть ногой этот блядский поднос. И тут я понял — наступила ответственная минута. Сейчас решится — кто я. Рыцарь, как считает Галка, или дерьмо, как утверждают все остальные? Тогда я встал и пошел...

Мы просидели в баре около часа. Мне нужно было идти в редакцию. Брать интервью у какого-то прогрессивного француза.

Я спросил:

— Как Галина?

— Ничего, — сказал Буш, — перенесла операцию... У нее что-то женское...

Мы спустились в холл. Инвалид-гардеробщик за деревянным барьером пил чай из термоса. Буш протянул ему алюминиевый номерок.

Гардеробщик внезапно рассердился:

— Это типичное хамство — совать номерок цифрой вниз!..

Буш выслушал его и сказал:

— У каждого свои проблемы...

После того дня мы виделись редко. Я был очень занят в редакции. Да еще готовил к печати сборник рассказов.

Как-то встретил Буша на ипподроме. У него был вид опустившегося человека. Пришлось одолжить ему немного денег. Буш поблагодарил и сразу же устремился за выпивкой. Я не стал ждать и ушел.

Потом мы раза два сталкивались на улице и в трамвае. Буш опустился до последней степени. Говорить нам было не о чем.

Летом меня послали на болгарский кинофестиваль. Это

была моя первая заграничная командировка. То есть знак политического доверия ко мне и явное свидетельство моей лояльности.

Возвратившись, я услышал поразительную историю.

В Таллинне праздновали 7 Ноября. Колонны демонстрантов тянулись в центр города. Трибуны для правительства были воздвигнуты у здания Центрального Комитета. Звучала музыка. Над площадью летали воздушные шары. Диктор выкрикивал бесчисленные здравицы и поздравления.

Люди несли транспаранты и портреты вождей. Милиционеры следили за порядком. Настроение у всех было приподнятое. Что ни говори, а все-таки праздник.

Среди демонстрантов находился Буш. Мало того, он нес кусок фанеры с деревянной ручкой. Это напоминало лопату для уборки снега. На фанере зеленой гуашью было размашисто выведено:

«Дадим суровый отпор врагам мирового империализма!»

С этим плакатом Буш шел от Кадриорга до фабрики роялей. И только тут, наконец, милиционеры спохватились. Кто это — «враги мирового империализма»? Кому это — «суровый отпор»?..

Буш не сопротивлялся. Его сунули в закрытую черную машину и доставили на улицу Пагари. Через три минуты Буша допрашивал сам генерал Порк.

Буш отвечал на вопросы спокойно и коротко. Вины своей категорически не признавал. Говорил, что все случившееся — недоразумение, ошибка, допущенная по рассеянности.

Генерал разговаривал с Бушем часа полтора. Временами был корректен, затем неожиданно повышал голос. То называл Буша Эрнстом Леопольдовичем, то кричал ему: «Расстреляю, собака!»

В конце концов Бушу надоело оправдываться. Он попросил карандаш и бумагу. Генерал, облегченно вздохнув, протянул ему авторучку:

— Чистосердечное признание может смягчить вашу участь...

Минуту Буш глядел в окно. Потом улыбнулся и красивым, стелющимся почерком вывел:

«Заявление».

И дальше:

1. Выражаю чувство глубокой озабоченности судьбами христиан-баптистов Прибалтики и Закавказья!

2. Призываю американскую интеллигенцию чутко реагировать на злоупотребления Кремля в области гражданских свобод!

3. Требую права беспрепятственной эмиграции на мою

историческую родину — в Федеративную Республику Германии!

Подпись — Эрнст Буш, узник совести».

Генерал прочитал заявление и опустил его в мусорную корзину. Он решил применить старый, испытанный метод. Просто взял и ушел без единого слова.

Эта мера, как правило, действовала безотказно. Оставшись в пустом кабинете, допрашиваемые страшно нервничали. Неизвестность пугала их больше, чем любые угрозы. Люди начинали анализировать свое поведение. Лихорадочно придумывать спасительные ходы. Путаться в нагромождении бессмысленных уловок. Мучительное ожидание превращало их в дрожащих тварей. Этого-то генерал и добивался.

Он возвратился минут через сорок. То, что он увидел, поразило его. Буш мирно спал, уронив голову на кипу протоколов.

Впоследствии генерал рассказывал:

— Чего только не бывало в моем кабинете! Люди перерезали себе вены. Сжигали в пепельнице записные книжки. Пытались выброситься из окна. Но чтобы уснуть — это впервые!..

Буша увезли в психиатрическую лечебницу. Происшедшее казалось генералу явным симптомом душевной болезни. Возможно, генерал был недалек от истины.

Выпустили Буша только через полгода. К этому времени и у меня случились перемены.

Трудно припомнить, с чего это началось. Раза два я сказал что-то лишнее. Поссорился с Гасплем, человеком из органов. Однажды явился пьяный в ЦК. На конференции эстонских писателей возражал самому товарищу Липпо...

Чтобы сделать газетную карьеру, необходимы постоянные возрастающие усилия. Остановиться — значит капитулировать. Видимо, я не рожден был для этого. Затормозил, буксуя, на каком-то уровне, и все...

Вспомнили, что я работаю без таллиннской прописки. Дознались о моем частично еврейском происхождении. Да и контакты с Бушем не укрепляли мою репутацию.

А тут еще начались в Эстонии политические беспорядки. Группа диссидентов обратилась с петицией к Вальдхайму. Потребовали демократизации и самоопределения. Через три дня их меморандум передавало западное радио. Еще через неделю из Москвы последовала директива — усилить воспитательную работу. Это означало — кого-то разжаловать, выгнать, понизить. Все это, разумеется, помимо следствия над авторами меморандума.

Завхоз Мелешко говорил в редакции:

— Могли обратиться к собственному начальству! Выдумали еще какого-то Хайма...

Я был подходящим человеком для репрессий. И меня уволили. Одновременно в типографии был уничтожен почти готовый сборник моих рассказов. И все это для того, чтобы рапортовать кремлевским боссам — меры приняты!

Конечно, я был не единственной жертвой. В эти же дни закрыли ипподром — рассадник буржуазных настроений. В буфете Союза журналистов прекратили торговлю спиртными напитками. Пропала ветчина из магазинов. Хотя это уже другая тема...

В общем, с эстонским либерализмом было покончено. Лучшая часть народа — двое молодых ученых — скрылись в подполье...

Меня лишили штатной должности. Рекомендовали уйти «по собственному желанию». Опять советовали превратиться в рабкора. Я отказался.

Пора мне было ехать в Ленинград. Тем более что семейная жизнь могла наладиться. На расстоянии люди становятся благоразумнее.

Я собирал вещи на улице Томпа. Вдруг зазвонил телефон. Я узнал голос Буша:

— Старик, дождись меня! Я еду! Вернее — иду пешком. Денег — ни копейки. Зато везу тебе ценный подарок...

Я спустился за вином. Минут через сорок появился Буш. Выглядел он лучше, чем полгода назад. Я спросил:

— Как дела?

— Ничего.

Буш рассказал мне, что его держат на учете в психиатрической лечебнице. Да еще регулярно таскают в КГБ.

Затем Буш слегка оживился и понизил голос:

— Вот тебе сувенир на память.

Он расстегнул пиджак. Достал из-за пазухи сложенный вчетверо лист бумаги. Протянул мне его с довольным видом.

— Что это? — спросил я.

— Стенгазета.

— Какая стенгазета?

— Местного отделения КГБ. Видишь название — «Щит и меч». Тут масса интересного. Какого-то старшину ругают за пьянку. Есть статья о фарцовщиках. А вот стихи про хулиганов:

Стиляга угодил бутылкой
В орденосца-старика!
Из седовласого затылка
Кровь хлещет, будто с родника...

— А что, — сказал Буш, — неплохо...

Потом начал рассказывать, как ему удалось завладеть стенгазетой:

— Вызывает меня этот чокнутый Сорокин. Затекает свои идиотские разговоры. Я опровергаю все его доводы цитатами из Маркса. Сорокин уходит. Оставляет меня в своем педерастическом кабинете. Я думаю — что бы такое захватить Сереге на память? Вижу — на шкафу стенгазета. Схватил, засунул под рубаху. Дарю тебе в качестве сувенира...

— Давай, — говорю, — сожжем ее к черту! От греха подальше.

— Давай, — согласился Буш.

Мы разорвали стенгазету на клочки и подожгли ее в унитазе.

Я начинал опаздывать. Вызвал такси. Буш поехал со мной на вокзал.

На перроне он схватил меня за руку:

— Что я могу для тебя сделать? Чем я могу тебе помочь?

— Все нормально, — говорю.

Буш на секунду задумался, принимая какое-то мучительное решение.

— Хочешь, — сказал он, — женись на Галине? Уступаю как другу. Она может рисовать цветы на продажу. А через неделю родятся сиамские котята. Женись, не пожалеешь!

— Я, — говорю, — в общем-то, женат.

— Дело твое, — сказал Буш.

Я обнял его и сел в поезд.

Буш стоял на перроне один. Кажется, я не сказал, что он был маленького роста.

Я помахал ему рукой. В ответ Буш поднял кулак — «рот фронт!». Затем растопырил пальцы — «виктори!».

Поезд тронулся.

Шестой год я живу в Америке. Со мной жена и дочь Катя. Покупая очередные джинсы, Катя минут сорок топчет их ногами. Затем прodelывает дырки на коленях...

Недавно в Бруклине меня окликнул человек. Я присмотрелся и узнал Гришаню. Того самого, который вез меня из Ленинграда.

Мы зашли в ближайший ресторан. Гришаня рассказал, что отсидел всего полгода. Затем удалось дать кому-то взятку, и его отпустили.

— Умел братъ — сумей дать, — философски высказался Гришаня.

Я спросил его — как Буш? Он сказал:

— Понятия не имею. Шаблинского назначили ответственным секретарем...

Мы договорились, что созвонимся. Я так и не позвонил. Он тоже...

Месяц назад я прочитал в газетах о капитане Руди. Он пробыл четыре года в Мордовии. Потом за него вступились какие-то организации. Капитана освободили раньше срока. Сейчас он живет в Гамбурге.

О Буше я расспрашивал всех, кого только мог. По одним сведениям, Буш находится в тюрьме. По другим — женился на вдове министра рыбного хозяйства. Обе версии правдоподобны. И обе внушают мне горькое чувство.

Где он теперь, диссидент и красавец, шизофреник, поэт и герой, возмутитель спокойствия, — Эрнст Леопольдович Буш?!

КОМПРОМИСС ОДИННАЦАТЫЙ

(«Советская Эстония». Август. 1976 г.)

«ТАЛЛИНН ПРОЩАЕТСЯ С ХУБЕРТОМ ИЛЬВЕСОМ.
Вчера на кладбище Линнаметса был похоронен верный сын эстонского народа, бессменный директор телестудии, Герой Социалистического Труда Хуберт Вольдемарович Ильвес.

Вся жизнь Хуберта Ильвеса была образцом беззаветного служения делу коммунизма.

Его отличали неизменная чувство ответственности, внимание к людям и удивительная личная скромность...

Под звуки траурного марша видные представители общественности несут украшенный многочисленными венками гроб с телом покойного.

Над свежей могилой звучат торжественные слова прощания...

В траурном митинге приняли участие видные партийные и советские работники, коллеги покойного, сотрудники радио, телевидения и крупнейших эстонских газет.

Память о Хуберте Ильвесе будет вечно жить в наших сердцах».

— Товарищ Довлатов, у вас имеется черный костюм?..

Редактор недовольно хмурит брови. Ему неприятно задавать такой ущербный вопрос сотруднику республиканской партийной газеты. У редактора бежевое младенческое лицо, широкая поясница и детская фамилия — Туронок.

— Нет, — сказал я, — у меня джемпер.

— Не сию минуту, а дома.

— У меня вообще нет костюма, — говорю.

Я мог объяснить, что и дома-то нет, пристанища, жилья. Что я снимаю комнату бог знает где...

— Как же вы посещаете театр?

Я мог бы сказать, что не посещаю театра. Но в газете только что появилась моя рецензия на спектакль «Бесприданница». Я написал ее со слов Димы Шера. Рецензию хвалили за полемичность...

— Впрочем, давайте говорить по существу, — устал редактор, — скончался Ильвес.

В силу гнусной привычки ко лжи я изобразил уныние.

— Вы знали его? — спросил редактор.

— Нет, — говорю.

— Ильвес был директором телестудии. Похороны его — серьезное мероприятие. Надеюсь, это ясно?

— Да.

— Должен присутствовать человек от нашей редакции. Мы собирались послать Шаблинского.

— Правильно, — говорю, — Мишка у них без конца халтурит.

Редактор поморщился.

— Михаил Борисович занят. Едет в командировку на остров Сааремаа. Кленский отпадает. Тут нужен человек с представительной внешностью. У Буша запой и так далее. Остановились на вашей кандидатуре. Умоляю, не подведите. Нужно будет произнести короткую теплую речь. Необходимо, чтобы... В общем, держитесь так, будто хорошо знали покойного...

— Разве у меня представительная внешность?

— Вы рослый, — снизошел Туронок, — мы посоветовались с Ключиной.

А, думаю, Галочка, впрочем, ладно...

— Генрих Францевич, — сказал я, — мне это не нравится. Отдает мистификацией. Ильвеса я не знал. Фальшиво скорбеть не желаю. Направьте Шаблинского. А я, так и быть, поеду на Сааремаа.

— Это исключено. Вы не создаете проблемных материалов.

— Не поручают, я и не создаю.

— Вам поручили корреспонденцию о немцах, вы отказались.

— Я считаю, их нужно отпустить.

— Вы наивный человек. Мягко говоря.

— А что? В Союзе немцев больше, чем армян. Но они даже автономии лишены.

— Да какие они немцы?! Это третье поколение колонистов. Они давно в эстонцев превратились. Язык, культура, образ мыслей... Типичные эстонцы. Отцы и деды в Эстонии жили...

— Дед Бори Ройблата тоже жил в Эстонии. И отец жил в Эстонии. Но Боря так и остался евреем. И ходит без работы...

— Знаете, Довлатов, с вами невозможно разговаривать. Какие-то демагогические приемы. Мы дали вам работу, пошли навстречу. Думали, вы повзрослеете. Будете держаться немного солиднее...

— Я же работаю, пишу.

— И даже неплохо пишете. Сам Юрна недавно цитировал одну вашу фразу: «...Конструктивная идея затеря-

лась в хаосе безответственного эксперимента...» Речь идет о другом. Ваша аполитичность, ваш инфантилизм... постоянно ждешь от вас какого-нибудь демарша. Вы зарабатываете двести пятьдесят рублей. К вам хорошо относятся, ценят ваш юмор, ваш стиль. Где отдача, спрашивается? Почему я должен тратить время на эти бесплодные разговоры? Я настоятельно прошу вас заменить Шаблинского. Он временно дает вам свой пиджак. Примерьте. Там, на вешалке... Я примерил.

— Ну и лацканы, — говорю, — сюда бы орден Красного Знамени...

— Все, — прервал меня редактор, — идите.

Я ненавижу кладбищенские церемонии. Не потому, что кто-то умер, ведь близких хоронить мне не доводилось. А к посторонним я равнодушен. И все-таки ненавижу похороны. На фоне чьей-то смерти любое движение кажется безнравственным. Я ненавижу похороны за ощущение красивой убедительной скорби. За слезы чужих, посторонних людей. За подавляемое чувство радости: «Умер не ты, а другой». За тайное беспокойство относительно предстоящей выпивки. За неумеренные комплименты в адрес покойного. (Мне всегда хотелось крикнуть: «Ему наплевать. Будьте снисходительнее к живым. То есть ко мне, например».)

И вот я должен, заменив Шаблинского, участвовать в похоронных торжествах, скорбеть и лицемерить. Звоню на телестудию:

— Кто занимается похоронами?

— Сам Ильвес.

Я чуть не упал со стула.

— Рандо Ильвес, сын покойного. И организационная комиссия.

— Как туда позвонить? Записываю... Спасибо.

Звоню. Отвечают с прибалтийским акцентом:

— Вы родственник покойного?

— Коллега.

— Сотрудничаете на телевидении?

— Да.

— Ваша фамилия — Шаблинский?

«Да», — чуть не сказал я.

— Шаблинский в командировке. Мне поручено его заменить.

— Ждем вас. Третий этаж, комната двенадцать.

— Еду.

В двенадцатой комнате толпились люди с повязками на рукавах. Знакомых я не встретил. Пиджак Шаблинского, хранивший его очертания, теснил и сковывал меня. Я чувствовал себя неловко, прямодохлый кит в бассейне. Лошадь в собачьей конуре.

Я помедлил, записывая эти метафоры.

Женщина за столом окликнула меня:

— Вы Шаблинский?

— Нет.

— От «Советской Эстонии» должен быть Шаблинский.

— Он в командировке. Мне поручили его заменить.

— Ясно. Текст выступления готов?

— Текст? Я думал, это будет... взволнованная импровизация.

— Есть положение... Текст необходимо согласовать.

— Могу я представить его завтра?

— Не трудитесь. Вот текст, подготовленный Шаблинским.

— Чудно, — говорю, — спасибо.

Мне вручили два листка папиросной бумаги. Читаю:

«Товарищи! Как я завидую Ильвесу! Да, да, не удивляйтесь. Чувство белой зависти охватывает меня. Какая содержательная жизнь! Какие внушительные итоги! Какая завидная слава мечтателя и борца!..»

Дальше шло перечисление заслуг, и наконец — финал:

«...Спи, Хуберт Ильвес! Ты редко высыпался. Спи!..»

О том, чтобы произнести все это, не могло быть и речи. На бумаге я пишу все что угодно. Но вслух, перед людьми...

Обратился к женщине за столом:

— Мне бы хотелось внести что-то свое... Чутьочку изменить... Я не столь эмоционален...

— Придется сохранить основу. Есть виза...

— Разумеется.

— Данные перепишите.

Я переписал.

— Отсебятины быть не должно.

— Знаете, — говорю, — уж лучше отсебятина, чем отъеготина.

— Как? — спросила женщина.

— Ладно, — говорю, — все будет нормально.

Теперь несколько слов о Шаблинском. Его отец был репрессирован. Дядя, профессор, упоминается в знаменитых мемуарах. Чуть ли не единственный, о ком говорится с симпатией.

Миша рос в унылом лагерном поселке. Арифметику и русский ему преподавали корифеи советской науки... в бушлатах. Так складывались его жизненные представления. Он вырос прочным и толковым. Словам не верил, действовал решительно. Много читал. В нем уживались интерес к поэзии и любовь к технике. Не имея диплома, он работал конструктором. Поступил в университет. Стал промышленным журналистом. Гибрид поэзии и техники — отныне его сфера.

Он был готов на все ради достижения цели. Пользовался любыми средствами. Цель представлялась все туманнее. Жизнь превратилась в достижение средств. Альтернатива добра и зла переродилась в альтернативу успеха и неудачи. Активная жизнедеятельность затормозила нравственный рост. Когда нас познакомили, это был типичный журналист с его раздвоенностью и цинизмом. О журналистах замечательно высказался Форд: «Честный газетчик продается один раз». Тем не менее я считаю это высказывание идеалистическим. В журналистике есть скупочные пункты, комиссионные магазины и даже барахолка. То есть перепродажа идет всюю.

Есть жизнь, прекрасная, мучительная, исполненная трагизма. И есть работа, которая хорошо оплачивается. Работа по созданию иной, более четкой, лишенной трагизма, гармонической жизни. На бумаге.

Сидит журналист и пишет: «Шел грозовой девятнадцатый...»

Оторвался на минуту и кричит своей постылой жене: «Гарик Лернер обещал мне сделать три банки растворимого кофе...»

Жена из кухни: «Как, Лернера еще не посадили?»

Но перо уже скользит дальше. Допустим: «...Еще одна тайна вырвана у природы...» Или там: «...В Нью-Йорке левкой не пахнут...»

В жизни газетчика есть все, чем прекрасна жизнь любого достойного мужчины.

Искренность? Газетчик искренне говорит не то, что думает.

Творчество? Газетчик без конца творит, выдавая желаемое за действительное.

Любовь? Газетчик нежно любит то, что не стоит любви.

Впрочем, мы отвлеклись.

С телевидения я поехал к Марине. Целый год между нами происходило что-то вроде интеллектуальной близости. С оттенком вражды и разврата.

Марина трудилась в секретариате нашей газеты. До и после работы ею владели скептицизм и грубоватая прямота тридцатилетней незамужней женщины.

Когда-то она была подругой Шаблинского. Как и все остальные сотрудницы нашей редакции. Все они без исключения рано или поздно уступали его домогательствам. Секрет такого успеха был мне долгое время неясен. Затем я понял, в чем дело. Шаблинский убивал недвусмысленностью своих посягательств. Объявил, например, практикантке из Литвы, с которой был едва знаком:

— Я вас люблю. И даже возможный триппер меня не остановит.

Как-то говорю ему:

— Мишка, я не ханжа. Но у тебя четыре дамы. Скоро Новый год. Не можешь же ты пригласить всех четверых.

— Почему? — спросил Шаблинский.

— Будет скандал.

— Не исключено. — задумался он.

— Так как же?

Шаблинский подумал, вздохнул и сказал:

— Если бы ты знал, какая это серьезная проблема...

С Мариной он расстался потому, что задумал жениться. Марина в жены не годилась. Было ей, повторяю, около тридцати, курящая и много знает. Мишу интересовал традиционный еврейский брачный вариант. Чистая девушка с хозяйственными наклонностями. Кто-то его познакомил. Действительно, милая Розочка, с усиками. Читает, разбирается. Торговый папа...

Роза хлопала глазами, повторяя:

— Ой, как я буду замужем?! У меня ж опыта нет...

— Чего нет? — хохотал Шаблинский...

А Марину бросил. И тут подвернулся я. Задумчивый, вежливый, честный. И она меня как бы увидела впервые. Впервые оценила.

Есть в моих добродетелях интересное свойство. Они расцветают и становятся заметными лишь на фоне какого-нибудь безобразия. Вот меня и любят покинутые дамы.

Сначала она все про Шаблинского говорила:

— Ты знаешь, он ведь по-своему любил меня. Как-то я его упрекнула: «Не любишь». Что, ты думаешь, он сделал? Взял мою одежду, сумочку и повесил...

— Куда? — спрашиваю.

— Какой ты... Это было ночью. Полный интим. Я говорю: «Не любишь!» А он взял одежду, сумочку и повесил. На это самое. Чтобы доказать, какой он сильный. И как меня любит...

Итак, с телевидения еду к Марине. Дом ее в районе новостроек заселен коллегами-газетчиками. Выйдешь из троллейбуса — пустырь, громадный дом, и в каждом окне — сослуживец.

Поднялся на четвертый этаж, звоню. И тут вспоминаю, что на мне пиджак Шаблинского. Распахнулась дверь. Марина глядит на меня с удивлением. Может, подумала, что я Шаблинского (из ревности) зарезал, а клифт его — украл...

(У женщин на одежду память какая-то сверхъестественная. Моя жена говорила о ком-то: «Да ты его знаешь. Отлично знаешь. Такой несимпатичный, в черных ботинках с коричневыми шнурками».)

У хорошего человека отношения с женщинами всегда складываются трудно. А я человек хороший. Заявляю без тени смущения, потому что гордиться тут нечем. От хорошего человека ждут соответствующего поведения. К нему предъявляют высокие требования. Он тащит на себе ежедневный мучительный груз благородства, ума, прилежания, совести, юмора. А затем его бросают ради какого-нибудь отъявленного подонка. И этому подонку рассказывают, смеясь, о нудных добродетелях хорошего человека.

Женщины любят только мерзавцев, это всем известно. Однако быть мерзавцем не каждому дано. У меня был знакомый валютчик Акула. Избивал жену черенком лопаты. Подарил ее шампунь своей возлюбленной. Убил кота. Один раз в жизни приготовил ей бутерброд с сыром. Жена всю ночь рыдала от умиления и нежности. Консервы девять лет в Мордовию посылала. Ждала...

А хороший человек, кому он нужен, спрашивается?.. Итак, я в чужом пиджаке.

— В чем дело? — говорит Марина, усмотрев в этом переодевании какое-то сексуальное надругательство. Какую-то оскорбительную взаимозаменяемость чувств...

— Это Мишкин пиджак, — говорю, — на время, для солидности.

— Хочешь сделать мне предложение? (Юмор с приемью желчи.)

— Будь я серьезным человеком — запросто.

— Не пугайся.

— Я должен выступить на похоронах. Ильвес умер.

— Ильвес? С телевидения? Кошмар... Ты ел?

— Не помню. Я Ильвеса в глаза не видел.

— Есть бульон с пирожками и утка.

— Давай. Может, сбегать?

— У меня есть. На доньшке...

Знаю я эти культурные дома. Иконы, самовары, Нефертити... Какие-то многозначительные черепки... Уйма книг, и все новенькие... А водки — на доньшке. Вечно на доньшке. И откуда она берется? Кто-то принес? Не допил? Занялся более важными делами?

Ревновать я не имею права. Жена, алименты... Долго рассказывать. Композиция рухнет...

— Откуда водка? — спрашиваю. — Кто здесь был?

Я не ревную, мне безразлично. Это у нас игра такая.

— Эдик заходил. У него депрессия.

Имеется в виду поэт Богатыреев. Затянувшаяся фамилия, очки, безумный хохот. Видел я книгу его стихов. То ли «Гипотенуза добра», то ли «Биссектриса сердца». Что-то в этом роде. Белые стихи. А может, я ошибаюсь. Например, такие:

Мы рядом шли, как две слезы,
И не могли соединиться...

И дальше указание: «Ночь 21—22 декабря. Скорый поезд Ленинград — Таллинн».

— У него всегда депрессия. Рабочее состояние. А у Буша рабочее состояние — запой...

— Не будь злым!

— Ладно..

— Хочешь посмотреть, что я в дневнике написала? Относительно тебя.

Марина принесла вишневого цвета блокнот. На обложке золотые буквы: «Делегату Таллиннской партийной конференции».

— Здесь не читай. И здесь не читай. Вот это.

«Он был праздником моего тела и гостем моей души. Ночь 19—20 августа 1975 года».

Я прочел и содрогнулся. Комнату заполнил нестерпимый жар. Голубые стены косо поползли вверх. Перед глазами раскачивались эстампы. Приступ удушья вышвырнул меня за дверь. С шуршанием задевая обои, я устремился в ванную. Склонился к раковине, опершись на ее холодные фаянсовые борта. Меня стошнило. Я сунул голову под кран. Ледяная вода потекла за шиворот.

Марина деликатно ждала в коридоре. Затем спросила:

— Пил вчера?

— Ох, не приставай...

— Обидно наблюдать, как гибнет человек.

— Знаешь, — говорю, — проиграть в наших условиях, может быть, достойнее, чем выиграть.

— Тебе нравится чувствовать себя ущемленным. Ты лбуешься своими неудачами, кокетничаешь этим...

— Лимон у тебя есть?

— Сейчас.

Сажу жую лимон. Выражение лица — соответствующее. А Марина твердит свое:

— Истинный талант когда-нибудь пробьет себе дорогу. Рано или поздно состоится. Пиши, работай, добивайся...

— Я добиваюсь. Я, кажется, уже добился. Меня обругал инструктор ЦК по культуре. Послушай, а где это самое? Ты говорила — на донышке...

Марина принесла какую-то чепуху в заграничной бутылке, два фужера. Включила проигрыватель. Естественно — Вивальди. Давно ассоциируется с выпивкой...

— Знаешь, — говорю, — я мечтал побыть в нормальной обстановке.

— Мне хочется видеть тебя сильным, ясным, целеустремленным.

— Это значит — быть похожим на Шаблинского.

— Вовсе нет. Будь естественным.

Вероятно, для меня естественно быть неестественным.

— Ты все чрезмерно усложняешь. Быть порядочным человеком не такое уж достижение.

— А ты попробуй.

— Хамить не обязательно.

И правда, думаю, чего это я... Красивая женщина. Стоит руку протянуть. Протянул. Выключил музыку. Опрокинул фужер...

Слышу: «Мишка, я сейчас умру!» И едва уловимый дребезжащий звук. Это Марина далекой, свободной, невидимой, лишней рукой утвердила фужер...

— Мишка, — говорю, — в командировке.

— О Господи!...

Мне стало противно, и я ушел. Вернее, остался.

Наутро текст моего выступления был готов.

«Товарищи! Грустное обстоятельство привело нас сюда. Скончался Хуберт Ильвес, видный администратор, партиец, человек долга...» Далее шло перечисление заслуг. Несколько беллетризованный вариант трудовой книжки. И наконец — финал: «Память о нем будет жить в наших сердцах!..»

С этим листком я поехал на телевидение. Там прочита-ли и говорят:

— Несколько абстрактно. А впрочем, это даже хорошо. По контрасту с более официальными выступлениями.

Я позвонил в редакцию. Мне сказали:

— Ты в распоряжении похоронной комиссии. До завтра. Чао!

В похоронной комиссии царила суета, напоминавшая знакомую редакционную атмосферу с ее фальшивой озабоченностью и громогласным лихорадочным бесплодием. Я курил на лестнице возле пожарного стенда. Тут меня окликнул Быковер. В любой редакции есть такая нестандартная фигура — еврей, безумец, умница. Как в любом населенном пункте — городской сумасшедший. Судьба Быковера довольно любопытна. Он был младшим сыном ревельского фабриканта. Окончил Кембридж. Затем буржуазная Эстония пала. Как прогрессивно мыслящий еврей, Фима был за революцию. Поступил в иностранный отдел республиканской газеты. (Пригодилось знание языков.) И вот ему дали ответственное поручение. Позвонить Димитрову в Болгарию. Заказать поздравление к юбилею Эстонской Советской Республики. Быковер позвонил в Софию. Трубку взял секретарь Димитрова.

— Говорят с Таллинна, — заявил Быковер, оставаясь евреем при всей своей эрудиции. — Говорят с Таллинна, — произнес он.

В ответ прозвучало:

— «Дорогой товарищ Сталин! Свободолюбивый народ Болгарии приветствует вас. Позвольте от имени трудящихся рапортовать...»

— Я не Сталин, — добродушно исправил Быковер, — я — Быковер. А звоню я то, что хорошо бы в смысле юбилея организовать коротенькое поздравление... Буквально пару слов...

Через сорок минут Быковера арестовали. За кощунственное сопоставление. За глумление над святыней. За идиотизм.

После этого было многое. Следствие, недолгий лагерь, фронт, где Быковер вымыл песком и щелочью коровью тушу. («Вы говорили — мой щчательно, я и мыл щчательно...») Наконец он вернулся. Поступил в какую-то библиотеку. Диплома не имел (Кембридж не считается). Платили ему рублей восемьдесят. А между тем Быковер женился. Жена постоянно болела, но исправно рожала. Нищий, запуганный, полусумасшедший, Быковер топтался в редакционных холлах. Писал грошовые информации на редкость убогого содержания. «Около фабрики «Калев» видели лося». «В доме отставного майора зацвел исполинский кактус». «Вышел из печати очередной том Григоровича». И так далее. Быковер ежедневно звонил в роддом, не появилась ли тройня. Ежемесячно обозревал новинки ширпотреба. Ежегодно давал информацию к началу охотничьего сезона. Мы все его любили.

— Здорово, Фима! — произнес я кощунственно бодрым голосом.

— Такое несчастье, такое несчастье, — ответил Быковер.

— Говорят, покойный был негодяем?

— Не то слово, не то слово...

— Слушай, Фима, — говорю, — ты хоть раз пытался выпрямиться? Заговорить в полный голос?

Быковер взглянул на меня так, что я покраснел.

— Знаешь, чего бы мне хотелось? — сказал он. — Мне бы хотелось стать невидимым. Чтобы меня вообще не существовало. Я бы охотно поменялся с Ильвесом, но у меня дети. Трое. И каждому нужны баретки.

— Зачем ты сюда пришел?

— Я не хотел. Я мыслил так: допустим, скончался Быковер. Разве Ильвес пришел бы его хоронить?! Никогда в жизни. Значит, и я не пойду. Но жена говорит: «Фима, иди. Там будут все. Там будут нужные люди...»

— А я — нужный человек?

— Не очень. Но ты — хороший человек...

Выглянула какая-то девица с траурной повязкой:

— Кто здесь Шаблинский?

— Я, — говорю.

— Понимаете, Ильвес в морге. Одели его прилично, в темно-синий костюм. А галстука не оказалось. Галстук только что доставил племянник. И еще, надо приколоть к лацкану значок Союза журналистов...

Сам я был в галстуке. Мне его уступил год назад фарцовщик Акула. Он же и завязал его каким-то необыкновенным способом. А-ля Френк Синатра. С тех пор я этот галстук не развязывал. Действовал так: ослабив узел, медленно расширял петлю. Кончик оставался снаружи. Затем я осторожно вытаскивал голову с помятыми ушами. И наоборот, таким же образом...

— Боюсь, у меня не получится...

— Вообще-то я умею, — сказал Быковер.

— Прекрасно, — обрадовалась девица, — грузовая машина внизу. Там шофер и еще звукооператор Альтмяэ. Вот галстук и значок. Доставьте покойного сюда. К этому времени все уже будут готовы. Церемония начнется ровно в три. И еще, скажите Альтмяэ, что фон должен быть контрастным. Он знает...

Мы оделись, сели в лифт. Быковер сказал:

— Вот я и пригодился.

Внизу стоял грузовик с фургоном. Звукооператор Альтмяэ дремал в кабине.

— Здорово, Оскар, — говорю, — имей в виду, фон должен быть контрастным.

— Какой еще фон? — удивился Альтмяэ.

— Ты знаешь.

— Что я знаю?

— Девица просила сказать...

— Какая девица?

— Ладно, — говорю, — спи.

Мы залезли в кузов. Быковер радовался:

— Хорошо, что я могу быть полезен. Ильвес — нужный человек.

— Кто нужный человек? — поразился я.

— Младший Ильвес, сын.

— А чем он занимается?

— Работает в отделе пропаганды.

— Садись, — говорю, — поближе, здесь меньше трясет.

— Меня везде одинаково трясет.

Когда-то я был лагерным надзирателем. Возил заключенных в таком же металлическом фургоне. Машина называлась — автозак. В ней помимо общего «салона» имелись два тесных железных шкафа. Их называли ста-

канами. Там, упираясь в стены локтями и коленями, мог поместиться один человек. Конвой находился снаружи. В железной двери была проделана узкая смотровая щель. Заключенные называли это устройство: «Я тебя вижу, ты меня — нет». Я вдруг почувствовал, как это неудобно — ехать в железном стакане. А ведь прошло шестнадцать лет...

По металлической крыше фургона зашуршали ветки. Нас качнуло, грузовик затормозил. Мы вылезли на свет. За деревьями желтели стены прозекторской. Справа от двери — звонок. Я позвонил. Нам отворил мужчина в клеенчатом фартуке. Альтмяэ вынул документы и что-то сказал по-эстонски. Дежурный жестом пригласил нас следовать за ним.

— Я не пойду, — сказал Быковер, — я упаду в обморок.

— И я, — сказал Альтмяэ, — мне будут потом кошмары сниться.

— Хорошо вы устроились, — говорю, — надо было предупредить.

— Мы на тебя рассчитывали. Ты вон какой амбал.

— Я и галстук-то завязывать не умею.

— Я тебя научу, — сказал Быковер, — я научу тебя приему «кембриджский лотос». Ты здесь потренируешься, а на месте осуществишь.

— Я бы пошел, — сказал Альтмяэ, — но я чересчур впечатлительный. И вообще покойников не уважаю. А ты?

— Покойники — моя страсть! — говорю.

— Гляди и учись, — сказал Быковер, — воспринимай зеркально. Узкий сюда, широкий сюда. Оборачиваем дважды. Кончик вытаскиваем. Вот тут придерживаем и медленно затыгиваем. Смотри. Правда, красиво?

— Ничего, — говорю.

— Преимущество «кембриджского лотоса» в том, что узел легко развязывается. Достаточно потянуть за этот кончик, и все.

— Ильвес будет в восторге, — сказал Альтмяэ.

— Ты понял, как это делается?

— Вроде бы да, — говорю.

— Попробуй.

Быковер с готовностью подставил дряблую шею, залепленную в четырех местах лейкопластырем.

— Ладно, — говорю, — я запомнил.

В морге было прохладно и гулко. Коричневые стены, цемент, доска МПВО, огнетушитель — вызывающе алый.

— Этот, — показал дежурный.

У окна на кумачовом постаменте возвышался гроб. Не обыденно коричневый (под цвет несгораемого шкафа), а черный, с галунами из фольги.

Ильвес выглядел абсолютно мертвым. Безжизненным, как муляж.

Я показал дежурному галстук. Выяснилось, что он хорошо говорит по-русски.

— Я приподниму, а вы затягивайте.

Сцепленными руками он приподнял тело, как бревно. Дальше — путаница и суета наших ладоней... «Так... еще немного...» Задравшийся воротничок, измятые бумажные кружева...

— О'кей, — сказал дежурный, тронув волосы покойного.

Я вытащил значок и приколот его к темному шевиотовому лацкану. Дежурный принес крышку с шестью болтами. Примерились, завинтили.

— Я ребят позову.

Вошли Альтмяэ с Быковым. У Фимы были плотно закрыты глаза. Альтмяэ бледно улыбался. Мы вынесли гроб, с отвратительным скрипом задвинули его в кузов.

Альтмяэ сел в кабину. Быков всю дорогу молчал. А когда подъезжали, философски заметил:

— Жил, жил человек и умер.

— А чего бы ты хотел? — говорю.

В вестибюле толпился народ. Говорили вполголоса. На стенах мерцали экспонаты фотовыставки «Юность планеты».

Вышел незнакомый человек с повязкой, громко объявил:

— Курить разрешается.

Это гуманное маленькое беззаконие удовлетворило скорбящих.

В толпе бесшумно сновали распорядители. Все они были мне незнакомы. Видимо, похоронные торжества нарушают обычную иерархическую систему. Безымянные люди оказываются на виду. Из тех, кто готов добровольно этим заниматься.

Я подошел к распорядителю:

— Мы привезли гроб.

— А кабель захватили?

— Кабель? Впервые слышу.

— Ладно, — сказал он, как будто я допустил незначительный промах. Затем возвысил голос, не утратив скорби: — По машинам, товарищи!

Две женщины торопливо и с опозданием бросали на пол еловые ветки.

— Кажется, мы больше не нужны, — сказал Альтмяэ.

— Мне поручено выступить.

— Ты будешь говорить в конце. Сначала выступают товарищи из ЦК. А потом уж все, кому не лень. Все желающие.

— Что значит — все желающие? Мне поручено. И текст завизирован.

— Естественно. Тебе поручено быть желающим. Я видел список. Ты восьмой. После Лембита. Он хочет, чтобы все запели. Есть такая песня — «Журавли». «Мне кажется порою, что солдаты...» И так далее. Вот Лембит и предложит спеть ее в честь Ильвеса.

— Кто же будет петь? Да еще на холоде.

— Все. Вот увидишь.

— Ты, например, будешь петь?

— Нет, — сказал Альтмяэ.

— А ты? — спросил я Быковера.

— Надо будет — спою, — ответил Фима...

Народ тянулся к выходу. Многие несли венки, букеты и цветы в горшках. У подъезда стояли шесть автобусов и наш фургон. Ко мне подошел распорядитель:

— Товарищ Шаблинский?

— Он в командировке.

— Но вы из «Советской Эстонии»?

— Да. Мне поручили...

— Тело вы привезли?

— Мы втроем.

— Будете сопровождать его и в дальнейшем. Поедете в спецмашине. А это, чтоб не мерзнуть.

Он протянул мне булькнущий сверток. Это была завуалированная форма гонорара. Глоток перед атакой. Я смутился, но промолчал. Сунул пакет в карман. Рассказал Быковере и Альтмяэ. Мы зашли в буфет, попросили стаканы. Альтмяэ купил три бутерброда. Вестибюль опустел. Еловые ветки темнели на желтом блестящем полу. Мы подошли к фургону. Шофер сказал:

— Есть место в кабине.

— Ничего, — говорит Альтмяэ.

— Дать ему «маленькую»? — шепотом спросил я.

— Никогда в жизни, — отчеканил Быковер.

Гроб стоял на прежнем месте. Некоторое время мы сидели в полумраке. Заработал мотор. Альтмяэ положил бутерброды на крышку гроба. Я достал выпивку. Фима сорвал зубами крошечную жестяную бескозырку. Негромко звякнули стаканы. Машина тронулась.

— Помянем, — грустно сказал Быковер.

Альтмяэ забылся и воскликнул:

— Хорошо!

Мы выпили, сунули бутылочки под лавку. Бумагу кинули в окно.

— Стаканы надо бы вернуть, — говорю.

— Еще пригодятся, — заметил Быковер.

...Фургон тряхнуло на переезде.

— Мы у цели, — сказал Быковер.

В голосе его зазвучала нота бренности жизни.

Кладбище Линнаметса расположилось на холмах, поросших соснами и усеянных замшелыми эффектными валунами. Глядя на эти декоративные камни, журналисты торопятся сказать: «Остатки ледникового периода». Как будто они застали и хорошо помнят доисторические времена.

Все здесь отвечало идее бессмертия и покоя. Руинами древней крепости стояли холмы. В отдалении рокотало невидимое море. Покачивали кронами сосны. Кора на их желтоватых параллельных стволах шелушилась.

Никаких объявлений, плакатов, киосков и мусорных баков. Торжественный союз воды и камня. Тишина.

Мы выехали на главную кладбищенскую аллею. Ее пересекали тени сосен. Шофер затормозил. Распахнулась железная дверь. За нами колонной выстроились автобусы. Подошел распорядитель:

— Сколько вас?

— Трое, — говорю.

— Нужно еще троих.

Я понял, что гроб — это все еще наша забота.

Около автобусов толпились люди с венками и букетами цветов. Неожиданно грянула музыка. Первый могучий аккорд сопровождался эхом. К нам присоединилось трое здоровых ребят. Внештатники из молодежной газеты. С одним из них я часто играл в пинг-понг. Мы вытащили гроб. Потом развернулись и заняли место в голове колонны. Звучал похоронный марш Шопена. Медленно идти с тяжелым грузом — это пытка. Я устал. Руку сменить невозможно.

Быковер сдавленным голосом вдруг произнес:

— Тяжелый, гад...

— Пошли быстрее, — говорю.

Мы зашагали чуть быстрее. Оркестр увеличил темп. Еще быстрее. Идем, дирижируем. Быковер говорит:

— Сейчас урону.

И громче:

— Смените нас, товарищи... Але!

Его сменил радиокомментатор Оя.

В конце аллеи чернела прямоугольная могила. Рядом возвышался холмик свежей земли. Музыканты расположились полукругом. Дождавшись паузы, мы опустили гроб. Собравшиеся обступили могилу. Распорядитель и его помощники сняли крышку гроба. Я убедился, что галстук на месте, и отошел за деревья. Ребята с телевидения начали устанавливать приборы. Свет ярких ламп казался неуместным. В траве чернели провода. Ко мне подошли Быковер и Альтмяэ. Очевидно, нас сплотила водка. Мы закурили. Распорядитель

потребовал тишины. Заговорил первый оратор с вельветовой новенькой шляпой в руке. Я не слушал. Затем выступали другие. Бодро перекликались мальчики с телевидения.

— Прямая трансляция, — сказал Быковер. Затем добавил: — Меня-то лично похоронят как собаку.

— Эпидстанция не допустит, — реагировал Альтмяэ. — Дорога к смерти вымощена бессодержательными информациями.

— Очень даже содержательными, — возмутился Быковер.

Слово предоставили какому-то ответственному работнику газеты «Ыхту лехт». Я уловил одну фразу: «Отец и дед его боролись против эстонского самодержавия».

— Это еще что такое?! — поразился Альтмяэ. — В Эстонии не было самодержавия.

— Ну, против царизма, — сказал Быковер.

— И царизма эстонского не было. Был русский царизм.

— Вот еврейского царизма действительно не было, — заметил Фима, — чего нет, того нет.

Подошел распорядитель:

— Вы Шаблинский?

— Он в командировке.

— Ах, да... Готовы? Вам через одного...

Альтмяэ вынул папиросы. Зажигалка не действовала, кончился бензин. Быковер пошел за спичками. Через минуту он вернулся на цыпочках и, жестикулируя, сказал:

— Сейчас вы будете хохотать. Это не Ильвес.

Альтмяэ выронил папиросу.

— То есть как? — спросил я.

— Не Ильвес. Другой человек. Вернее, покойник...

— Фима, ты вообще соображаешь?

— Я тебе говорю — не Ильвес. И даже не похож.

Что я, Ильвеса не знаю?!

— Может, это провокация? — сказал Альтмяэ.

— Видно, ты перепутал.

— Это дежурный перепутал. Я Ильвеса в глаза не видел. Надо что-то предпринять, — говорю.

— Еще чего, — сказал Быковер, — а прямая трансляция?

— Но это же бог знает что!

— Пойду взгляну, — сказал Альтмяэ.

Отошел, вернулся и говорит:

— Действительно, не Ильвес. Но сходство есть...

— А как же родные и близкие? — спрашиваю.

— У Ильвеса, в общем-то, нет родных и близких, — сказал Альтмяэ, — откровенно говоря, его недолюбливали.

— А говорили — сын, племянник...

— Поставь себя на их место. Идет телепередача. И вообще — ответственное мероприятие...

Возле могилы запели. Выделялся пронзительный дискант Любы Торшиной из отдела быта. Тут мне кивнул распорядитель. Я подошел к могиле. Наконец пение стихло.

— Прощальное слово имеет...

Разумеется, он переврал мою фамилию:

— Прощальное слово имеет товарищ Долматов.

Кем я только не был в жизни — Докладовым, Заплатовым...

Я шагнул к могиле. Там стояла вода и белели пере-рубленные корни. Рядом на специальных козлах возвышался гроб, отбрасывая тень. Неизвестный утопал в цветах. Клочок его лица сиротливо затерялся в белой пене орхидей и гладиолусов. Покойный, разминувшись с именем, казался вещью. Я увидел подпираемый соснами купол голубого шатра. Как на телеэкране, пролетали галки. Ослепительно желтый шпиль церкви, возвышаясь над домами Мустамяз, подчеркивал их унылую сероватую будничность. Могилу окружали незнакомые люди в темных пальто. Я почувствовал душливый запах цветов и хвои. Борта неуютного ложа давили мне плечи. Опавшие лепестки щекотали сложенные на груди руки. Над моим изголовьем суетливо перемещался телеоператор. Звучал далекий, окрашенный самолюбованием голос:

«...Я не знал этого человека. Его души, его порывов, стойкости, мужества, разочарований и надежд. Я не верю, что истина далась ему без поисков. Не думаю, что угасающий взгляд открыл мерило суматошной жизни, заметных хитростей, побед без триумфа и капитуляций без горечи. Не думаю, чтобы он понял, куда мы идем и что в нашем судорожном отступлении радостно и ценно. И тем не менее он здесь... по собственному выбору...»

Я слышал тихий нарастающий ропот. Из приглушенных обрывков складывалось: «Что он говорит?..» Кто-то тронул меня за рукав. Я шевельнул плечом. Заговорил быстрее:

«...О чем я думаю, стоя у этой могилы? О тайнах человеческой души. О преодолении смерти и душевного горя. О законах бытия, которые родились в глубине тысячелетий и проживут до угасания солнца...»

Кто-то отвел меня в сторону.

— Я не понял, — сказал Альтмяз, — что ты имел в виду?

— Я сам не понял, — говорю, — какой-то хаос вокруг.

— Я все узнал, — сказал Быковер. Его лицо озарилось светом лукавой причастности к тайне. — Это бухгалтер рыболовецкого колхоза — Гаспля. Ильвеса под видом Гаспля хоронят сейчас на кладбище Меривяля. Там невероятный скандал. Только что звонили... Семья в истерике... Решено хоронить, как есть...

— Можно завтра или даже сегодня вечером поменять надгробия, — сказал Альтмяэ.

— Отнюдь, — возразил Быковер, — Ильвес номенклатурный работник. Он должен быть захоронен на привилегированном кладбище. Существует железный порядок. Ночью поменяют гробы...

Я вдруг утратил чувство реальности. В открывшемся мире не было перспективы. Будущее толпилось за плечами. Пережитое заслоняло горизонт. Мне стало казаться, что гармонию выдумали поэты, желая тронуть людские сердца...

— Пошли, — сказал Быковер, — надо занять места в автобусе. А то придется в железном ящике трястись...

КОМПРОМИСС ДВЕ НА ДЦАТЫЙ

(«Советская Эстония». Октябрь. 1976 г.)

«ПАМЯТЬ — ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ! В греческой мифологии есть образ Леты, реки забвения, воды которой уносили пережитые людьми земные страдания. На берегу Леты человек получал жалкую временную иллюзию счастья. Его наивный разум, лишенный опыта и воспоминаний, делал человека игрушкой в руках судьбы. Но испокон века против течения Леты движется многоводная и неиссякаемая река человеческой памяти...

В городе Тарту открылся III республиканский слет бывших узников фашистских концентрационных лагерей.

Их лица — одновременно — праздничны и суровы. На груди у каждого скромный маленький значок — красный треугольник и силуэт голубки, нерасторжимые эмблемы пролитой крови и мира. Они собираются группами в просторных холлах театра «Ванемуйне». Приветствия, объятия, взволнованная речь...

Рассказывает Лазарь Борисович Слапак, инженер-конструктор:

— Сначала я находился в лагере для военнопленных. За антифашистскую пропаганду и организацию побегов был переведен в Штутгоф... Мы узнавали своих по глазам, по одному движению рук, по неуловимой улыбке... Человек не ощущает себя жертвой, если рядом товарищи, братья...

Слет продолжался два дня. Два дня воспоминаний, дружбы, верности пережитому. Делегаты и гости разъехались, пополнив драгоценный и вечный архив человеческой памяти, и мы встали за ними провозносим торжественно и сурово, как предостережение, клятву и заповедь мира: «Никто не забыт, и ничто не забыто!»

В Тарту мы приехали рано утром. Жбанков всю дорогу ремонтировал фотоаппарат. В ход пошли канцелярские скрепки, изоляционная лента, маленький осколок зеркала...

Сначала хотели послать Малкиэля, но Жбанков запротестовал:

— Я, между прочим, фронтовик, имейте совесть!

Редактор Туронок пытался настаивать:

— Там собираются узники, а вовсе не фронтовики.

— Как будто я не узник! — возвысил голос Жбанков.

— Вытрезвитель не считается, — едко заметил редактор.

Жбанков не уступал. В резерве у него имелось действенное средство. Если Мишу явно притесняли, он намекал, что запьет. Он не говорил об этом прямо. Он только спрашивал:

— А что, касса взаимопомощи еще открыта?

Это означало, что Миша намерен раздобыть денег. А если не удастся, то пропить казенный импортный фотоувеличитель.

Как правило, ему уступали. Тем не менее запивал он часто. Сама мысль о запое была его предвестием...

— Генрих Францевич, — вмешался я, — мы со Жбанковым уже ездили.

— У нас — творческое взаимопонимание, — поддакнул Миша.

— Это меня и пугает, — сказал Туронок, — а впрочем, ладно. Езжайте.

Я думаю, редактор вспомнил, что мероприятие ответственное. А фотографировал Жбанков прекрасно...

От вокзала до театра мы шли пешком. Тарту — городок приветливый, культурный. В толпе мелькали зеленые студенческие фуражки. Моросил прозрачный дождь.

— Надо бы пленку купить, — сказал Жбанков.

Зашли в уютный канцелярский магазин. Продавец заваривал кофе на электроплитке. Его типично эстонский, вязанный жилет был украшен металлическими пуговицами.

— Микрат-четыре есть? — спросил Жбанков.

Эстонец покачал головой.

— Начинается...

Я поинтересовался:

— А где ближайший магазин, в котором есть четвертый номер?

— В Хельсинки, — ответил продавец без улыбки.

— Ладно, — сказал Жбанков, — там будут ребята из «ЭДАЗИ»...

Дождь усиливался. Мы поспешили в театр. У входа толпились люди с зонтиками и целлофановыми накидками.

— Чего они все с зонтиками, как дикари? — удивился Жбанков, ступая в глубокую лужу.

— Потеше, — говорю.

Театр «Ванемуине» был построен сравнительно недавно. Мраморные лестницы, просторные холлы, гулкое эхо. Над

входом — синий транспарант (в Эстонии любят синие транспаранты):

«Слава бывшим узникам фашистских концентрационных лагерей!»

Мы нашли распорядителя, представились. Он сказал:

— Программа такова. Сперва — эмоциональная часть. Встреча старых друзей. Затем — торжественный митинг. И наконец — банкет. Кстати, вы тоже приглашены.

— Еще бы, — сказал Жбанков.

В холлах бродили люди с орденами и медалями. В основном — группами по несколько человек. Они курили и тихо беседовали.

— Что-то не видно эмоций, — сказал Жбанков.

Распорядитель пояснил:

— Узники собираются ежегодно. Лет двадцать подряд. Эмоциональная часть скоро кончится. Торжественный митинг продлится около часа. Даже меньше. Затем — банкет...

— С вытекающими оттуда последствиями, — неожиданно захохотал Жбанков.

Распорядитель вздрогнул.

— Извините, — говорю, — мне бы надо с людьми поговорить. Записать кое-что.

Распорядитель остановил высокого, плотного мужчину:

— Знакомьтесь. Лазарь Борисович Слапак, инженер-конструктор, бывший узник Штуттгофа.

Я тоже представился.

— Меня угнали в Штуттгоф за антифашистскую деятельность и организацию побегов. А до этого я находился в Польше...

Слапак говорил быстро и уверенно. Видно, привык иметь дело с журналистами.

— Вас, наверное, интересуют любопытные факты? — спросил он.

Я кивнул.

— Давайте присядем.

Мы сели на диван. К нам присоединились двое. Сравнительно молодой человек в кителе и грустный старик без руки. Распорядитель назвал их фамилии — Валтон и Гурченко.

Слапак дождался тишины и продолжал:

— Для организации побегов требовались средства. Стали думать, как их раздобыть. И, представьте себе, нашли выход. Я неплохо играл в шахматы. И начальник лагеря был завзятым шахматистом. Решили организовать матч. Назначили приз — восемьдесят марок. Товарищи страстно за меня болели. Я выиграл семь партий из десяти. Начальник лагеря сказал: «Доннерветтер!» — и расплатился...

— Интересно, — перебил его безрукий старик, — очень интересно...

Я записал его фамилию — Гурченко.

До этого старик молчал.

— В чем дело, товарищ? — произнес Слапак.

— Я говорю, неплохо время проводили...

— То есть? — напряженно улыбнулся инженер-конструктор.

— В Мордовию бы тебя года на три, — продолжал старик.

Было заметно, что он слегка пьян.

— Где сидели, товарищ? — вмешался распорядитель. — Дахау, Освенцим?

— В Мордовии сидел, — ответил Гурченко, — в Казахстане... Двадцать лет оттянул как бывший военнопленный...

— Вы думаете, я не сидел?! — рассердился инженер-конструктор. — У меня все почки отбиты! Иоссер знаете? Везляну? Ропчу?..

— Слыхали, — поддержал разговор молодой человек в кителе. — Я в пересыльной тюрьме на Ропче менингитом заболел... Я был мальчишкой, когда оказался в плену. Меня отправили в лагерь. Хотя я не подлежал мобилизации. И не занимался пропагандой. Это было несправедливо. В концентрационном лагере мне не понравилось. Фашисты морили нас голодом. Кроме того, в лагере не было женщин...

— Как же ты, — ехидно спросил безрукий, — на Ропчу попал?

— Очень просто. Нас освободили французы. Я оказался в Париже. Кинулся в советское посольство. Собрали нас человек восемьсот. Усадили в поезд. И повезли на восток... Едем, едем... Москву проехали, Урал проехали...

— Улыбнитесь, мужики, — попросил Жбанков. — Внимание! Снимаю!

— У тебя же, — говорю, — и пленки нет.

— Это не важно, — сказал Жбанков, — надо разрядить обстановку.

Распорядитель тоже забеспокоился. Он поднялся и гулко хлопнул в ладоши:

— Товарищи узники, пройдите в зал!..

Торжественная часть продолжалась всего минут двадцать. Дольше всех говорил сам распорядитель. В конце он сказал:

— Мы навсегда останемся узниками фашизма. Ведь то, что мы пережили, не забывается...

— Он — тоже военнопленный? — спросил я безрукого Гурченко.

— Этот хмырь из театра, — ответил старик, — его парт-

ком назначил. Четвертый год здесь выступает... В Мордовию бы его годика на три... На лесоповал...

Тут отворились двери банкетного зала. Мы заняли столик у окна. Жбанков придвинул два недостающих стула. Затем разлил водку.

— Давайте без тостов, — предложил Слапак, — за все хорошее!

Выпили молча. Жбанков сразу налил по второй. Валтон пытался досказать мне свою историю.

— Я был юнгой торгового флота. Немцы ошиблись. Посадили меня ни за что. Я не был военным моряком. Я был торговым моряком. А меня взяли и посадили. В сущности, ни за что...

Похоже, что Валтон оправдывался. Чуть ли не доказывал свою лояльность по отношению к немцам.

— Чухонцы все такие, — сказал Жбанков, — Адольф — их лучший друг. А русских они презирают.

— А за что им нас любить? — вмешался Гурченко. — За тот бардак, что мы в Эстонии развели?!

— Бардак — это еще ничего, — сказал Жбанков, — плохо, что водка дорожает...

Его физиономия лоснилась. Бутылки так и мелькали в руках.

— Положить вам жаркое? — нагнул ко мне Слапак.

Жбанков корректно тронул его за локоть:

— Давно хочу узнать... Как говорится, нескромный вопрос... Вы какой, извиняюсь, будете нации?

Слапак едва заметно насторожился. Затем ответил твердо и уверенно. В его голосе звучала интонация человека, которому нечего скрывать:

— Я буду еврейской нации. А вы, простите, какой нации будете?

Жбанков несколько растерялся. Подцепил ускользящий маринованный гриб.

— Я буду русской... еврейской нации, — миролюбиво сформулировал он.

Тут к Слапаку обратился безрукий Гурченко.

— Не расстраивайся, парень, — сказал он. — Еврей так еврей, ничего страшного. Я четыре года жил в Казахстане. Казахи еще в сто раз хуже...

Мы снова выпили. Жбанков оживленно беседовал с Гурченко. Речь его становилась все красочнее.

Постепенно банкетный зал наполнился характерным гулом. Звякали стаканы и вилки. Кто-то включил радиолу. Прозвучали мощные аккорды:

...Идет война народная,
Священная война...

— Эй! Кто там поближе?! Вырубите звук, — сказал Жбанков.

— Пускай, — говорю, — надо же твой мат заглушать.

— Правды не заглушишь! — внезапно крикнул Гурченко...

Жбанков встал и направился к радиоле. Тут я заметил группу пионеров. Они неловко пробирались между столиками. Видно, их задержал ливень. Пионеры несли громадную корзину с цветами.

Миша попался им на дороге. Вид у него был достаточно живописный. Глаза возбужденно сверкали. Галстук лежал на плече.

Среди бывших узников концентрационных лагерей Жбанков выделялся истощенностью и трагизмом облика.

Пионеры остановились. Жбанков растерянно топтался на месте. Худенький мальчик в алом галстуке поднял руку. Кто-то выключил радиолу.

В наступившей тишине раздался прерывистый детский голосок:

— Вечная слава героям!

И затем — троекратно:

— Слава, слава, слава!

Испуганный Жбанков прижимал к груди корзину с цветами.

Чуть помедлив, он крикнул:

— Ура!

В зале стоял невообразимый шум. Кто-то уже вытаскивал из ящиков реквизит. Кто-то плясал лезгинку с бутафорским ятаганом в зубах...

Жбанкова фотографировали ребята из местной газеты. Его багровое лицо утопало в зелени. Он вернулся к нашему столу. Водрузил корзину на подоконник.

Гурченко приподнял голову. Затем снова уронил ее в блюдо с картофелем.

Я придвинул Жбанкову стул.

— Шикарный букет, — говорю.

— Это не букет, — скорбно ответил Жбанков, — это венок!..

На этом трагическом слове я прощаюсь с журналисткой. Хватит!

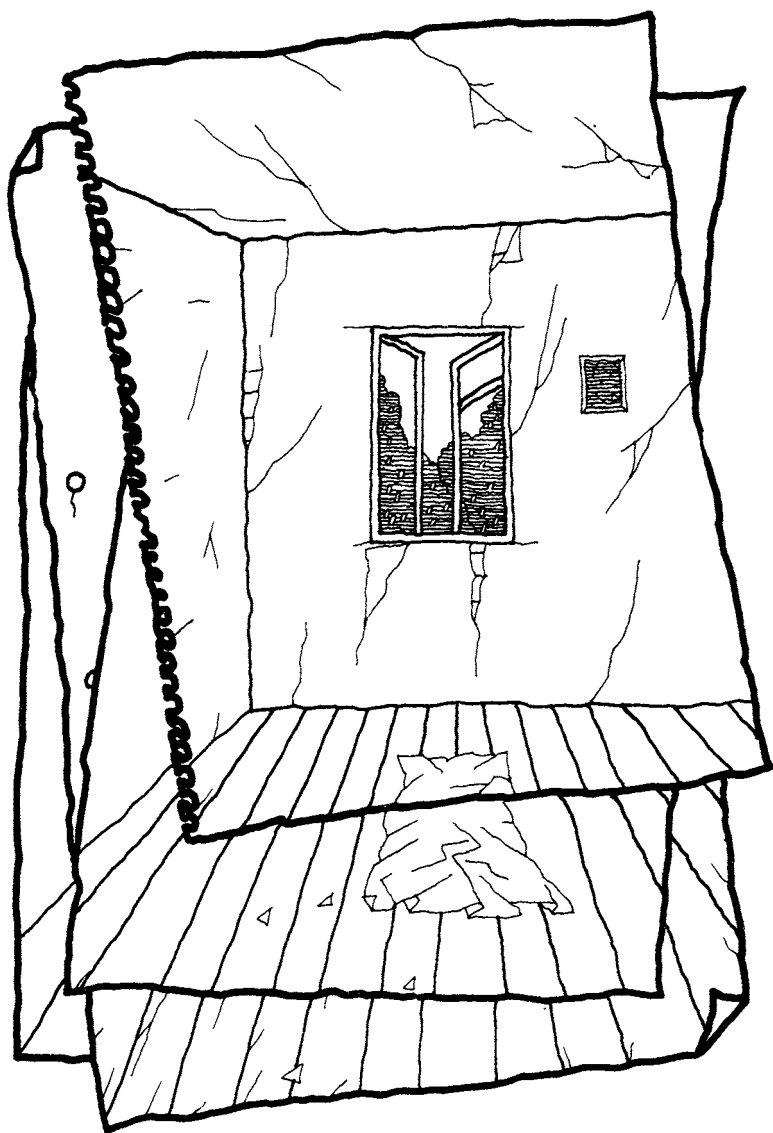
Мой брат, у которого две судимости (одна — за непредумышленное убийство), часто говорит:

— Займись каким-нибудь полезным делом. Как тебе не стыдно?

— Тоже мне, учитель нашелся!

— Я всего лишь убил человека, — говорит мой брат, — и пытался сжечь его труп. А ты?!.

ЗАПОВЕДНИК



В двенадцать подъехали к Луге. Остановились на вокзальной площади. Девушка-экскурсовод сменила возвышенный тон на более земной:

— Там налево есть одно местечко...

Мой сосед заинтересованно приподнялся:

— В смысле — уборная?

Всю дорогу он изводил меня: «Отбеливающее средство из шести букв?.. Вымирающее парнокопытное?.. Австрийский горнолыжник?..»

Туристы вышли на залитую светом площадь. Водитель захлопнул дверцу и присел на корточки у радиатора.

Вокзал... Грязноватое желтое здание с колоннами, часы, обесцвеченные солнцем дрожащие неоновые буквы...

Я пересек вестибюль с газетным киоском и массивными цементными урнами. Интуитивно выявил буфет.

— Через официанта, — вяло произнесла буфетчица. На пологой груди ее болтался штопор.

Я сел у двери. Через минуту появился официант с громадными войлочными бакенбардами.

— Что вам угодно?

— Мне угодно, — говорю, — чтобы все были доброжелательны, скромны и любезны.

Официант, пресыщенный разнообразием жизни, молчал.

— Мне угодно сто граммов водки, пиво и два бутерброда.

— С чем?

— С колбасой, наверное...

Я достал папиросы, закурил. Безобразно дрожали руки. «Стакан бы не выронить...» А тут еще рядом уселась две интеллигентные старухи. Вроде бы из нашего автобуса.

Официант принес графинчик, бутылку и две конфеты.

— Бутерброды кончились, — проговорил он с фальшивым трагизмом.

Я расплатился. Поднял и тут же опустил стакан. Руки тряслись, как у эпилептика. Старухи брезгливо меня рассматривали. Я попытался улыбнуться:

— Взгляните на меня с любовью!

Старухи вздрогнули и пересели. Я услышал невнятные критические междометия.

Черт с ними, думаю. Обхватил стакан двумя руками, выпил. Потом с шуршанием развернул конфету.

Стало немного легче. Зарождался обманчивый душевный подъем. Я сунул бутылку пива в карман. Затем поднялся, чуть не опрокинув стул. Вернее, дюралевое кресло. Старухи продолжали испуганно меня разглядывать.

Я вышел на площадь. Ограда сквера была завешена покоробившимися фанерными щитами. Диаграммы сушили в недалеком будущем горы мяса, шерсти, яиц и прочих интимностей.

Мужчины курили возле автобуса. Женщины шумно рассаживались. Девушка-экскурсовод ела мороженое в тени. Я шагнул к ней:

— Давайте познакомимся.

— Аврора, — сказала она, протягивая липкую руку.

— А я, — говорю, — танкер Дербент.

Девушка не обиделась.

— Над моим именем все смеются. Я привыкла... Что с вами? Вы красный!

— Уверю вас, это только снаружи. Внутри я — конституционный демократ.

— Нет, правда, вам худо?

— Пью много... Хотите пива?

— Зачем вы пьете? — спросила она.

Что я мог ответить?

— Это секрет, — говорю, — маленькая тайна...

— Решили поработать в заповеднике?

— Вот именно.

— Я сразу поняла.

— Разве я похож на филолога?

— Вас провожал Митрофанов. Чрезвычайно эрудированный пушкинист. Вы хорошо его знаете?

— Хорошо, — говорю, — с плохой стороны...

— Как это?

— Не придавайте значения.

— Прочтите Гордина, Щеголева, Цявловскую... Воспоминания Керн... И какую-нибудь популярную брошюру о вреде алкоголя.

— Знаете, я столько читал о вреде алкоголя! Решил навсегда бросить... читать.

— С вами невозможно разговаривать...

Шофер поглядел в нашу сторону. Экскурсанты расселись.

Аврора доела мороженое, вытерла пальцы.

— Летом, — сказала она, — в заповеднике довольно

хорошо платят. Митрофанов зарабатывает около двухсот рублей.

— И это на двести рублей больше, чем он стоит.

— А вы еще и злой!

— Будешь злым, — говорю...

Шофер просигналил дважды.

— Едем, — сказала Аврора.

В львовском автобусе было тесно. Коленкоровые сиденья накалились. Желтые занавески усиливали ощущение духоты.

Я перелистывал «Дневники» Алексея Вульфа. О Пушкине говорилось дружелюбно, иногда снисходительно. Вот она, пагубная для зрения близость. Всем ясно, что у гениев должны быть знакомые. Но кто поверит, что его знакомый — гений?!

Я задремал. Невнятно доносились какие-то лишние сведения о матери Рылеева...

Разбудили меня уже во Пскове. Вновь оштукатуренные стены кремля наводили тоску. Над центральной аркой дизайнеры укрепили безобразную, прибалтийского вида, кованую эмблему. Кремль напоминал громадных размеров макет.

В одном из флигелей находилось местное бюро путешествий. Аврора завершила какие-то бумаги, и нас повезли в «Геру» — самый фешенебельный местный ресторан.

Я колебался — добавлять или не добавлять? Добавишь — завтра будет совсем плохо. Есть не хотелось...

Я вышел на бульвар. Тяжело и низко шумели липы.

Я давно убедился: стоит задуматься, и тотчас вспоминаешь что-нибудь грустное. Например, последний разговор с женой...

— Даже твоя любовь к словам, безумная, нездоровая, патологическая любовь, — фальшива. Это — лишь попытка оправдания жизни, которую ты ведешь. А ведешь ты образ жизни знаменитого литератора, не имея для этого самых минимальных предпосылок... С твоими пороками нужно быть как минимум Хемингуэем...

— Ты действительно считаешь его хорошим писателем? Может быть, и Джек Лондон хороший писатель?

— Боже мой! При чем тут Джек Лондон?! У меня единственные сапоги в ломбарде... Я все могу простить. И бедность меня не пугает... Все, кроме предательства!

— Что ты имеешь в виду?

— Твое вечное пьянство. Твое... даже не хочу говорить... Нельзя быть художником за счет другого человека... Это подло! Ты столько говоришь о благородстве! А сам — холодный, жестокий, изворотливый человек...

— Не забывай, что я двадцать лет пишу рассказы.

— Ты хочешь написать великую книгу? Это удастся одному из сотни миллионов!

— Ну и что? В духовном отношении такая неудавшаяся попытка равна самой великой книге. Если хочешь, нравственно она даже выше. Поскольку исключает вознаграждение...

— Это слова. Бесконечные красивые слова... Надоело... У меня есть ребенок, за которого я отвечаю...

— У меня тоже есть ребенок.

— Которого ты месяцами игнорируешь. Мы для тебя — чужие...

(В разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса...)

— Умышленно, — говорю, — я зла не делал...

Я опустил на пологую скамейку. Вынул ручку и блокнот. Через минуту записал:

Любимая, я в Пушкинских Горах,
Здесь без тебя — уныние и скука,
Брожу по заповеднику, как сука,
И душу мне терзает жуткий страх...

И так далее.

Мои стихи несколько опережали действительность. До Пушкинских Гор оставалось километров сто.

Я зашел в хозяйственную лавку. Приобрел конверт с изображением Магеллана. Спросил за чем-то:

— Вы не знаете, при чем тут Магеллан?

Продавец задумчиво ответил:

— Может, умер... Или героя дали...

Наклеил марку, запечатал, опустил...

В шесть мы подъехали к зданию туристской базы. До этого были холмы, река, просторный горизонт с неровной кромкой леса. В общем, русский пейзаж без излишеств. Те обыденные его приметы, которые вызывают необъяснимо горькое чувство.

Это чувство всегда казалось мне подозрительным. Вообще страсть к неодушевленным предметам раздражает меня... (Я мысленно раскрыл записную книжку.) Есть что-то ущербное в нумизматах, филателистах, заядлых путешественниках, любителях кактусов и аквариумных рыб. Мне чуждо сонное долготерпение рыбака, безрезультатная немотивированная храбрость альпиниста, горделивая уверенность владельца королевского пуделя...

Говорят, евреи равнодушны к природе. Так звучит один из упреков в адрес еврейской нации. Своей, мол, природы

у евреев нет, а к чужой они равнодушны. Что ж, может быть, и так. Очевидно, во мне сказывается примесь еврейской крови...

Короче, не люблю я восторженных созерцателей. И не очень доверяю их восторгам. Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку. И развивается как суррогат патриотизма...

Я согласен, больную, парализованную мать острее жалеть и любить. Однако любоваться ее страданиями, выражать их эстетически — низость...

Ладно...

Подъехали к туристской базе. Какой-то идиот построил ее на расстоянии четырех километров от ближайшего водоема. Пруды, озера, речка знаменитая, а база — на солнцепеке. Правда, есть номера с душевыми кабинками... Изредка — горячая вода...

Заходим в экскурсионное бюро. Сидит такая дама, мечта отставника. Аврора сунула ей путевой лист. Расписалась, получила обеденные талоны для группы. Что-то шепнула этой пышной блондинке, которая сразу же взглянула на меня. Взгляд содержал неуступчивый беглый интерес, деловую озабоченность и легкую тревогу. Она даже как-то выпрямилась. Резче зашуршали бумаги.

— Вы не знакомы? — спросила Аврора.

Я подошел ближе.

— Хочу поработать в заповеднике.

— Люди нужны, — сказала блондинка.

В конце этой реплики заметно ощущалось многоточие. То есть нужны именно хорошие, квалифицированные специалисты. А случайные, мол, люди — не требуются...

— Экспозицию знаете? — спросила блондинка и неожиданно представилась: — Галина Александровна.

— Я был здесь раза три.

— Этого мало.

— Согласен. Вот и приехал снова...

— Нужно как следует подготовиться. Простудировать методичку. В жизни Пушкина еще так много неисследованного... Кое-что изменилось с прошлого года...

— В жизни Пушкина? — удивился я.

— Извините, — перебила Аврора, — меня туристы ждут. Желаю удачи...

Она исчезла — юная, живая, полноценная. Завтра я услышу в одной из комнат музея ее чистый девичий голос:

«...Вдумайтесь, товарищи!.. «Я вас любил так искренне, так нежно...» Миру крепостнических отношений противопоставил Александр Сергеевич этот вдохновенный гимн бескорыстия...»

— Не в жизни Пушкина, — раздраженно сказала блон-

динка, — а в экспозиции музея. Например, сняли портрет Ганнибала.

— Почему?

— Какой-то деятель утверждает, что это не Ганнибал. Ордена, видите ли, не соответствуют. Якобы это генерал Закомельский.

— Кто же это на самом деле?

— И на самом деле — Закомельский.

— Почему же он такой черный?

— С азиатами воевал, на юге. Там жара. Вот он и загорел. Да и краски темнеют от времени.

— Значит, правильно, что сняли?

— Да какая разница — Ганнибал, Закомельский... Туристы желают видеть Ганнибала. Они за это деньги платят. На фига им Закомельский?! Вот наш директор и повесил Ганнибала... Точнее, Закомельского под видом Ганнибала. А какому-то деятелю не понравилось... Простите, вы женаты?

Галина Александровна произнесла эту фразу внезапно и, я бы сказал — застенчиво.

— Разведен, — говорю, — а что?

— Наши девушки интересуются.

— Какие девушки?

— Их сейчас нет. Бухгалтер, методист, экскурсоводы...

— Почему же они мной интересуются?

— Они не вами. Они всеми интересуются. У нас тут много одиноких. Парни разъехались... Кого наши девушки видят? Туристов? А что туристы? Хорошо, если у них восьмидневка. Из Ленинграда так на сутки приезжают. Или на трое... А вы надолго?

— До осени. Если все будет хорошо.

— Где вы остановились? Хотите, я позвоню в гостиницу? У нас их две, хорошая и плохая. Вы какую предпочитаете?

— Тут, — говорю, — надо подумать.

— Хорошая — дороже, — объяснила Галя.

— Ладно, — сказал я, — денег все равно нет...

Она сразу же куда-то позвонила. Долго кого-то уговаривала. Наконец вопрос был решен. Где-то записали мою фамилию.

— Я вас провожу.

Давно я не был объектом такой интенсивной женской заботы. В дальнейшем она будет проявляться еще настойчивее. И даже перерастет в нажим.

Вначале я относил это за счет моей потускневшей индивидуальности. Затем убедился, насколько огромен дефицит мужского пола в этих краях. Кривоногий местный тракторист с локонами вокзальной шлюхи был окружен назойливыми румяными поклонницами.

— Умираю, пива! — вяло говорил он.

И девушки бежали за пивом...

Галя заперла дверь экскурсионного бюро. Мы направились через лес в сторону поселка.

— Вы любите Пушкина? — неожиданно спросила она.

Что-то во мне дрогнуло, но я ответил:

— Люблю... «Медного всадника», прозу...

— А стихи?

— Поздние стихи очень люблю.

— А ранние?

— Ранние тоже люблю, — сдался я.

— Тут все живет и дышит Пушкиным, — сказала Галя, — буквально каждая веточка, каждая травинка. Так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота... Цилиндр, крылатка, знакомый профиль...

Между тем из-за поворота вышел Леня Гурьянов, бывший университетский стукач.

— Борька, хрен моржовый, — дико заорал он, — ты ли это?!

Я отозвался с неожиданным радушием. Еще один подонок застал меня врасплох. Вечно не успеваю сосредоточиться...

— Я знал, что ты приедешь, — не унимался Гурьянов...

Впоследствии мне рассказали такую историю. Была тут в начале сезона пьянка. Чья-то свадьба или день рождения. Присутствовал местный сотрудник госбезопасности. Заговорили обо мне. Кто-то из общих знакомых сказал:

— Он в Таллинне.

Ему возразили:

— Нет, уже год как в Ленинграде.

— А я слышал, что в Риге у Красильникова...

Следовали новые и новые версии.

Чекист сосредоточенно поедал тушеную утку. Затем приподнял голову и коротко высказался:

— Есть данные — собирается в Пушкинские Горы...

— Меня ждут, — сказал Гурьянов, как будто я его удерживал.

Он посмотрел на Галю:

— А ты похорошела. Никак зубы вставила?

Карманы его тяжело оттопыривались.

— Вот засранец! — неожиданно произнесла Галина. И через минуту: — Как хорошо, что Пушкин этого не видит.

— Да, — сказал я, — это неплохо.

Первый этаж гостиницы «Дружба» занимали три учреждения. Гастроном, парикмахерская и ресторан «Лукоморье». Надо бы, думаю, Галину пригласить за все ее услуги.

Денег я захватил ничтожно мало. Один размашистый жест грозил катастрофой.

Я промолчал.

Мы подошли к барьеру, за которым сидела женщина-администратор. Галя меня представила. Женщина протянула увесистый ключ с номером 231.

— А завтра подыщите комнату, — сказала Галина, — можно в поселке... Можно на Ворониче, только это дорого... Можно в одной из ближайших деревень: Савкино, Гайки ..

— Спасибо, — говорю, — выручили.

— Ну, я пошла.

Фраза оканчивалась едва уловимым вопросительным знаком: «Ну, я пошла?..»

— Проводить вас?

— Я живу в микрорайоне, — таинственно реагировала девушка.

Затем — отчетливо и внятно, чересчур отчетливо и внятно:

— Провожать не обязательно... И не думайте, что я такая...

Она удалилась, гордо кивнув администратору.

Я поднялся на второй этаж и отпер дверь. Кровать была аккуратно застелена. Репродуктор издавал прерывистые звуки. На перекладине распахнутого стенового шкафа болтались вешалки.

В этой комнате, в этой узенькой лодке, я отплывал к неведомым берегам самостоятельной холостяцкой жизни.

Я принял душ, смывая щекотливый осадок Галиных хлопот, налет автобусной влажной тесноты, коросту многодневного застолья.

Настроение заметно улучшилось. Холодный душ подействовал как резкий окрик.

Я вытерся, натянул гимнастические брюки и закурил.

В коридоре раздавался стук шагов. Где-то звучала музыка. Под окнами шумели грузовики и бесчисленные мопеды.

Я улегся поверх одеяла, раскрыл серый томик Виктора Лихоносова. Решил наконец выяснить, что это за деревенская проза? Обзавестись своего рода путеводителем...

Читая, я незаметно уснул. Проснулся в два ночи. Предутренний летний сумрак заливал комнату. Уже можно было сосчитать листья фикуса на окне.

Я решил спокойно все обдумать. Попытаться рассеять ощущение катастрофы, тупика.

Жизнь расстилалась вокруг необозримым минным полем. Я находился в центре. Следовало разбить это поле на участки и браться за дело. Разорвать цепь драматиче-

ских обстоятельств. Проанализировать ощущение краха. Изучить каждый фактор в отдельности.

Человек двадцать лет пишет рассказы. Убежден, что с некоторыми основаниями взялся за перо. Люди, которым он доверяет, готовы это засвидетельствовать.

Тебя не публикуют, не издают. Не принимают в свою компанию. В свою бандитскую шайку. Но разве об этом ты мечтал, бормоча первые строчки?

Ты добиваешься справедливости? Успокойся, этот фрукт здесь не растет. Несколько сияющих истин должны были изменить мир к лучшему, а что произошло в действительности?..

У тебя есть десяток читателей. Дай Бог, чтобы их стало еще меньше...

Тебе не платят — вот что скверно. Деньги — это свобода, пространство, капризы... Имея деньги, так легко переносить нищету...

Учись зарабатывать их, не лицемеря. Иди работать грузчиком, пиши ночами. Мандельштам говорил, люди сохраняют все, что им нужно. Вот и пиши...

У тебя есть к этому способности — могло и не быть. Пиши, создай шедевр. Вызови душевное потрясение у читателя. У одного-единственного живого человека... Задача на всю жизнь.

А если не получится? Что ж, ты сам говорил, в моральном отношении неудавшаяся попытка еще благороднее. Хотя бы потому, что не вознаграждается...

Пиши, раз уж взялся, тащи этот груз. Чем он весомее, тем легче...

Тебя угнетают долги? У кого их не было?! Не огорчайся. Ведь это единственное, что по-настоящему связывает тебя с людьми...

Оглядываясь, ты видишь руины? Этого можно было ожидать. Кто живет в мире слов, тот не ладит с вещами.

Ты завидуешь любому, кто называет себя писателем. Кто может, вытацив удостоверение, документально это засвидетельствовать.

Но что же пишут твои современники? У писателя Волина ты обнаружил:

«...Мне стало предельно ясно...»

И на той же странице:

«...С беспредельной ясностью Ким ощутил...»

Слово перевернуто вверх ногами. Из него высыпалось содержимое. Вернее, содержимого не оказалось. Слова грохнулись неосязаемые, как тень от пустой бутылки...

Ах, не о том, не о том зашла речь!.. Как надоели вечные твои уловки!..

Жить невозможно. Надо либо жить, либо писать. Либо

слово, либо дело. Но твое дело — слово. А всякое Дело с заглавной буквы тебе ненавистно. Вокруг него — зона мертвого пространства. Там гибнет все, что мешает делу. Там гибнут надежды, иллюзии, воспоминания. Там царит убогий, непререкаемый, однозначный материализм...

И снова — не то, не то...

Во что ты превратил свою жену? Она была простодушной, кокетливой, любила веселиться. Ты сделал ее ревнивой, подозрительной и нервной. Ее неизменная фраза: «Что ты хочешь этим сказать?» — памятник твоей изворотливости...

Твои безобразия достигали курьезов. Помнишь, как ты вернулся около четырех ночи и стал расшнуровывать ботинки. Жена проснулась и застонала:

— Господи, куда в такую рань?!

— Действительно, рановато, рановато, — пробормотал ты.

А потом быстро разделся и лег...

Да что тут говорить...

Утро. Шаги, заглушаемые алой ковровой дорожкой. Внезапное прерывистое бормотание репродуктора. Плеск воды за стеной. Грузовики под окнами. Неожиданный отдаленный крик петуха...

В детстве лето было озвучено гудками паровозов. Пригородные дачи... Запах вокзальной гари и нагретого песка... Настольный теннис под ветками... Тугой и звонкий стук мяча... Танцы на веранде (старший брат доверил тебе завести патефон)... Глеб Романов... Ружена Сикора... «Эта песня за два сольди, за два гроша...», «Я тобою в Бухаресте грезил наяву...».

Выжженный солнцем пляж... Жесткая осока... Длинные трусы и следы резинок на икрах... Набившийся в сандалии песок...

В дверь постучали:

— К телефону!

— Это недоразумение, — говорю.

— Вы Алиханов?

Меня проводили в комнату сестры-хозяйки. Я взял трубку.

— Вы спали? — поинтересовалась Галина.

Я горячо возразил.

Я давно заметил, что на этот вопрос люди реагируют с излишней горячностью. Задайте человеку вопрос: «Бывают ли у тебя запои?» — и человек спокойно ответит — нет. А может быть, охотно согласится. Зато вопрос «Ты спал?» большинство переживает чуть ли не как оскорбление. Как попытку уличить человека в злодействе...

— Я договорилась насчет комнаты.

— Вот спасибо.

— В деревне Сосново. Пять минут от турбазы. Отдельный вход.

— Это главное.

— Хозяин, правда, выпивает...

— Еще один козырь.

— Запомните фамилию — Сорокин. Михаил Иванович...

Пойдете через турбазу вдоль оврага. С горы уже деревню видно. Четвертый дом... А может, пятый. Да вы найдете. Там свалка рядом...

— Спасибо, милая.

Тон резко изменился.

— Какая я вам милая?! Ох, умираю... Милая... Скажите пожалуйста... Милую нашел...

В дальнейшем я не раз изумлялся этим мгновенным Галиным преобразованиям. Живое участие, радушие и простота сменялись крикливыми интонациями оскорбленного целомудрия. Нормальная речь — визгливым провинциальным говором...

— И не подумайте чего-нибудь такого!

— Такого — никогда. И еще раз — спасибо...

Я отправился на турбазу. На этот раз здесь былолюдно. Вокруг стояли разноцветные автомашины. Группами и поодиночке бродили туристы в курортных шапочках. У газетного киоска выстроилась очередь. Из распахнутых окон столовой доносился звон посуды и визг металлических табуреток. Здесь же резвилось несколько упитанных дворян.

На каждом шагу я видел изображения Пушкина. Даже возле таинственной кирпичной будочки с надписью «Огнеопасно!». Сходство исчерпывалось бакенбардами. Размеры их варьировались произвольно. Я давно заметил: у наших художников имеются любимые объекты, где нет предела размаху и вдохновению. Это в первую очередь — борода Карла Маркса и лоб Ильича...

Репродуктор был включен на полную мощность:

— Внимание! Говорит радиоузел пушкиногорской туристской базы. Объявляем порядок дня на сегодня...

Я зашел в экскурсионное бюро. Галину осаждали туристы. Она махнула рукой, чтобы я подождал.

Я взял с полки брошюру «Жемчужина Крыма». Достал сигареты.

Экскурсоводы, получив какие-то бумаги, удалялись. За ними к автобусам бежали туристы. Несколько «диких» семейств жаждало присоединиться к группам. Ими занималась высокая худенькая девушка.

Ко мне застенчиво приблизился мужчина в тирольской шляпе:

— Извините, могу я задать вопрос?

— Слушаю вас.

— Это дали?

— То есть?

— Я спрашиваю, это дали? — Тиролец увлек меня к распахнутому окну.

— В каком смысле?

— В прямом. Я хотел бы знать, это дали или не дали? Если не дали, так и скажите.

— Не понимаю.

Мужчина слегка покраснел и начал торопливо объяснять:

— У меня была открытка... Я — филокартист...

— Кто?

— Филокартист. Собираю открытки... Филос — любовь, картос...

— Ясно.

— У меня есть цветная открытка — «Псковские дали». И вот я оказался здесь. Мне хочется спросить — это дали?

— В общем-то, дали, — говорю.

— Типично псковские?

— Не без этого.

Мужчина, сияя, отошел...

Миновал час пик. Бюро опустело.

— С каждым летом наплыв туристов увеличивается, — пояснила Галина.

И затем, немного возвысив голос:

— Исполнилось пророчество: «Не зарастет священная тропа!..»*

Не зарастет, думаю. Где уж ей, бедной, зарости. Ее давно вытоптали эскадроны туристов...

— По утрам здесь жуткий бардак, — сказала Галина.

Я снова подивился неожиданному разнообразию ее лексики.

Галя познакомила меня с инструктором бюро — Людмилой. Ее гладкими ножками я буду тайно любоваться до конца сезона. Люда вела себя ровно и приветливо. Это объяснялось наличием жениха. Ее не уродовала постоянная готовность к возмущенному отпору. Пока что жених находился в тюрьме...

Затем появилась некрасивая женщина лет тридцати — методист. Звали ее Марианна Петровна. У Марианны было запущенное лицо без дефектов и неуловимо плохая фигура.

Я объяснил цель моего приезда. Скептически улыбаясь, она пригласила меня в отдельный кабинет.

* Искаженная цитата. У Пушкина — «народная тропа». (Прим. ред.)

— Вы любите Пушкина?

Я испытал глухое раздражение.

— Люблю.

Так, думаю, и разлюбить недолго.

— А можно спросить — за что?

Я поймал на себе иронический взгляд. Очевидно, любовь к Пушкину была здесь самой ходовой валютой. А вдруг, мол, я — фальшивомонетчик...

— То есть как? — спрашиваю.

— За что вы любите Пушкина?

— Давайте, — не выдержал я, — прекратим этот идиотский экзамен. Я окончил среднюю школу. Потом — университет. (Тут я немного преувеличил. Меня выгнали с третьего курса.) Кое-что прочел. В общем, разбираюсь... Да и претендую всего лишь на роль экскурсовода...

К счастью, мой резкий тон остался незамеченным. Как я позднее убедился, элементарная грубость здесь сходилась легче, чем воображаемый апломб...

— И все-таки? — Марианна ждала ответа. Причем того ответа, который ей был заранее известен.

— Ладно, — говорю, — попробую... Что ж, слушайте. Пушкин — наш запоздалый Ренессанс. Как для Веймара — Гете. Они приняли на себя то, что Запад усвоил в XV—XVII веках. Пушкин нашел выражение социальных мотивов в характерной для Ренессанса форме трагедии. Он и Гете жили как бы в нескольких эпохах. «Вертер» — дань сентиментализму. «Кавказский пленник» — типично байроническая вещь. Но «Фауст», допустим, это уже елизаветинцы. А «Маленькие трагедии» естественно продолжают один из жанров Ренессанса. Такова же и лирика Пушкина. И если она горька, то не в духе Байрона, а в духе, мне кажется, шекспировских сонетов... Доступно излагаю?

— При чем тут Гете? — спросила Марианна. — И при чем тут Ренессанс?

— Ни при чем! — окончательно взбесился я. — Гете совершенно ни при чем! А Ренессансом звали лошадь Дон Кихота. Который тоже ни при чем! И я тут, очевидно, ни при чем!..

— Успокойтесь, — прошептала Марианна, — какой вы нервный... Я только спросила: «За что вы любите Пушкина?..»

— Любить публично — скотство! — заорал я. — Есть особый термин в сексопатологии...

Дрожащей рукой она протянула мне стакан воды. Я отодвинул его.

— Вы-то сами любили кого-нибудь? Когда-нибудь?!..

Не стоило этого говорить. Сейчас она зарыдает и крикнет:

«Мне тридцать четыре года, и я — одинокая девушка!..»

— Пушкин — наша гордость! — выговорила она. — Это не только великий поэт, но и великий гражданин...

По-видимому, это и был заведомо готовый ответ на ее дурацкий вопрос.

Только и всего, думаю.

— Ознакомьтесь с методичкой. А вот — список книг. Они имеются в читальном зале. И доложите Галине Александровне, что собеседование прошло успешно...

Мне стало неловко.

— Спасибо, — говорю, — простите, что был невосдержан.

Я свернул методичку и положил в карман.

— Аккуратнее, у нас всего три экземпляра.

Я вытащил методичку и попытался ее разглядеть.

— И еще, — Марианна понизила голос, — вы спросили о любви...

— Это вы спросили о любви.

— Нет, это вы спросили о любви... Насколько я понимаю, вас интересует, замужем ли я. Так вот, я — замужем!

— Вы лишили меня последней надежды, — сказал я уходя.

В коридоре Галина познакомила меня с экскурсоводом Натэллой. Снова — неожиданная вспышка заинтересованности:

— Будете у нас работать?

— Попытаюсь.

— Сигареты у вас есть?

Мы вышли на крыльцо.

Натэлла приехала из Москвы, движимая романтическими, вернее — авантюрными целями. По образованию — инженер-физик, работает школьной учительницей. Решила провести здесь трехмесячный отпуск. Жалеет, что приехала. В заповеднике — толчея. Экскурсоводы и методисты — психи. Туристы — свиньи и невежды. Все обожают Пушкина. И свою любовь к Пушкину. И любовь к своей любви. Единственный порядочный человек — Марков...

— Кто такой Марков?

— Фотограф. Законченный пропойца. Я вас познакомлю. Он научил меня пить «Агдам». Это нечто фантастическое! Он и вас научит...

— Премного благодарен. Но боюсь, что в этом деле я и сам — профессор.

— Давайте как-нибудь поддадим! Прямо на лоне...

— Условились.

— А вы человек опасный.

— То есть?

— Я это сразу почувствовала. Вы жутко опасный человек.

— В нетрезвом состоянии?

— Я говорю не о том.

— Не понял.

— Полюбить такого, как вы, — опасно.

И Натэлла почти болезненно толкнула меня коленом...

Господи, думаю, здесь все ненормальные. Даже те, которые считают ненормальными всех остальных...

— Выпейте «Агдама», — говорю, — и успокойтесь. Я хочу отдохнуть и поработать. Опасности для вас не представляю...

— Это мы еще посмотрим, — истерически расхохоталась Натэлла.

Затем она кокетливо взмахнула холщовым мешком с изображением Джеймса Бонда и удалилась.

Я направился в Сосново. Дорога тянулась к вершине холма, огибая унылое поле. По краям его бесформенными грудями темнели валуны. Слева зиял поросший кустами овраг. Спускаясь под гору, я увидел несколько изб, окруженных березами. В стороне бродили одноцветные коровы, плоские, как театральные декорации. Грязные овцы с декадентскими физиономиями вяло щипали траву. Над крышами летали галки.

Я шел по деревне, надеясь кого-то встретить. Некрашенные серые дома выглядели убого. Колья покосившихся изгородей были увенчаны глиняными сосудами. В накрытых полиэтиленом загонах суетились цыплята. Нервной мультипликационной походкой выступали куры. Звонко тявкали лохматые приземистые собаки.

Я пересек деревню, вернулся. Помедлил возле одного из домов. Хлопнула дверь, и на крыльце появился мужчина в застиранной железнодорожной гимнастерке.

Я поинтересовался, как найти Сорокина.

— Толик меня зовут, — сказал он.

Я представился и еще раз объяснил, что мне нужен Сорокин.

— А где он живет? — спросил Толик.

— В деревне Сосново.

— Так это Сосново и есть.

— Я знаю. Как же мне его найти?

— Тимоху, что ли, Сорокина?

— Его зовут Михал Иваныч.

— Тимоха помер год назад. Замерз поддавши...

— Мне бы Сорокина разыскать.

— Видно, мало поддал. А то бы выжил...

— Мне бы Сорокина...

— Не Мишку, случайно?

— Его зовут Михал Иваныч.

— Так это Мишка и есть. Долихи зять. Знаете Долиху, криво повязанную?

— Я приезжий.

— Не с Опочки?

— Из Ленинграда.

— А, знаю, слышал...

— Так как бы Михал Иваныча разыскать?

— Мишку-то?

— Вот именно.

Толик откровенно и деловито помочился с крыльца. Затем приоткрыл дверь и скомандовал:

— Але! Раздолбай Иваныч! К тебе пришли.

И, подмигнув, добавил:

— С милиции, за алиментами...

Тотчас высунулась багровая рожа, щедро украшенная синими глазами:

— Это... Кому?.. Вы насчет ружья?

— Мне говорили, у вас сдается комната.

На лице Михал Иваныча выразилось сильнейшее замешательство. Впоследствии я убедился, что это — его обычная реакция на любое, самое безобидное заявление.

— Комнату?.. Это... Зачем?

— Я работаю в заповеднике. Хочу снять комнату. Временно. До осени. Есть у вас лишняя комната?

— Дом-то маткин. На мать записан. А матка во Пскове. У ей ноги распухши...

— То есть вы комнату не сдаете?

— Прошлый год евреи жили. Худого не скажу, люди культурные... Ни тебе политуры, ни одеколона... А только — белое, красное и пиво... Лично я евреев уважаю.

— Они Христа распяли, — вмешался Толик.

— Так это когда было! — закричал Михал Иваныч. — Это еще до революции было...

— Комнату, — говорю, — сдаете или нет?

— Проводи человека, — распорядился Толик, застывшая ширинку.

Мы шли втроем по деревенской улице. У изгороди стояла тетка в мужском пиджаке с орденом Красной Звезды на лацкане.

— Зин, одолжи пятерочку! — выкрикнул Михал Иваныч.

Тетка отмахнулась:

— Угоришь с вина... Слыхал, постановление вышло? Всех алкашей повесить на тросу!..

— Куда?! — расхохотался Михал Иваныч. — Железа не хватит. Всей нашей металлургии придет хана...

Потом добавил:

— Вот курва старая. Ты у меня еще дров попросишь... Я в лесничестве работаю — дружбист!

— Кто? — не понял я.

— Бензопила у меня... «Дружба»... Хуяк — и червонец в кармане.

— Дружбист, — ворчала тетка, — с винищем дружишь... До смерти не опейся...

— Трудно, — как будто даже посетовал Михал Иваныч.

Это был широкоплечий, статный человек. Даже рваная, грязная одежда не могла его по-настоящему изуродовать. Бурое лицо, худые мощные ключицы под распахнутой сорочкой, упругий, четкий шаг... Я невольно им любовался...

Дом Михал Иваныча производил страшное впечатление. На фоне облаков чернела покосившаяся антенна. Крыша местами провалилась, оголив неровные темные балки. Стены были небрежно обиты фанерой. Треснувшие стекла — заклеены газетной бумагой. Из бесчисленных щелей торчала грязная пакля.

В комнате хозяина стоял запах прокисшей еды. Над столом я увидел цветной портрет Мао из «Огонька». Рядом широко улыбался Гагарин. В раковине с черными кругами отбитой эмали плавали макароны. Ходики стояли. Утюг, заменивший гирю, касался пола.

Две кошки геральдического вида — угольно-черная и розовато-белая — жеманно фланировали по столу, огибая тарелки. Хозяин шуганул их подвернувшемся валенком. Звякнули осколки. Кошки с безумным ревом перелетели в темный угол.

Соседняя комната выглядела еще безобразнее. Середина потолка угрожающе нависала. Две металлические кровати были завалены тряпьем и смердящими овчинами. Повсюду белели окурки и яичная скорлупа.

Откровенно говоря, я немного растерялся. Сказать бы честно: «Мне это не подходит...» Но, очевидно, я все-таки интеллигент. И я произнес нечто лирическое:

— Окна выходят на юг?

— На самый, самый юг, — поддакнул Толик.

За окном я увидел полуразрушенную баню.

— Главное, — сказал я, — вход отдельный.

— Ход отдельный, — согласился Михал Иваныч, — только заколоченный.

— А, — говорю, — жаль.

— Эйн момент, — сказал хозяин, разбежался и вышиб дверь ногой.

— Сколько платить?

— А нисколько.

— То есть как? — спрашиваю.

— А вот так. Неси шесть бутылок отравы, и площадь за тобой.

— Нельзя ли договориться более конкретно? Скажем, двадцать рублей вас устраивает?

Хозяин задумался:

— Это сколько будет?

— Я же говорю — двадцать рублей.

— А если на кир перевести? По рупь четыре?

— Девятнадцать бутылок «Розового крепкого». Пачка «Беломора». Два коробка спичек, — отчеканил Толик.

— И два рубля — подъемных, — уточнил Михал Иванович.

Я вынул деньги.

— Туалет осмотреть желаете?

— Потом, — говорю. — Значит, условились? Где вы оставляете ключ?

— Нет ключа, — сказал Михал Иванович, — потерян. Да ты не уходи, мы сбегает.

— У меня дела на турбазе. В следующий раз...

— Как знаешь. Я на турбазу вечером зайду. Надо Лизке поджопник дать.

— Кто это — Лизка? — спрашиваю.

— Баба моя. В смысле — жена. На турбазе сестрой-хозяйкой работает. Мы с ей разошедши.

— Так что же вы, бить ее собираетесь?

— Кому?.. Ее повесить мало, да неохота связываться. Ружье у меня отобрать хотели, вроде я грозился ее застрелить... Я думал, ты насчет ружья...

— Патронов жалко на ее, — вмешался Толик.

— Не говори, — согласился Михал Иванович. — Я ведь и руками задущу, если надо... Зимой ее встречаю, то да се, похорошему... Кричит: «Ой, Мишенька, не буду, ой, пусти...» Майор Джафаров вызывает и говорит:

— Твоя фамилия?

А я ему:

— Манда кобылья...

Пятнадцать суток дали, без курева, без ничего... А нам-то хули?.. Сидеть — не работать... Лизка бумагу прокурору написала, сажайте, мол, а то убьет... Чего ее убивать-то?..

— Визгу не оберешься, — согласился Толик. И добавил: — Ну, пошли! А то закроют сельский маг...

Друзья направились в микрорайон, жизнелюбивые, отталкивающие и воинственные, как сорняки...

А я до закрытия просидел в библиотеке.

На подготовку экскурсии ушло три дня. Галина представила меня двум лучшим, с ее точки зрения, экскурсоводам. Я обошел с ними заповедник, прислушиваясь и кое-что записывая.

Заповедник состоял из трех мемориальных объектов. Дом и усадьба Пушкиных в Михайловском. Тригорское, где жили друзья поэта и где он бывал чуть ли не ежедневно. И наконец, монастырь с фамильным захоронением Пушкиных-Ганнибалов.

Экскурсия в Михайловском состояла из нескольких разделов. История усадьбы. Вторая ссылка поэта. Арина Родионовна. Семейство Пушкиных. Друзья, навестившие поэта в изгнании. Декабрьское выступление. И — кабинет, с беглым обзором творчества Пушкина.

Я разыскал хранительницу музея и представился ей. Виктории Альбертовне можно было дать лет сорок. Длинная юбка с воланами, обесцвеченные локоны, интальо, зонтик — претенциозная картинка Бенуа. Этот стиль вымирающего провинциального дворянства здесь явно и умышленно культивировался. В каждом из местных научных работников заявляла о себе его характерная черточка. Кто-то стягивал на груди фантастических размеров цыганскую шаль. У кого-то болталась за плечами изысканная соломенная шляпа. Кому-то достался нелепый веер из перьев.

Виктория Альбертовна беседовала со мной, недоверчиво улыбаясь. К этому я уже начал привыкать. Все служители пушкинского культа были на удивление ревнивы. Пушкин был их коллективной собственностью, их обожаемым возлюбленным, их нежно лелеемым детищем. Всякое посягательство на эту личную святыню их раздражало. Они спешили убедиться в моем невежестве, цинизме и корыстолюбии.

— Зачем вы приехали? — спросила хранительница.
— За длинным рублем, — говорю.

Виктория Альбертовна едва не лишилась чувств.

— Извините, я пошутил.

— Шутки здесь абсолютно неуместны.

— Согласен. Можно задать один вопрос? Какие экспонаты музея — подлинные?

— Разве это важно?

— Мне кажется — да. Ведь музей — не театр.

— Здесь все подлинное. Река, холмы, деревья — сверстники Пушкина. Его собственники и друзья. Вся удивительная природа здешних мест...

— Речь об экспонатах музея, — перебил я, — большинство из них комментируется в методичке уклончиво:

«Посуда, обнаруженная на территории имения...»

— Что конкретно вас интересует? Что бы вы хотели увидеть?

— Ну, личные вещи... Если таковые имеются...

— Кому вы адресуете свои претензии?

— Да какие же могут быть претензии?! И тем более — к вам! Я только спросил...

— Личные вещи Пушкина?.. Музей создавался через десятки лет после его гибели...

— Так, — говорю, — всегда и получается. Сперва угрожают человека, а потом начинают разыскивать его личные вещи. Так было с Достоевским, с Есениным... Так будет с Пастернаком. Опомнятся — начнут искать личные вещи Солженицына...

— Но мы воссоздаем колорит, атмосферу, — сказала хранительница.

— Понятно. Этажерка — настоящая?

— По крайней мере — той эпохи.

— А портрет Байрона?

— Настоящий, — обрадовалась Виктория Альбертовна, — подарен Вульфам... Там имеется надпись... Какой вы, однако, привередливый. Личные вещи, личные вещи... А моему, это нездоровый интерес...

Я ощутил себя грабителем, застигнутым в чужой квартире.

— Какой же, — говорю, — без этого музей? Без нездорового-то интереса? Здоровый интерес бывает только к ветчине...

— Мало вам природы? Мало вам того, что он бродил по этим склонам? Купался в этой реке. Любовался этой дивной панорамой...

Ну, чего, думаю, я к ней пристал?

— Понятно, — говорю, — спасибо, Вика.

Вдруг она нагнулась. Сорвала какой-то знак. Ощутимо хлестнула меня по лицу. Коротко нервно захохотала и удалилась, приподняв юбку-макси с воланами.

Я присоединился к группе, направлявшейся в Тригорское.

Хранители усадьбы — супружеская чета — мне неожиданно понравились. Будучи женаты, они могли позволить себе такую роскошь, как добродушие. Полина Федоровна казалась властной, энергичной и немного самоуверенной. Коля выглядел смущенным увальнем и держался на заднем плане.

Тригорское лежало на отшибе. Начальство редко сюда заглядывало. Экспозиция была построена логично и красиво. Юный Пушкин, милые влюбленные барышни, атмосфера изящного летнего флирта...

Я обошел парк. Затем спустился к реке. В ней зеленели опрокинутые деревья. Проплывали легкие облака.

Я захотел выкупаться, но тут подошел рейсовый автобус.

Я отправился в Святогорский монастырь. Старухи тор-

говали цветами у ворот. Я купил несколько тюльпанов и поднялся к могиле. У ограды фотографировались туристы. Их улыбающиеся лица показались мне отвратительными. Рядом устроились двое неудачников с мольбертами.

Я положил цветы и ушел. Надо было посмотреть экспозицию Успенского собора. В прохладных каменных нишах звучало эхо. Под сводами дремали голуби. Храм был реален, приземист и грациозен. В углу центрального зала тускло поблескивал разбитый колокол. Один из туристов звонко стучал по нему ключом...

В южном приделе я увидел знаменитый рисунок Бруни. Здесь же белела посмертная маска. Две громадные картины воспроизводили тайный увоз и похороны. Александр Тургенев был похож на даму...

Подошла группа туристов. Я направился к выходу. Вслед доносилось:

— История культуры не знает события, равного по трагизму... Самодержавие рукой великосветского шкоды...

Итак, я поселился у Михал Иваныча. Пил он беспрерывно. До изумления, паралича и бреда. Причем бредил он исключительно матом. А матерился с тем же чувством, с каким пожилые интеллигентные люди вполголоса напевают. То есть для себя, без расчета на одобрение или протест.

Трезвым я его видел дважды. В эти парадоксальные дни Михал Иваныч запускал одновременно радио и телевизор. Ложился в брюках, доставал коробку из-под торта «Сказка». И начинал читать открытки, полученные за всю жизнь. Читал и комментировал:

— «...Здравствуй, папа крестный!.. Ну, здравствуй, здравствуй, выблядок овечий!.. Желаю тебе успехов в работе... Успехов желает, едри твою мать. Остаюсь вечно твой Радик... Вечно твой, вечно твой... Да на хрен ты мне сдался?..»

В деревне Михал Иваныча не любили, завидовали ему. Мол, и я бы запил! Ух, как запил бы, люди добрые! Уж как я запил бы, в гробину мать!.. Так ведь хозяйство... А ему что... Хозяйства у Михал Иваныча не было. Две худые собаки, которые порой надолго исчезали. Тощая яблоня и грядка зеленого лука...

Как-то дождливым вечером мы с ним разговорились.

— Миша, ты любил свою жену?

— Кому?! Жену-то? Бабу, в смысле? Лизку, значит? — всполошился Михал Иваныч.

— Лизу. Елизавету Прохоровну.

— А чего ее любить? Хвать за это дело и поехал...

— Что же тебя в ней привлекало?

Михал Иваныч надолго задумался.

— Спала аккуратно, — выговорил он, — тихо, как гусеница...

Молоко я брал в соседнем доме у Никитиных. Те жили солидно. Телевизор, «Незнакомка» Крамского... С пяти утра хозяин занимался делами. Чинил забор, копался в огороде. Как-то вижу — телка за ноги подвешена. Хозяин шкуру снимает. А нож белый-белый, в крови...

Никитиных Михал Иваныч презирал. И они его — соответственно.

— Все пьет? — интересовалась Надежда Федоровна, размещивая в лохани куриную еду.

— Видел я его на базе, — говорил Никитин, орудуя фуганком, — с утра подмалевавши.

Мне не хотелось им поддакивать.

— Зато он добрый.

— Добрый, — соглашался Никитин, — жену чуть не зарезал. Все платья ейные спалил. Ребятишки в кедах бегают зимой... А так он добрый...

— Миша — человек безрассудный, я понимаю, но добрый и внутренне интеллигентный...

Действительно, было в Михал Иваныче что-то аристократическое. Пустые бутылки он не сдавал, выбрасывал.

— Совестно мне, — говорил он, — чего это я буду, как нищий...

Как-то раз проснулся он, и было ему совсем худо. Пожаловался:

— Колотит всего.

Я дал ему рубль. В обед спрашиваю:

— Ну как, полегче?

— Кого?

— Опохмелился?

— Ну. Как на скóвороду плеснул, аж зашипело!

Вечером ему опять стало плохо.

— К Никитину пойду. Или рупь даст, или так нальет...

Я вышел на крыльцо. Слышу разговор:

— Сосед, холера, дай пятерку.

— Ты мне с Покровá должен.

— Отдам.

— Отдашь — тогда поговорим.

— Да принесу с аванса.

— Какой аванс?! Тебя давно уж маханули по статье...

— А... Конем их!.. Все же дай пятерочку. Из принципа дай, бляха-муха! Покажи наш советский характер!

— На водку, что ли?

— Кого? На дело...

— Какое у тебя, паразита, дело?

Трудно лгать Михал Иванычу, ослаб.

— Выпить надо, — говорит он.

— Не дам. Хочешь, обижайся — не дам!

— Так я ж верну с аванса.

— Не дам.

И чтобы кончить разговор, уходит Никитин в избу, хлопнув тяжелой дверью с голубым почтовым ящиком.

— Ну, погоди, сосед! — возмущается Михал Иваныч. — Погоди!.. Дождешься! Ох, дождешься! Вспомнишь этот разговор!..

В ответ — ни звука. Бродят куры. Золотистые связки лука над крыльцом...

— Я тебе устрою веселую жизнь! Ты у меня...

Краснолицый, взъерошенный, Михал Иваныч продолжает орать:

— Забыл?! Все, гад, забыл?! Начисто?!..

— Чего забыл-то? — выглядывает Никитин.

— Забыл — так мы напомним!

— Чего забыл-то, ну?

— Все напомним. Напомним семнадцатый год! Мы тебя это... Мы тебя, холеру, раскулачим! Всех партийных раскулачим! В чека тебя отправим, как этого... Как батьку Махно... Там живо...

И выждав некоторую паузу:

— Сосед, выручи, дай пятерочку... Ну, трояк... Христом-Богом прошу... Сучара ты бацильная...

Наконец я отважился приступить к работе. Мне досталась группа туристов из Прибалтики. Это были сдержанные, дисциплинированные люди. Удовлетворенно слушали, вопросов не задавали. Я старался говорить коротко и не был уверен, что меня понимают.

Впоследствии меня обстоятельно проинструктировали. Туристы из Риги — самые воспитанные. Что ни скажи, кивают и улыбаются. Если задают вопросы, то, как говорится, по хозяйству. Сколько было у Пушкина крепостных? Какой доход приносило Михайловское? Во что обошелся ремонт господского дома?

Кавказцы ведут себя иначе. Они вообще не слушают. Беседуют между собой и хохочут. По дороге в Тригорское любовно смотрят на овец. Очевидно, различают в них потенциальный шашлык. Если задают вопросы, то совершенно неожиданные. Например: «Из-за чего была дуэль у Пушкина с Лермонтовым?»

Что касается соотечественников, то их необходимо дифференцировать. Работягам излагать коротко и просто. К служащим быть повнимательнее. Среди них попадаются весьма эрудированные. Начитавшиеся Пикуля, Рождественского,

Мейлаха. Почерпнувшие дикие сведения у Новикова...

Интеллигенция наиболее придирчива и коварна. Готовясь к туристскому вояжу, интеллигент штудировал пособия. Какой-нибудь третьестепенный факт западает ему в душу. Момент отдаленного родства. Курьезная выходка, реплика, случай... Малосущественная цитата... И так далее.

На третий день работы женщина в очках спросила меня:

— Когда родился Бенкендорф?

— Году в семидесятом, — ответил я.

В допущенной мною инверсии звучала неуверенность.

— А точнее? — спросила женщина.

— К сожалению, — говорю, — забыл...

Зачем, думаю, я лгу? Сказать бы честно: «А пес его знает!» Не такая уж великая радость — появление на свет Бенкендорфа.

— Александр Христофорович Бенкендорф, — укоризненно произнесла дама, — родился в тысяча семьсот восемьдесят четвертом году. Причем в июне...

Я кивнул, давая понять, что нахожу это сообщение ценным.

С этой минуты она не переставала иронически улыбаться. Так, словно мое равнодушие к Бенкендорфу говорило о полной духовной нищете...

Итак, я приступил к работе. Первую экскурсию методисты обычно не слушают. Дают тебе возможность освоиться, почувствовать себя увереннее. Это меня и спасло. А произошло вот что.

Я благополучно миновал прихожую. Продемонстрировал рисунок землемера Иванова. Рассказал о первой ссылке. Затем о второй. Перебираюсь в комнату Арины Родионовны... «Единственным по-настоящему близким человеком оказалась крепостная няня...» Все как положено... «...Была одновременно — снисходительна и ворчлива, простодушно религиозна и чрезвычайно деловита...» Барельеф работы Серякова... «Предлагали вольную — отказалась...»

И наконец:

— Поэт то и дело обращался к няне в стихах. Всем известны такие, например, задушевные строки...

Тут я на секунду забылся. И вздрогнул, услышав собственный голос:

Ты еще жива, моя старушка,
Жив и я, привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой...

Я обмер. Сейчас кто-нибудь выкрикнет:

«Безумец и невежда! Это же Есенин — «Письмо к матери»...»

Я продолжал декламировать, лихорадочно соображая: «Да, товарищи, вы совершенно правы. Конечно же, это Есенин. И действительно — «Письмо к матери». Но как близка, заметьте, интонация Пушкина лирике Сергея Есенина! Как органично реализуются в поэтике Есенина...» И так далее.

Я продолжал декламировать. Где-то в конце угрожающе сиял финский нож... «Тра-та-тита-там в кабацкой драке, тра-та-там под сердце финский нож...» В сантиметре от этого грозно поблескивающего лезвия мне удалось затормозить. В наступившей тишине я ждал бури. Все молчали. Лица были взволнованны и строги. Лишь один пожилой турист со значением выговорил:

— Да, были люди...

В следующем зале я приписал «Мнемозину» Дельвигу. Затем назвал Сергея Львовича — Сергеем Александровичем. (Видно, Есенин надолго оккупировал мое подсознание.) Но это были сущие пустяки. Я уж не говорю о трех сомнительных литературоведческих догадках.

В Тригорском и в монастыре экскурсия прошла благополучно. Надо было сделать логичнее переходы из одного зала в другой. Продумать так называемые связки. В одном случае мне это долго не удавалось. Между комнатой Зизи и гостиной. Наконец я придумал эту злополучную связку. И в дальнейшем неизменно ею пользовался:

«Друзья мои! Здесь, я вижу, тесновато. Пройдемте в следующий зал!..»

Параллельно я слушал чужие экскурсии. В каждой находил что-то любопытное для себя. Подружился с ленинградскими экскурсоводами. Уже который год они приезжали в заповедник на лето.

Один из них — Володя Митрофанов. Он-то меня и сагитировал. И сам приехал вслед. Хотелось бы рассказать подробнее об этом человеке.

В школьные годы Митрофанов славился так называемой «зеркальной памятью». С легкостью заучивал наизусть целые главы из учебников. Его демонстрировали как чудорбенка. Мало того, Бог одарил его неутолимой жаждой знаний. В нем сочетались безграничная любознательность и феноменальная память. Его ожидала блестящая научная карьера.

Митрофанова интересовало все: биология, география, теория поля, чрево вещание, филателия, супрематизм, основы дрессировки... Он прочитывал три серьезные книги в день... Триумфально кончил школу, легко поступил на филфак.

Университетская профессура была озадачена. Митрофанов знал абсолютно все и требовал новых познаний. Круп-

ные ученые сутками просиживали в библиотеках, штудировав для Митрофанова забытые теории и разделы науки. Параллельно Митрофанов слушал лекции на юридическом, биологическом и химическом факультетах.

Уникальная память и безмерная жажда знаний — в сочетании — творили чудеса. Но тут выявилось поразительное обстоятельство. Этими качествами натура Митрофанова целиком и полностью исчерпывалась. Другими качествами Митрофанов не обладал. Он родился гением чистого познания.

Первая же его курсовая работа осталась незавершенной. Более того, он написал лишь первую фразу. Вернее — начало первой фразы. А именно: «Как нам известно...» На этом гениально задуманная работа была прервана.

Митрофанов вырос фантастическим лентяем, если можно назвать лентяем человека, прочитавшего десять тысяч книг.

Митрофанов не умывался, не брился, не посещал ленинских субботников. Не возвращал долгов и не зашнуровывал ботинок. Надевать кепку он ленился. Он просто клал ее на голову.

В колхоз — не поехал. Взял и не явился без уважительной причины.

Из университета Митрофанова отчислили. Друзья пытались устроить его на работу. Некоторое время он был личным секретарем академика Фирсова. Поначалу все шло замечательно. Он часами сидел в библиотеке Академии наук. Подбирал для Фирсова нужные материалы. Охотно делился уже имеющимися в памяти сведениями. Престарелый ученый ожил. Он предложил Володе совместно разрабатывать теорию диатонального гидатопироморфизма. (Или чего-то в этом роде.) Академик сказал:

— Записывать будете вы. Я близорук.

На следующий день Митрофанов исчез. Он ленился записывать.

Несколько месяцев бездельничал. Прочитал еще триста книг. Выучил два языка — румынский и хинди.

Обедал у друзей, расплачиваясь яркими пространственными лекциями. Ему дарили поношенную одежду...

Затем Митрофанова пытались устроить на «Ленфильм». Более того, специально утвердили новую штатную единицу: «Консультант по любым вопросам».

Это была редкая удача. Митрофанов знал костюмы и обычаи всех эпох. Фауну любого уголка земли. Мельчайшие подробности в ходе доисторических событий. Парадоксальные реплики второстепенных государственных деятелей. Он знал, сколько пуговиц было на камзоле Талейрана. Он помнил, как звали жену Ломоносова...

Митрофанов не смог заполнить анкету. Даже те ее разделы, где было сказано: «Нужное подчеркнуть». Ему было лень...

Его устроили сторожем в кинотеатр. Ночная работа, хочешь — спи, хочешь — читай, хочешь — думай. Митрофанову вменялась единственная обязанность. После двенадцати нужно было выключить какой-то рубильник. Митрофанов забывал его выключить. Или ленился. Его уволили...

Впоследствии мы с горечью узнали, что Митрофанов не просто лентяй. У него обнаружилось редкое клиническое заболевание — абулия. То есть полная атрофия воли.

Он был явлением растительного мира. Прихотливым и ярким цветком. Не может хризантема сама себя окучивать или поливать...

Наконец Митрофанов услышал о Пушкинском заповеднике. Приехал, осмотрелся. И выяснил, что это единственное учреждение, где он может быть полезен.

Что требуется от экскурсовода? Яркий, впечатляющий рассказ. И больше ничего.

Рассказывать Митрофанов умел. Его экскурсии были насыщены внезапными параллелями, ослепительными гипотезами, редкими архивными справками и цитатами на шести языках.

Его экскурсии продолжались вдвое дольше обычных. Иногда туристы падали в обморок от напряжения.

Были, конечно, и сложности. Митрофанов ленился подниматься на Савкину Горку. Туристы карабкались на гору, а Митрофанов, стоя у подножия, выкрикивал:

— Как и много лет назад, этот большой зеленый холм возвышается над Соротью. Удивительная симметричность его формы говорит об искусственном происхождении. Что же касается этимологии названия — «Сороть», то она весьма любопытна. Хоть и не совсем пристойна...

Был случай, когда экскурсанты, расстелив дерматиновый плащ, волоком тащили Митрофанова на гору. Он же довольно улыбался и вещал:

— Предание гласит, что здесь стоял один из монастырей Воронича...

В заповеднике его ценили...

Не менее яркой личностью был Стасик Потоцкий. Родился он в городе Чебоксары. До шестнадцати лет не выделялся. Играл в хоккей, не задумываясь о серьезных проблемах. Наконец с делегацией юных спортсменов попал в Ленинград.

В первый же день его лишила невинности коридорная гостиницы «Сокол». Ему повезло. Она была старая и чуткая. Угостила юниора вином «Алабашлы». Шептала ему, запланированному, пьяному, влюбленному:

— Гляди-ка, маленький, а ёбкий...

Потоцкий быстро уяснил, что на земле есть две вещи, ради которых стоит жить. Это — вино и женщины. Остальное не заслуживает внимания. Но женщины и вино стоят денег. Следовательно, надо уметь их зарабатывать. Желательно — без особого труда. И чтобы хорошо платили. И чтобы не угодить в тюрьму...

Он решил стать беллетристом. Прочитал двенадцать современных книг. Убедился, что может писать не хуже. Приобрел коленкорovou тетрадь, авторучку и запасной стержень.

Первое же его сочинение было опубликовано в «Юности». Рассказ назывался «Победа Шурки Чемоданова». Юный хоккеист Чемоданов много возомнил о себе и бросил учебу. Затем одумался. Стал прекрасно учиться и еще лучше играть в хоккей. Произведение заканчивалось так:

«— Главное — быть человеком, Шурка, — сказал Лукьяныч и зашагал прочь.

Шурка долго, долго глядел ему вслед...»

Рассказ был на удивление зауряден. Десятки и сотни его близнецов украшали молодежные журналы. К Потоцкому отнеслись снисходительно. Как провинциальный автор, он, видимо, заслуживал скидки.

В течение года ему удалось напечатать семь рассказов и повесть. Сочинения его были тривиальны, идейно полнотенны, убоги. В каждом слышалось что-то знакомое. От цензуры их защищала надежная броня литературной вторичности. Они звучали убедительно, как цитаты. Наиболее яркими в них были стилистические погрешности и опечатки:

«В октябре Мишутке кануло тринадцать лет...» (Рассказ «Мишуткино горе».)

«Да будет ему земля прахом! — кончил свою речь Одинцов...» (Рассказ «Дым поднимается к небу».)

«Не суйте мне белки в колеса, — угрожающе произнес Лепко...» (Повесть «Чайки летят к горизонту».)

Впоследствии Потоцкий говорил мне:

«...Я — писатель, бля, типа Чехова. Чехов был абсолютно прав. Рассказ можно написать о чем угодно. Сюжетов навалом. Возьмем любую профессию. Например, врач. Пожалуйста. Хирург, бля, делает операцию. И узнает в больном — соперника. Человека, с которым ему изменила жена. Перед хирургом нравственная, бля, дилемма. То ли спасти человека, то ли отрезать ему... Нет, это слишком, это, бля, перегиб... В общем, хирург колеблется. А потом берет скальпель и делает чудо. Конец, бля, такой: «Медсестра долго, долго глядела ему вслед...» Или, например, о море, — говорил Потоцкий, — запросто... Моряк, бля, уходит на пенсию. Покидает родное судно. На корабле остаются его друзья, его прошлое, его молодость. Мрачный, он идет по набережной Фон-

танки. И видит, бля, парнишка тонет. Моряк, не раздумывая, бросается в ледяную пучину. Рискуя жизнью, вытаскивает паренька... Конец такой: «Навсегда запомнил Витька эту руку. Широкою, мозолистую руку с голубым якорем на запястье...» То есть моряк всегда остается моряком, даже если он, бля, на пенсии...»

Потоцкий сочинял один рассказ в день. У него вышла книга. Она называлась «Счастье трудных дорог». Ее доброжелательно рецензировали, мягко указывая на захолустное происхождение автора.

Стасик решил покинуть Чебоксары. Ему хотелось расправить крылья. Он переехал в Ленинград. Полюбил рестораны «Европа» и двух манекенщиц.

В Ленинграде к его сочинениям отнеслись прохладно. Стереотипы здесь были повыше. Полная бездарность не оплачивалась. Талант настораживал. Гениальность порождала ужас. Наиболее рентабельными казались --- «явные литературные способности». У Потоцкого не было явных способностей. Что-то мерцало в его сочинениях, проскальзывало, брезжило. Какие-то случайные фразы, отдельные реплики... «Перламутровая головка чеснока...», «Парафиновые ноги стюардессы...». Однако явных способностей не было.

Издавать его перестали. То, что прощалось захолустному новичку, раздражало в столичном литераторе. Стасик запил, и не в «Европе», а в подвалах у художников. И не с манекенщицами, а со знакомой коридорной. (Теперь она продавала фрукты с лотка...)

Так он пьянствовал года четыре. Год отсидел за бродяжничество. Коридорная (она же — работник торговли) покинула его. То ли он избил ее, то ли обокрал...

Его одежда превратилась в лохмотья. Товарищи перестали одалживать рубли и уже не дарили бросовых штанов. Милиция снова грозила тюрьмой за нарушение паспортного режима. Кто-то надоумил его поехать в заповедник. Стасик воспрянул духом. Подготовился. Стал водить экскурсии. Причем водил неплохо. Главным его козырем была доверительная интимность:

«Личная трагедия Пушкина и сейчас отзывается в нас мучительной душевной болью...»

Потоцкий украшал свои монологи фантастическими деталями. Разыгрывал в лицах сцену дуэли. Один раз даже упал на траву. Заканчивал экскурсию таинственным метафизическим измышлением:

«Наконец после долгой и мучительной болезни великий гражданин России скончался. А Дантес все еще жив, товарищи...»

То и дело он запивал, бросая работу. «Бомбил» по гривеннику на крыльце шалмана. Собирал пустые бутылки в

кустах. Спал на треснувшей могильной плите Алексея Николаевича Вульфа. Капитан милиции Шатько, встречая его, укоризненно говорил:

«Потоцкий, вы своим обликом нарушаете гармонию здешних мест...»

Затем Потоцкий выдумывал новый трюк. Он бродил по монастырю. Подстерегал очередную группу возле могилы. Дождался конца экскурсии. Отзывал старосту и шепотом говорил:

«Антр ну! Между нами! Соберите по тридцать копеек. Я укажу вам истинную могилу Пушкина, которую большевики скрывают от народа!»

Затем вводил группу в лес и показывал экскурсантам невзрачный холмик. Иногда какой-нибудь дотошный турист спрашивал:

— А зачем скрывают настоящую могилу?

— Зачем? — сардонически усмехался Потоцкий. — Вас интересует — зачем? Товарищи, гражданина интересует — зачем?

— Ах, да, я понимаю, понимаю, — лепетал турист...

Ко дню моего приезда Стасик был изнурен недельным запоем. Он выпросил у меня рубль и коричневые перфорированные сандалии. Затем рассказал драматическую историю:

— Дед, я чуть не разбогател. Я придумал исключительный финансовый трюк. Послушай, идея такова. Я знакомлюсь с каким-нибудь фрайером. У него машина, деньги, бля, и прочее. Мы берем одну, заметь — одну чувиху и едем на пленэр. Там мы вдвоем отмечаемся...

— Не понял.

— По очереди ее того... Утром я бегу к нему: «Дед, у меня закапало». Он в панике. Тогда я ему говорю: «Можно, бля, посодействовать. Будет стоить всего лишь четвертак». Фрайер прыгает от радости. Я беру шприц с чистой водой из-под крана. Делаю укол в задницу ему и себе. Фрайер с благодарностью откидывает мне четвертак. И мы расстаемся друзьями. Чувиха получает колготки за семь рублей. Восемнадцать рэ чистой прибыли. Все было гениально задумано. Операция — «Фиктивный трипак»... И надо же, бля, сорвалось...

— То есть?

— Сначала все шло хорошо. Фрайер меня дико полюбил. Взяли коньяку, бутербродов. Я ангажировал Милку косящую из «Витязя»... Едем, бля, на пленэр. Кираем, отмечаемся. И что ты думаешь? Фрайер сам прибегает наутро. «Дед, — орет, — у меня с конца закапало!..» Садится, бля, в машину и уезжает. Я бегу в поликлинику к Фиме. Так, мол, и так. Фима говорит: «Двадцать пять рублей!..» Мама род-

ная! Где их взять?! Всю Псковщину обегал, еле наскреб. Одиннадцать дней не пил... Потом, бля, разговелся... Ты как насчет этого?

— Насчет пленэра?

— Насчет портвейна?

Я замахал руками. Мне ведь — стоит только начать. Остановливаться я не умею. Самосвал без тормозов...

Стасик подкинул металлический рубль на ладони и ушел...

— Завтра вас будут прослушивать, — сказала Галина.

— Уже?

— По-моему, вы готовы. Зачем откладывать?

Поначалу я нервничал, заметив среди туристов Викторю Альбертовну. Вика улыбалась, то ли дружелюбно, то ли иронически.

Постепенно я осмелел. Группа попалась требовательная. Активисты ДОСААФ из Торжка. Без конца задавали вопросы.

— Это, — говорю, — знаменитый портрет работы Кипренского... Заказан Дельвигом... Возвышенная тракторка... Черточки романтической приукрашенности... «Себя, как в зеркале, я вижу...» Куплен Пушкиным у вдовы барона...

— Когда? В каком году?

— Я думаю, в тридцатом.

— За сколько?

— Какая разница! — не выдержал я.

Вика что-то мне подсказывала, беззвучно шевеля губами...

Перешли в кабинет. Демонстрирую портрет Байрона, трость, этажерку... Перехожу к творчеству... «Интенсивный период... Статьи... Проект журнала...», «Годунов», «Цыганы»... Библиотека... «Я скоро весь умру, но тень мою любя...» И так далее.

Вдруг слышу:

— Пистолеты настоящие?

— Подлинный дуэльный комплект системы Лепажа. Тот же голос:

— Лепажа? А я думал — Пушкина.

Объясняю:

— Пистолеты той эпохи. Системы знаменитого оружейника Лепажа. Пушкин знал и любил хорошее оружие. У него были такие же пистолеты...

— А калибр?

— Что — калибр?

— Меня интересует калибр.

— Калибр, — говорю, — подходящий.

— Чудно, — вдруг успокоился турист.

Пока моя группа осматривала домик няни, Виктория Альбертовна шептала:

— Вы хорошо излагаете, непринужденно... У вас какое-то свое отношение. Но иногда... Я просто в ужасе... Вы назвали Пушкина сумасшедшей обезьяной...

— Не совсем так.

— Я вас очень прошу — сдержаннее.

— Постараюсь.

— А в целом — неплохо...

Я стал водить экскурсии регулярно. Иногда по две за смену. Очевидно, мною были довольны. Если приезжали деятели культуры, учителя, интеллигенция — с ними работал я. Мои экскурсии чем-то выделялись. Например, «свободной манерой изложения», как указывала хранительница Тригорского. Тут сказывалась, конечно, изрядная доля моего актерства. Хотя дней через пять я заучил текст экскурсии наизусть, мне ловко удавалось симулировать взволнованную импровизацию. Я искусственно заикался, как бы подыскивал формулировки, оговаривался, жестикулировал, украшая свои тщательно разработанные экспромты афоризмами Гуковского и Щеголева. Чем лучше я узнавал Пушкина, тем меньше хотелось рассуждать о нем. Да еще на таком постыдном уровне. Я механически исполнял свою роль, получая за это неплохое вознаграждение. (Полная экскурсия стоила около восьми рублей.)

В местной библиотеке я нашел десяток редких книг о Пушкине. Кроме того, перечитал его беллетристику и статьи. Больше всего меня заинтересовало олимпийское равнодушие Пушкина. Его готовность принять и выразить любую точку зрения. Его неизменное стремление к последней высшей объективности. Подобно луне, которая освещает дорогу и хищнику и жертве.

Не монархист, не заговорщик, не христианин — он был только поэтом, гением и сочувствовал движению жизни в целом.

Его литература выше нравственности. Она побеждает нравственность и даже заменяет ее. Его литература сродни молитве, природе... Впрочем, я не литературовед...

Моя работа начиналась с девяти утра. Мы сидели в бюро, ожидая клиентов. Разговоры велись о Пушкине и о туристах. Чаще о туристах. Об их вопиющем невежестве.

«Представляете, он меня спрашивает, кто такой Борис Годунов?..»

Лично я в подобных ситуациях не испытывал раздражения. Вернее, испытывал, но подавлял. Туристы приехали отдыхать. Местком навязал им дешевые путевки. К поэзии эти люди, в общем-то, равнодушны. Пушкин для них — это символ культуры. Им важно ощущение — я здесь был. Необходимо поставить галочку в сознании. Расписаться в книге духовности...

Моя обязанность — доставить им эту радость, не слишком утомляя. Получив семь шестьдесят и трогательную запись в книге отзывов:

«Мы увидели живого Пушкина благодаря экскурсоводу такому-то и его скромным знаниям...»

Дни мои проходили однообразно. Экскурсии заканчивались в два. Я обедал в «Лукоморье» и шел домой. Несколько раз Митрофанов с Потоцким звали выпить. Я отказывался. Это не стоило мне больших усилий, от первой рюмки я легко воздерживаюсь. А вот останавливаться не умею. Мотор хороший, да тормоза подводят...

Жене и дочке я не писал. Это не имело смысла. Думал, подожду, там видно будет...

Короче, жизнь несколько стабилизировалась. Я старался меньше размышлять на отвлеченные темы. Мои несчастья были вне поля зрения. Где-то за спиной. Пока не оглянешься — спокоен. Можно не оглядываться...

Между делом я прочитал Лихоносова. Конечно, хороший писатель. Талантливый, яркий, пластичный. Живую речь воспроизводит замечательно. (Услышал бы Толстой подобный комплимент!) И тем не менее в основе — безнадежное, унылое, назойливое чувство. Худосочный и нудный мотив: «Где ты, Русь?! Куда все подевалось?! Где частушки, рушники, кокошники? Где хлебосольство, удаль и размах?! Где самовар, иконы, подвижники, юродивые?! Где стерлядь, карпы, мед, зернистая икра?! Где обыкновенные лошади, черт побери?! Где целомудренная стыдливость чувств?!...»

Голову ломают:

«Где ты, Русь?! Куда девалась?! Кто тебя обезобразил?!»

Кто, кто... Известно кто...

И нечего тут голову ломать...

Отношения с Михал Иванычем были просты и рациональны. Первое время он часто заходил ко мне. Вытаскивал из карманов бутылки. Я махал руками. Он пил из горлышка, что-то многословно бормоча. Я не без труда улавливал смысл его пространственных монологов.

И вообще, Мишина речь была организована примечательно. Членораздельно и ответственно Миша выговаривал лишь существительные и глаголы. Главным образом, в непристойных сочетаниях. Второстепенные же члены употреблял Михал Иваныч совершенно произвольно. Какие подвернутся. Я уже не говорю о предлогах, частицах и междометиях. Их он создавал прямо на ходу. Речь его была сродни классической музыке, абстрактной живописи или пению щегла. Эмоции явно преобладали над смыслом.

Допустим, я говорил:

— Миша, пора тебе завязывать хотя бы на время.

В ответ раздавалось:

— Эт сидор-пидор бозна где... Пятерку утром хва и зна-то бись в гадюшник... Аванс мой тыка што на дипоненте... Кого же еньть завязывать?.. Без пользы тыка... И душа не взойде...

Мишины выступления напоминали звукопись ремизовской школы.

Болтливых женщин он называл таратайками. Плохих хозяек — росомахами. Неверных жен — шаландами. Пиво и водку — балдой, отравой и керосином. Молодое поколение — описью...

«На турбазе опись гаешная бозна халабудит...»

В смысле — молодежь, несовершеннолетняя шпана озорничает и творит бог знает что...

Отношения наши были построены четко. Миша брал для меня у тещи лук, сметану, грибы и картофель. Плату с негодованием отвергал. Зато я каждое утро давал ему рубль на вино. И удерживал от попыток застрелить жену Лизу. Иногда с риском для моей собственной жизни.

Получалось — мы в расчете.

Что он за личность, я так и не понял. С виду — нелепый, добрый, бестолковый. Однажды повесил двух кошек на рябине. Петли смастерил из рыболовной лески.

— Расплодись, — говорит, — шумовки, повсюду лузгают...

Как-то раз я нечаянно задвинул изнутри щеколду. И он до утра просидел на крыльце, боялся меня разбудить.

Был он нелепым и в доброте своей и в злобе. Начальство материл в лицо последними словами. А прохода мимо изображения Фридриха Энгельса, стаскивал шапку. Без конца проклинал родезийского диктатора Яна Смита. Зато любил и уважал буфетчицу в шалмане, которая его неизменно обсчитывала:

«Без этого нельзя, порядок есть порядок!»

Самое жуткое его проклятие звучало так:

— Работает на капиталистов!

Как-то раз милиционер Довейко отобрал у него, у пьяного, германский штык.

— Капиталистам служишь, гад! — орал ему Михал Иваныч.

Жена и теща унесли в его отсутствие радиоприемник.

— Все равно от капиталистов спасиба не дождутся, — заверял Михал Иваныч.

Беседовали мы с ним всего раза два. Помню, Миша говорил (текст слегка облагорожен):

— Я пацаном был, когда здесь немцы стояли. Худого не делали, честно скажу. Кур забрали, свинью у деда

Тимохи... А худого не делали. И баб не трогали. Те даже обижаться стали... Мой батя самогонку гнал. На консервы менял у фашистов... Правда, жидов и цыган они того...

— Расстреляли?

— Увезли с концами. Порядок есть порядок...

— А ты говоришь, худого не делали.

— Худого, ей-богу, не делали. Жидов и цыган — это как положено...

— Чем же тебе евреи не угодили?

— Евреев уважаю. Я за еврея дюжину хохлов отдам. А цыган своими руками передушил бы.

— За что?

— Как за что?! Во дает! Цыган и есть цыган...

В июле я начал писать. Это были странные наброски, диалоги, поиски тона. Что-то вроде конспекта с неясно очерченными фигурами и мотивами. Несчастливая любовь, долги, женитьба, творчество, конфликт с государством. Плюс, как говорил Достоевский, — оттенок высшего значения.

Я думал, что в этих занятиях растворятся мои невзгоды. Так уже бывало раньше, в пору литературного становления. Вроде бы это называется — сублимация. Когда пытаешься возложить на литературу ответственность за свои грехи. Сочинил человек «Короля Лира» и может после этого год не вытаскивать шпагу...

Вскоре отослал жене семьдесят рублей. Купил себе рубашку — поступок для меня беспрецедентный.

Доходили слухи о каких-то публикациях на Западе. Я старался об этом не думать. Ведь мне безразлично, что делается на том свете. Прямо так и скажу, если вызовут...

Кроме того, я отправил несколько долговых писем. Мол, работаю, скоро верну, извините...

Все кредиторы реагировали благородно: не спеши, деньги есть, заработаешь — отдашь...

Короче, жизнь обрела равновесие. Стала казаться более осмысленной и логичной. Ведь кошмар и безнадежность — еще не самое плохое. Самое ужасное — хаос...

Стоит пожить неделю без водки, и дурман рассеивается. Жизнь обретает сравнительно четкие контуры. Даже неприятности кажутся законным явлением.

Я очень боялся нарушить это зыбкое равновесие. Грубил, если звали выпить. Раздражался, если со мной заговаривали девушки в экскурсионном бюро.

Потоцкий говорил:

— Борька трезвый и Борька пьяный настолько разные люди, что они даже не знакомы между собой...

И все-таки я чувствовал — не может это продолжаться

без конца. Нельзя уйти от жизненных проблем... слабые люди преодолевают жизнь, мужественные — осваивают... Если живешь неправильно, рано или поздно что-то случится...

Утро. Молоко с голубоватой пенкой. Лай собак, позвякивание ведер...

За стеной похмельный Мишин голос:

— Сынок, кинь рублишко!

Я высыпал ему оставшуюся мелочь, накормил собак.

На турбазе за холмом играла радиола. В ясном небе пролетали галки. Под горой над болотом стелился туман. На зеленой траве серыми комьями лежали овцы.

Я шел через поле к турбазе. На мокрых от росы ботинках желтел песок. Из рощи тянуло прохладой и дымом.

Под окнами экскурсионного бюро сидели туристы. На скамейке, укрывшись газетой, лежал Митрофанов. Даже во сне было заметно, как он ленив...

Я поднялся на крыльцо. В маленьком холле толпились экскурсоводы. Кто-то со мной поздоровался. Кто-то попросил закурить. Дима Баранов сказал: «Ты чего?..»

Под безобразной, чудовищной, отталкивающей картиной районного художника Щукина (цилиндр, лошадь, гений, дали неоглядные) стояла моя жена и улыбалась...

И сразу моему жалкому благополучию пришел конец. Я понял, что меня ожидает. Вспомнил наш последний разговор...

Мы развелись года полтора назад. Этот современный изящный развод чем-то напоминал перемирие. Перемирие, которое не всегда заканчивается салютом...

Помню, народный судья Чикваидзе обратился к моей бывшей жене:

— Претендуете на какую-то часть имущества?

— Нет, — ответила Татьяна.

И добавила:

— За неимением оного...

Потом мы иногда встречались как добрые знакомые. Но это показалось мне фальшивым, и я уехал в Таллинн.

А через год мы снова встретились. Заболела наша дочка, и Таня переехала ко мне. Это была уже не любовь, а судьба...

Мы жили бедно, часто ссорились. Кастрюля, полная взаимного раздражения, тихо булькая, стояла на медленном огне...

Образ непризнанного гения Таня четко увязывала с идеей аскетизма. Я же, мягко выражаясь, был чересчур общителен.

Я говорил:

— Пушкин волочился за женщинами... Достоевский предавался азартным играм... Есенин кутил и дрался в ресторанах... Пороки были свойственны гениальным людям в такой же мере, как и добродетели...

— Значит, ты наполовину гений, — соглашалась моя жена, — ибо пороков у тебя достаточно...

Мы продолжали балансировать на грани разрыва. Говорят, подобные браки наиболее долговечны.

И все-таки с дружбой было покончено. Нельзя говорить «Привет, моя дорогая!» женщине, которой шептал Бог знает что. Не звучит...

С чем же пришел я к моему тридцатилетию. бурно отмечавшемуся в ресторане «Днепр»? Я вел образ жизни свободного художника. То есть не служил, зарабатывая журналистикой и литобработками генеральских мемуаров. У меня была квартира с окнами, выходящими на помойку. Письменный стол, диван, гантели, радиола «Тонус». (Тонус — неплохая фамилия для завмага.) Пишущая машинка, гитара, изображение Хемингуэя, несколько трубок в керамическом стакане. Лампа, шкаф, два стула эпохи бронтозавров, а также кот Ефим, глубоко уважаемый мною за чуткость. Не в пример моим лучшим друзьям и знакомым, он стремился быть человеком...

Таня жила в соседней комнате. Дочка болела, выздоравливала и снова заболела.

Мой друг Бернович говорил:

— К тридцати годам у художника должны быть решены все проблемы. За исключением одной — как писать?

Я в ответ заявлял, что главные проблемы — неразрешимы. Например, конфликт отцов и детей. Противоречия между чувством и долгом...

У нас возникала терминологическая путаница.

В конце Бернович неизменно повторял:

— Ты не создан для брака...

И все-таки десять лет мы женаты. Без малого десять лет...

Татьяна взошла над моей жизнью, как утренняя заря. То есть спокойно, красиво, не возбуждая чрезмерных эмоций. Чрезмерным в ней было только равнодушие. Своим безграничным равнодушием она напоминала явление живой природы...

Живописец Лобанов праздновал именины своего хомяка. В мансарду с косым потолком набилось человек двенадцать. Все ждали Целкова, который не пришел. Сидели на полу, хотя стульев было достаточно. К ночи застольная беседа

переросла в дискуссию с оттенком мордобоя. Бритоголовый человек в тельняшке, надсаживаясь, орал:

— Еще раз повторяю, цвет — явление идеологическое!..

(Позднее выяснилось, что он совсем не художник, а товаровед из Апраксина Двора.)

Эта невинная фраза почему-то взбесила одного из гостей, художника-шрифтиста. Он бросился на товароведа с кулаками. Но тот, как все бритоголовые мужчины, оказался силачом и действовал решительно. Он мгновенно достал из рта вставной зуб на штифтовом креплении... Быстро завернул его в носовой платок. Сунул в карман. И наконец принял боксерскую стойку.

К этому времени художник остыл.

Он ел фаршированную рыбу, то и дело восклицая:

— Потрясающая рыба! Я хотел бы иметь от нее троих детей...

Таню я заметил сразу. Сразу запомнил ее лицо: одновременно — встревоженное и равнодушное. (С юных лет я не понимал, как это могут ужиться в женщине безразличие и тревога?..)

На бледном лице выделялась помада. Улыбка была детской и немного встревоженной.

Далее — кто-то пел, старательно изображая вора-рецидивиста. Кто-то привел иностранного дипломата, оказавшегося греческим моряком. Поэт Карповский изощренно лгал. Говорил, например, что его выгнали за творческое хулиганство из международного Пен-клуба...

Я взял Татьяну за руку и говорю:

— Пошли отсюда!

(Лучший способ побороть врожденную неуверенность — это держаться как можно увереннее.)

Таня без колебаний согласилась. И не как заговорщица. Скорее, как примерное дитя. Юная барышня, которая охотно слушается взрослых.

Я шагнул к двери, распахнул ее и обмер. Впереди блестела пологая мокрая крыша. На фоне высокого бледного неба чернели антенны. Оказывается, в мастерской было три двери. Одна вела к лифту. Другая — в недра отопительной системы. И третья — на крышу.

Возвращаться не хотелось. Тем более что, судя по окрепшим голосам, вечеринка приближалась к драке.

Помедлив, я шагнул на громыхающую кровлю. Таня последовала за мной.

— Давно, — говорю, — мне хотелось побыть в такой романтической обстановке.

Под ногами у меня валялся рваный башмак. Печальная серая кошка балансировала на остром гребне.

Я спросил:

— Бывали раньше на крыше?

— Никогда в жизни, — ответила Таня.

Добавив:

— Но я всегда ужасно завидовала Терешковой...

— Там, — говорю, — Казанский собор... За ним — Адмиралтейство... А это — Пушкинский театр...

Мы подошли к ограде. Далеко под нами шумел вечерний город. Улица сверху казалась безликой. Ее чуть оживляли наполненные светом трамваи.

— Надо, — говорю, — выбираться отсюда.

— По-вашему, драка уже кончилась?

— Не думаю... Как вы сюда попали? Ну, в эту компанию?

— Через бывшего мужа.

— Он что, художник?

— Не совсем... Подлецом оказался. А вы?

— Что — я?

— Как вы сюда попали?

— Меня заманил Лобанов. Я у него картину приобрел из снобизма. Что-то белое... с ушками... Вроде кальмара... Называется «Вектор тишины»... Среди них есть талантливые живописцы?

— Да. Например, Целков.

— Это который? В джинсах?

— Целков — это, который не пришел.

— Ясно, — говорю.

— Один повесился недавно. Его звали — Рыба. Прозвище такое... Так он взял и повесился.

— О Господи! Из-за чего? Несчастливая любовь?

— Рыбе было за тридцать. Его картины не продавались.

— Хорошие картины?

— Не очень. Сейчас он работает корректором.

— Кто?! — вскричал я.

— Рыба. Его удалось спасти. Сосед явился к нему за папиросами...

— Надо, — говорю, — выбираться.

Мелко ступая, я приблизился к чердачному окошку. Распахнул его. Протянул девушке руку:

— Осторожно!

Таня легко скользнула в оконный проем. Я последовал за ней. На чердаке было темно и пыльно. Мы перешагивали через обернутые войлоком трубы. Нагибались под бельевыми веревками. Достигнув черной лестницы, спустились вниз. Затем проходными дворами вышли к стоянке такси.

Шел дождь, и я подумал: вот она, петербургская литературная традиция. Вся эта хваленая «школа» есть сплошное описание дурной погоды. Весь «матовый блеск ее стила» — асфальт после дождя...

Затем я спросил:

— Как там ваши папа с мамой? Волнуются, наверное?

Уже лет пятнадцать я неизменно задаю симпатичным девушкам этот глупый вопрос. Три из пяти отвечают:

«Я живу одна. Так что волноваться некому...»

Этого-то я и жду. Старая истина гласит: на территории врага сражаться легче...

— Нет у меня родителей, — печально ответила Таня. Я смутился.

— Простите, — говорю, — за бестактность...

— Они живут в Ялте, — добавила Таня, — папаша — секретарь райкома...

Тут подошла машина.

— Куда ехать? — не оборачиваясь, спросил шофер.

— Дзержинского, восемь.

Водитель недовольно шевельнул плечами:

— Пешком могли дойти.

— Рассчитаемся, — говорю...

Водитель повернулся и отчеканил:

— Благодарствуйте, сударь! Век не забудем такой доброты...

Мы подъехали к Таниному дому. Кирпичный фасад его на метр выдавался из общей шеренги. Четыре широких викторианских окна были соединены перилами.

Водитель развернулся и уехал, сказав:

— Ауф видер зеен...

Пологие ступени вели к тяжелой, обитой брезентом двери...

Тысячу раз я бывал в подобных ситуациях. И тем не менее волновался. Сейчас она поднимется на крыльцо, и я услышу:

«Спасибо, что проводили...»

После этого надо уходить. Топтаться в подъезде — неприлично. Спрашивать — «Не угостите ли чашечкой кофе?» — позор!..

Мой друг Бернович говорил:

«Хорошо идти, когда зовут. Ужасно — когда не зовут. Однако лучше всего, когда зовут, а ты не идешь...»

Таня приоткрыла дверь:

— Спасибо за крышу!

— Знаете, — говорю, — о чем я жалею? Выпивки много осталось... Там, в мастерской...

Одновременно я как будто невзначай шагнул через порог.

— У меня есть вино, — сказала Таня, — я его от бра-та прячу. Он заходит с бутылкой, а я половину — в шкаф. У него печень больная...

— Вы, — говорю, — меня заинтриговали.

— Я вас понимаю, — сказала Татьяна, — у меня дядя — хронический алкоголик...

Мы сели в лифт. На каждом этаже мигала лампочка. Таня разглядывала свои босоножки. Между прочим, дорогие босоножки с фирменным знаком «Роша»...

За ее спиной я видел написанное мелом ругательство. Хула без адреса. Феномен чистого искусства...

Затем мы тихо, чуть ли не украдкой шли по коридору. Я с шуршанием задевал рукавами обои.

— Какой вы огромный, — шепнула Таня.

— А вы, — говорю, — наблюдательная...

Затем мы оказались в неожиданно просторной комнате. Я увидел гипсовую Нефертити, заграничный календарь с девицей в розовом бюстгальтере, плакат трансатлантической аэролинии. На письменном столе атели клубки вязальной шерсти...

Таня достала бутылку кагора, яблоко, халву, покоровившийся влажный сыр. Я спросил:

— Где вы работаете?

— В канцелярии ЛИТМО. А вы?

— Я, — говорю, — репортер.

— Журналист?

— Нет, именно репортер. Журналистика — это стиль, идеи, проблемы... А репортер передает факты. Главное для репортера — не солгать. В этом состоит пафос его работы. Максимум стиля для репортера — немота. В ней минимальное количество лжи...

Разговор становился многозначительным.

Я вообще не любил говорить о своих литературных делах. В этом смысле я, что называется, хранил целомудрие. Чуть принижая свою работу, я достигал обратной цели. Так мне казалось...

Кагор был выпит, яблоко разрезано на дольки. Наступила пауза, в такой ситуации — разрушительная...

Как ни странно, я ощущал что-то вроде любви.

Казалось бы — откуда?! Из какого сора?! Из каких глубин убогой, хамской жизни?! На какой истощенной, скудной почве вырастают эти тропические цветы?! Под лучами какого солнца?!..

Какие-то захламленные мастерские, вульгарно одетые барышни... Гитара, водка, жалкое фрондерство... И вдруг — о Господи! — любовь...

До чего же он по-хорошему неразборчив, этот царь Вселенной!..

Далее Таня чуть слышно выговорила:

— Давайте беседовать, просто беседовать...

За три минуты до этого я незаметно снял ботинки.

— Теоретически, — говорю, — это возможно. Практически — нет...

А сам беззвучно проклинаю испорченную молнию на джемпере...

Тысячу раз буду падать в эту яму. И тысячу раз буду умирать от страха.

Единственное утешение в том, что этот страх короче папиросы. Окурок еще дымится, а ты уже герой...

Потом было тесно и были слова, которые утром мучительно вспоминать. А главное, было утро как таковое, с выплывающими из мрака очертаниями предметов. Утро без разочарования, которого я ждал и опасался.

Помню, я даже сказал:

— И утро тебе к лицу...

Так явно она похорошела без косметики.

С этого все и началось. И продолжается десять лет. Без малого десять лет...

Я стал изредка бывать у Тани. Неделю работал с утра до вечера. Потом навещал кого-то из друзей. Сидел в компании, беседовал о Набокове, о Джойсе, о хоккее, о черных терьерах...

Бывало, что я напивался и тогда звонил ей.

— Это мистика! — кричал я в трубку. — Самая настоящая мистика... Стоит мне позвонить, и ты каждый раз говоришь, что уже два часа ночи...

Затем я, пошатываясь, брел к ее дому. Он заметно выступал из ряда, словно делая шаг мне навстречу.

Таня удивляла меня своим безмолвным послушанием. Я не понимал, чего в нем больше — равнодушия, смирения, гордыни?

Она не спрашивала:

«Когда ты придешь?»

Или:

«Почему ты не звонил?»

Она поражала меня неизменной готовностью к любви, беседе, развлечениям. А также — полным отсутствием какой-либо инициативы в этом смысле...

Она была молчаливой и спокойной. Молчаливой без напряжения и спокойной без угрозы. Это было молчаливое спокойствие океана, равнодушно внимающего крику чаек...

Как все легкомысленные мужчины, я был не очень злым человеком. Я начинал каяться или шутить. Я говорил:

— Женихи бывают стационарные и амбулаторные. Я, например, — амбулаторный...

И дальше:

— Что ты во мне нашла?! Встретить бы тебе хорошего человека! Какого-нибудь военнотружущего...

— Стимул отсутствует, — говорила Таня, — хорошего человека любить неинтересно...

В поразительную эпоху мы живем. «Хороший человек» для нас звучит как оскорбление. «Зато он человек хороший», — говорят про жениха, который выглядит явным ничтожеством...

Прошел год. Я бывал у Тани все чаще. Соседи вежливо меня приветствовали и звали к телефону.

У меня появились здесь личные вещи. Зубная щетка в керамическом стакане, пепельница и домашние туфли. Как-то раз я водворил над столом фотографию американского писателя Беллоу.

— Белов? — переспросила Таня. — Из «Нового мира»?

— Он самый, — говорю...

«Ну хорошо, — думал я, — возьму и женюсь. Женюсь из чувства долга. Допустим, все будет хорошо. Причем для нас обоих.

По сути дела, мы уже женаты, и все идет нормально.

Союз, лишенный обязательств. В чем и состоит залог его долговечности...

Но где же любовь? Где ревность и бессонница? Где половодье чувства? Где неотправленные письма с расплывшимися чернилами? Где обморок при виде крошечной ступни? Где купидоны, амурсы и прочие статисты этого захватывающего шоу? Где, наконец, букет цветов за рубль тридцать?!

Собственно говоря, я даже не знаю, что такое любовь. Критерии отсутствуют полностью. Несчастливая любовь — это я еще понимаю. А если все нормально? По-моему, это настораживает. Есть в ощущении нормы какой-то подвох. И все-таки еще страшнее — хаос...

Допустим, мы зарегистрируемся. Но это будет аморально. Поскольку мораль давления не терпит...

Мораль должна органически вытекать из нашей природы. Как это у Шекспира:

«Природа, ты — моя богиня!»

Впрочем, кто это говорит? Эдмонд! Негодяй, каких мало...

Так что все невероятно запутывается.

Тем не менее — вопрос. Кто решится упрекнуть в аморализме ястреба или волка? Кто назовет аморальным — болото, вьюгу или жар пустыни?..

Насильственная мораль — это вызов силам природы. Короче, если я женюсь из чувства долга, это будет аморально...»

Однажды Таня позвонила мне сама. По собственной инициативе. С учетом ее характера это была почти диверсия.

— Ты свободен?

— К сожалению, нет, — говорю, — у меня телетайп...

Года три уже я встречаю отказом любое неожиданное предложение. Загадочное слово «телетайп» должно было прозвучать убедительно.

— Брат приехал. Кузен. Я давно хотела вас познакомиться.

— Хорошо, — говорю, — приду.

Отчего бы и не познакомиться с выпивающим человеком?!

Вечером поехал к Тане. Выпил для храбрости. Потом добавил. В семь звонил у ее дверей. И через минуту, после неловкой толчеи в коридоре, увидел брата.

Он расположился, как садятся милиционеры, агитаторы и ночные гости. То есть боком к обеденному столу.

Братец выглядел сильно.

Над утесами плеч возвышалось бурое кирпичное лицо. Купол его был увенчан жесткой и запыленной грядкой прошлогодней травы. Лепные своды ушей терялись в полумраке. Форпосту широкого, прочного лба не хватало бойниц. Оврагом темнели разомкнутые губы. Мерцающие болотца глаз, подернутые ледяною кромкой, — вопрошали. Бездонный рот, как щель в скале, таил угрозу.

Братец поднялся и крейсером выдвинул левую руку. Я чуть не застонал, когда железные тиски сжали мою ладонь.

Затем братец рухнул на скрипнувший стул. Шевельнулись гранитные жернова. Короткое сокрушительное землетрясение на миг превратило лицо человека в руины. Среди которых расцвел, чтобы тотчас завянуть, — бледно-алый цветок его улыбки.

Кузен со значением представился:

— Эрих-Мария.

— Борис, — ответил я, вяло просияв.

— Вот и познакомились, — сказала Таня.

И ушла хлопотать на кухню.

Я молчал, как будто придавленный тяжелой ношей. Затем ощутил на себе взгляд, холодный и твердый, как дуло.

Железная рука опустилась на мое плечо. Пиджачок мой сразу же стал тесен.

Помню, я выкрикнул что-то нелепое. Что-то до ужаса интеллигентное:

— Вы забываетесь, маэстро!

— Молчать! — произнес угрожающе тот, кто сидел напротив.

И дальше:

— Ты почему не женишься, мерзавец?! Чего виляешь, мразь?!

«Если это моя совесть, — быстро подумал я, — то она весьма и весьма неприглядна...»

Я начал терять ощущение реальности. Контурь действительности безнадежно расплывались. Брат-пейзаж заинтересованно тянулся к вину.

Я услышал под окнами дребезжание трамвая. Шевельнув локтями, поправил на себе одежду.

Затем сказал как можно более внушительно:

— Але, кузен, пожалуйста, без рук! Я давно собираюсь конструктивно обсудить тему брака. У меня шампанское в портфеле. Одну минуточку...

И я решительно опустил бутылку на гладкий полированный стол...

Так мы и поженились.

Брата, как позднее выяснилось, звали Эдик Малинин. Работал Эдик тренером по самбо в обществе глухонемых.

А тогда я, очевидно, выпил много лишнего. Еще до приезда к Татьяне. Ну и вообразил Бог знает что...

Официально мы зарегистрировались в июне. Перед тем как отправиться на Рижское взморье. Иначе мы не смогли бы прописаться в гостинице...

Шли годы. Меня не печатали. Я все больше пил. И находил для этого все больше оправданий.

Иногда мы подолгу жили на одну лишь Танину зарплату.

В нашем браке соединялись черты размаха и убожества. У нас было два изолированных жилища. На расстоянии пяти трамвайных остановок. У Тани — метров двадцать пять. И у меня две тесные комнатухи — шесть и восемь. Пышно выражаясь — кабинет и спальня.

Года через три мы обменяли все это на приличную двухкомнатную квартиру.

Таня была загадочной женщиной. Я так мало знал о ней, что постоянно удивлялся. Любой факт ее жизни производил на меня впечатление сенсации.

Однажды меня удивило ее неожиданно резкое политическое высказывание. До этого я понятия не имел о ее взглядах. Помню, увидев в кинохронике товарища Гришина, моя жена сказала:

— Его можно судить за одно лишь выражение лица...

Так между нами установилось частичное диссидентское взаимопонимание.

И все же мы часто ссорились. Я становился все более раздражительным. Я был — одновременно — непризнанным гением и страшным халтурщиком. В моем столе хранились импрессионистские новеллы. За деньги же я сочинял литературные композиции на тему армии и флота.

Я знал, что Тане это неприятно.

Бернович назойливо повторял:

— К тридцати годам необходимо разрешить все проблемы, за исключением творческих...

Мне это не удавалось. Мои долги легко перешли ту черту, за которой начинается равнодушие. Литературные чиновники давно уже занесли меня в какой-то гнусный список. Полностью реализоваться в семейных отношениях я не хотел и не мог.

Моя жена все чаще заговаривала об эмиграции. Я окончательно запутался и уехал в Пушкинские Горы...

Формально я был холост, здоров, оставался членом Союза журналистов. Принадлежал к симпатичному национальному меньшинству. Моих литературных способностей не отрицали даже Гранин и Рытхэу.

Формально я был полноценной творческой личностью.

Фактически же пребывал на грани душевного расстройства.

И вот она приехала, так неожиданно, я даже растерялся. Стоит и улыбается, как будто все хорошо.

Я слышу:

— Ты загорел...

И потом, если не ошибаюсь:

— Дорогой мой...

Спрашиваю:

— Как Маша?

— Недавно щеку поцарапала, такая своевольная... Я привезла консервы...

— Ты надолго?

— Мне в понедельник на работу.

— Ты можешь заболеть.

— Чем же я заболею? — удивилась Таня.

И добавила:

— Между прочим, я и так нездорова...

Вот это логика, думаю...

— Да и неудобно, — говорит Татьяна, — Сима в отпуске. Рощин в Израиль собирается. Ты знаешь, Рощин оказался Штакельбергом. И зовут его теперь не Дима, а Мордхе. Честное слово...

— Я верю.

— Сурисы пишут, что у Левы хорошая работа в Бостоне...

— Давай я отпрошусь?..

— Зачем? Мне хочется послушать. Мне хочется видеть тебя на работе.

— Это не работа. Это халтура... А ведь я двадцать лет пишу рассказы, которые тебя совершенно не интересуют...

— Раньше ты говорил — пятнадцать. А теперь уже — двадцать. Хотя прошло меньше года...

Поразительная у нее способность — выводить меня из равновесия. Но ссориться было глупо. Ссорятся люди от полноты жизни...

— Мы, — говорю, — тут вроде затейников. Помогаем трудящимся культурно отдыхать.

— Вот и хорошо. Коллеги у тебя приличные?

— Разные. Тут местная одна работает — Лариса. Каждый день рыдает у могилы Пушкина. Увидит могилу и — в слезы...

— Притворяется?

— Не думаю... Однажды туристы ей кухонный набор подарили за сорок шесть рублей.

— Я бы не отказалась...

Тут Галина назвала мою фамилию. Прибыли туристы из Липецка.

Я сказал Татьяне:

— Вещи можешь оставить здесь.

— У меня только сумка.

— Вот и оставь...

Мы направились к синему, забрызганному грязью автобусу. Я поздоровался с водителем и усадил жену. Затем обратился к туристам:

— Доброе утро! Администрация, хранители и служащие заповедника приветствуют наших гостей. Сопровождать вас доверили мне. Меня зовут... Нам предстоит...

И так далее.

Потом объяснил шоферу, как ехать в Михайловское. Автобус тронулся. На поворотах доносились звуки радиолы:

Дари огонь, как Прометей,
дари огонь без выбора,
и для людей ты не жалея
огня души своей...

Когда мы огибали декоративный валун на развилке, я зло сказал:

— Не обращайтесь внимания. Это так, для красоты...

И чуть потише — жене:

— Дурацкие затеи товарища Гейченко. Хочет создать грандиозный парк культуры и отдыха. Цепь на дерево повесил из соображений колорита. Говорят, ее украли тартуские студенты. И утопили в озере. Молодцы, структурировали!..

Я вел экскурсию, то и дело поглядывая на жену. Ее лицо, такое внимательное и даже немного растерянное, вновь пора-

зило меня. Бледные губы, тень от ресниц и скорбный взгляд...

Теперь я обращался к ней. Рассказывал ей о маленьком гениальном человеке, в котором так легко уживались бог и дьявол. Который высоко парил, но стал жертвой обыкновенного земного чувства. Который создавал шедевры, а погиб героем второстепенной беллетристики. Дав Булгарину законный повод написать:

«Великий был человек, а пропал, как заяц...»

Мы шли по берегу озера. У подножия холма темнел очердной валун. Его украшала славянская каллиграфия очердной цитаты. Туристы окружили камень и начали жадно его фотографировать.

Я закурил. Таня подошла ко мне.

День был солнечный, ветреный, нежаркий. Нас догоняла растянувшаяся вдоль берега группа. Надо было спешить.

Ко мне подошел толстяк с блокнотом:

— Виноват, как звали сыновей Пушкина?

— Александр и Григорий.

— Старший был...

— Александр, — говорю.

— А по отчеству?

— Александрович, естественно.

— А младший?

— Что — младший?

— Как отчество младшего?

Я беспомощно взглянул на Таню. Моя жена не улыбалась, печальная и сосредоточенная.

— Ах, да, — спохватился турист.

Надо было спешить.

— Пойдемте, товарищи, — бодро выкрикнул я, — шагом марш до следующей цитаты!..

В Тригорском экскурсия шла легко и даже с подъемом. Чему, повторяю, в значительной мере способствовали характер и логика экспозиции.

Правда, меня смутило требование одной дамы. Ей захотелось услышать романс «Я помню чудное мгновенье». Я ответил, что совершенно не умею петь. Дама настаивала. Выручил меня толстяк с блокнотом. Давайте, говорит, я спою...

— Только не здесь, — попросил я, — в автобусе.

(На обратном пути толстяк действительно запел. У этого болвана оказался замечательный тенор...)

Я заметил, что Таня устала. Решил игнорировать Тригорский парк. Мне и раньше случалось это делать. Я обращался к туристам:

— Кто из присутствующих уже бывал в заповеднике?

Как правило, таковых не оказывалось. Значит, я могу нарушить программу без риска...

Мои туристы бегом спустились под гору. Каждый торопился сесть в автобус первым, хотя мест было достаточно и они были заранее распределены. Пока мы осматривали Тригорское, наши шоферы успели выкупаться. Волосы у них были мокрые.

— Поехали в монастырь, — говорю, — от стоянки налево...

Молодой водитель кивнул и спрашивает:

— Долго там пробудете?

— Полчаса, не больше.

В монастыре я познакомил Таню с хранителем Логиновым. Поговаривали, что Николай Владимирович религиозен и даже соблюдает обряды. Мне хотелось побеседовать с ним о вере, и я ждал удобного случая. Он казался веселым и спокойным, а мне этого так не хватало...

Я закончил экскурсию в южном приделе у рисунка Бруни. У могилы финал выглядел бы эффектнее, но я предпочел отпустить группу. Моя жена постояла у ограды и скоро вернулась.

— Все это нелепо и грустно, — сказала она.

Я не спросил, что имеется в виду. Я устал. Вернее, чувствовал себя очень напряженно. Я знал, что она не случайно приехала.

— Давай, — говорю, — поужинаем в «Лукоморье»?

— Я бы даже выпила немного, — сказала Таня...

В зале было пустынно и душно. Два огромных вентилятора бездействовали. Стены были украшены деревянными рельефами. Немногочисленные посетители составляли две группы. Заезжая аристократия в джинсах и местная публика куда более серого вида. Приезжие обедали. Местные пили.

Мы сели у окна.

— Я забыл спросить, как ты добралась? Вернее, не успел.

— Очень просто, ночным автобусом.

— Могла приехать с кем-нибудь из экскурсоводов, бесплатно.

— Я их не знаю.

— Я тоже. В следующий раз договоримся заранее.

— В следующий раз приедешь ты. Все-таки это довольно утомительно.

— Жалеешь, что приехала?

— Ну, что ты! Здесь чудесно...

Подошла официантка с крошечным блокнотиком.

Я знал эту девицу. Экскурсоводы прозвали ее Бисмарком.

— Ну, чего? — произнесла она.

И замолчала, совершенно обессилев.

— Нельзя ли, — говорю, — чуть повежливее? В порядке исключения. Ко мне жена приехала.

— А что я такого сказала?

— Перестань, умоляю тебя, перестань...

Потом Татьяна заказывала блинчики, вино, конфеты...

— Давай все обсудим. Давай поговорим спокойно.

— Я не поеду. Пусть они уезжают.

— Кто — они? — спросила Таня.

— Те, кто мне жизнь отравляет. Вот пусть они и едут...

— Тебя посадят.

— Пусть сажают. Если литература — занятие предосудительное, наше место в тюрьме... И вообще, за литературу уже не сажают.

— Хейфиц даже не опубликовал свою работу, а его взяли и посадили.

— Потому и взяли, что не опубликовал. Надо было печататься в «Гранях». Или в «Континенте». Теперь вступить-ся некому. А так на Западе могли бы шум поднять...

— Ты уверен?

— В чем?

— В том, что Миша Хейфиц интересуется западную общественность?

— Почему бы и нет? О Буковском писали. О Кузнецове писали...

— Это все политическая игра. А надо думать о реальной жизни.

— Еще раз говорю, не поеду.

— Объясни, почему?

— Тут нечего объяснять... Мой язык, мой народ, моя безумная страна... Представь себе, я люблю даже милиционеров.

— Любовь — это свобода. Пока открыты двери — все нормально. Но если двери заперты снаружи — это тюрьма...

— Но ведь сейчас отпускают.

— И я хочу этим воспользоваться. Мне надоело. Надоело стоять в очередях за всякой дрянью. Надоело ходить в рваных чулках. Надоело радоваться говяжьим сарделькам... Что тебя удерживает? Эрмитаж, Нева, березы?

— Березы меня совершенно не волнуют.

— Так что же?

— Язык. На чужом языке мы теряем восемьдесят процентов своей личности. Мы утрачиваем способность шутить, иронизировать. Одно это меня в ужас приводит.

— А мне вот не до шуток. Подумай о Маше. Представь себе, что ее ожидает.

— Ты все ужасно преувеличиваешь. Миллионы людей живут, работают и абсолютно счастливы.

— Миллионы пускай остаются. Я говорю о тебе. Все равно тебя не печатают.

— Но здесь мои читатели. А там... Кому нужны мои рассказы в городе Чикаго?

— А здесь кому они нужны? Официантке из «Лукоморья», которая даже меню не читает?

— Всем. Просто сейчас люди об этом не догадываются.

— Так будет всегда.

— Ошибаешься.

— Пойми, через десять лет я буду старухой. Мне все заранее известно. Каждый прожитый день — ступенька в будущее. И все ступеньки одинаковые. Серые, вытопанные и крутые... Я хочу прожить еще одну жизнь: мечтаю о какой-то неожиданности. Пусть это будет драма, трагедия... Это будет неожиданная драма...

В который раз мы говорили на эту тему. Я спорил, приводил какие-то доводы. Выдвигал какие-то нравственные, духовные, психологические аргументы. Пытался что-то доказать.

Но при этом я знал, что все мои соображения — лживы. Дело было не в этом. Просто я не мог решиться. Меня пугал такой серьезный и необратимый шаг. Ведь это как родиться заново. Да еще по собственной воле. Большинство людей и жениться-то как следует не могут...

Всю жизнь я ненавидел активные действия любого рода. Слово «активист» для меня звучит как оскорбление.

Я жил как бы в страдательном залоге. Пассивно следовал за обстоятельствами. Это помогало мне для всего находить оправдания.

Любой решительный шаг налагает ответственность. Так пускай отвечают другие. Бездеятельность — единственное нравственное состояние... В идеале я хотел бы стать рыболовом. Просидеть всю жизнь на берегу реки. И желательно без всяких трофеев...

Я не верил, что Таня способна уехать без меня. Америка, как я полагал, была для нее синонимом развода. Развода, который формально уже состоялся. И который потерял силу наподобие выдохшегося денатурата.

Раньше женщины говорили: «Вот найду себе красивого богача, тогда узнаешь». Теперь говорят: «Уеду в Америку...»

Америка была для меня фикцией. Чем-то вроде миража. Полузабытым кинофильмом с участием тигра Акбара и Чаплина...

— Таня, — говорю, — я — человек легкомысленный

Любая авантюра меня устраивает. Если бы там (я отогнул занавеску) стояла «Каравелла» или «Боинг»... Сел бы и поехал. Чтобы только взглянуть на этот самый Бродвей. Но ходить по инстанциям. Объясняться, доказывать. Историческая родина... Зов предков... Тетя Фаня Цыперович...

Нам принесли еду и выпивку.

— Тогда пожелай нам удачи... Смотри, в меню «котлеты» через «а»...

— Не понял?

— Я ведь заехала проститься. Если ты не согласен, мы уезжаем одни. Это решено.

— А Маша?

— Что Маша? Ради нее все это и делается. Ты дашь справку...

— Какую справку? Подожди, давай выпьем...

— Что у тебя нет материальных претензий. У тебя есть к нам материальные претензии?

— Чепуха какая-то...

— Значит, дашь справку?

— А если нет?

— Тогда Машу не выпустят.

— И ты поедешь одна?

— Не знаю... Нет... Я думаю, ты этого не сделаешь. Ты, в принципе, не злой.

— При чем тут доброта? Речь идет о живом человеке. А если дочка вырастет и скажет... Как ты можешь решать за нее?

— Кому же решать-то? Тебе? Ты свою жизнь исковеркал, мою жизнь исковеркал...

— Все не так уж безнадежно.

— Советую тебе подумать.

— Мне нечего думать... Какие-то идиотские справки... Для чего ты все это затеяла? Я же не пью, работаю... Жизнь наладится, вот увидишь.

— Сам же говорил: «Кто начал пить, тот будет пить!»

— Это не я. Это какой-то англичанин... Будь он проклят!

— Не важно... С тобой здороваются.

Я оглянулся. В дверях стояли Митрофанов и Потоцкий. Я обрадовался тому, что можно прекратить этот разговор. Мне бы, думаю, только уложить ее в постель...

— Знакомьтесь, — говорю, — присаживайтесь.

Стастик церемонно поклонился:

— Беллетрист Потоцкий. Член эс эс писателей.

Митрофанов безмолвно кивнул.

— Садитесь.

— Я уже сидел, — юмористически высказался Потоцкий.

Митрофанов безмолвствовал.

Я понял, что они без денег, и сказал:

— Жена приехала. Так что угощаю.

И отправился в буфет за пивом. Когда я вернулся, Потоцкий что-то оживленно говорил моей жене. Я понял, речь идет о его таланте и бесчинствах цензуры. Что не помешало ему отвлечься:

— Пиво? Боюсь, не оросит...

Пришлось мне идти за водкой. К этому времени официантка принесла бутерброды и салат.

Потоцкий страшно оживился.

— Мне — полную, — сказал он и добавил: — Люблю поленьких.

Володя по-прежнему молчал. Стасик заметил мой удивленный взгляд. Объяснил, показывая на Митрофанова:

— Ему, понимаешь, оса залетела в рот.

— Господи, — сказала моя жена, — она и сейчас там?

— Да нет. Он, понимаешь, заканчивал экскурсию в монастыре. И тут ему в рот залетела оса. Вовка, извиняюсь, харкнул, но она успела его долбануть. Теперь говорить не может — больно.

— И глотать больно? — спросила Таня.

Володя энергично замотал головой.

— Глотать не больно, — объяснил Потоцкий.

Я налил им водки. Мою жену явно тяготила эта компания.

— Как вам нравится заповедник? — спросил Потоцкий.

— Есть чудные места. Вид на Савкину Горку, аллея Керн...

Митрофанов вдруг напрягся.

— Ы-ы-а, — проговорил он.

— Что? — спросила моя жена.

— Ы-ы-а, — повторил Митрофанов.

— Он говорит — «фикция», — разъяснил Потоцкий. — Он хочет сказать, что аллея Керн — это выдумка Гейченко. То есть аллея, конечно, имеется. Обыкновенная липовая аллея. А Керн тут ни при чем. Может, она и близко к этой аллее не подходила.

— А мне нравится думать, что именно там Пушкин объяснился с этой женщиной.

— Она была куртизанкой, — сурово уточнил Потоцкий.

— Фо-фо ху-ха, — добавил Митрофанов.

— Володя хочет сказать — «просто шлюха». И, грубо выражаясь, он прав. Анна Петровна имела десятки любовников. Один товарищ Глинка чего стоит... А Никитенко? И вообще, путаться с цензором — это уже чересчур!

— Цензура была другая, — сказала моя жена.

— Любая цензура — преступление, — ухватился Стасик за близкую ему тему.

Он снова выпил и еще более разгорячился.

— Вся моя жизнь — это борьба с цензурой, — говорил он, — любая цензура — издевательство над художником... Цензура вызывает у меня алкогольный протест!.. Давайте выпьем за отмену цензуры!

Стасик еще раз выпил и таинственно понизил голос:

— Антр ну! Между нами! Давно вынашиваю планы эмиграции. Имею ровно одну тридцать вторую часть еврейской крови. Мечу на должность советника президента. Храню утраченный секрет изготовления тульских пряников...

— А-а-а, — сказал Митрофанов.

— Что значит — «нажрался»? — возразил Потоцкий. — Да, я выпил. Да, я несколько раскрепощен. Взволнован обществом прекрасной дамы. Но идейно я трезв...

Воцарилась тягостная пауза. Затем кто-то опустил пятак в щель агрегата «Меломан». Раздались надрывные вопли Анатолия Королева:

...Мне город протянул
ладони площадей,
желтеет над бульварами листва...
Как много я хотел сказать тебе,
но кто подскажет лучшие слова?!..

— Нам пора, — говорю. — Заказать еще водки?

Стасик потупился. Митрофанов энергично кивнул.

Я заказал, расплатился, мы встали.

Потоцкий тоже вскочил и щелкнул стоптанными каблуками:

— Как говорили мои предки-шляхтичи — до видзення! Митрофанов грустно улыбнулся...

Короткая дорога вела через лес. Из-за деревьев тянуло сыростью и прохладой. Нас обгоняли бесчисленные велосипедисты. Тропинка была пересечена корнями сосен. Резко звякали обода.

Таня говорила:

— Пусть мое решение — авантюра или даже безумие. Я больше не могу...

Ее отчаяние пугало меня. Но что я мог сказать?

— Помнишь, как я нес тебя из гостей? Нес, нес и уронил... Когда-то все было хорошо. И будет хорошо.

— Мы были совершенно другими людьми. Я старею.

— Ничего подобного...

Таня замолчала. Я, как обычно, пустился в рассуждения:

— Единственная честная дорога — это путь ошибок, разочарований и надежд. Жизнь есть выявление собственным опытом границ добра и зла... Других путей не существует... Я к чему-то пришел... Думаю, что еще не поздно...

— Это слова.

— Слова — моя профессия.

— И это — слова. Все уже решено. Поедем с нами.

Ты проживешь еще одну жизнь...

— Для писателя это — смерть.

— Там много русских.

— Это пораженцы. Скопище несчастных пораженцев.

Даже Набоков — ущербный талант. Что же говорить о каком-нибудь Зурове!

— Кто это — Зуров?

— Был такой...

— О чем мы говорим?! Все уже решено. В четверг я подаю документы.

Я машинально подсчитал, сколько осталось до четверга.

И вдруг почувствовал такую острую боль, такую невыразимую словами горечь, что даже растерялся. Я сказал:

— Таня, прости меня и не уезжай.

— Поздно, — говорит, — милый...

Я обогнал ее, ушел вперед и заплакал. Вернее, не заплакал, а перестал сдерживаться. Иду, повторяю: «Господи! Господи! За что мне такое наказание?!» И сам же думаю: «Как за что? Да за все. За всю твою грязную, ленивую, беспечную жизнь...»

Позади шла моя жена, далекая, решительная и храбрая. И не такая уж глупая, как выяснилось...

Мы поднялись на вершину холма. Я указал ей дом, в котором живу. Из трубы вертикально поднимался дымок. Значит, хозяин на месте.

Мы шли деревенской улицей, и все приветливо здоровались с нами. Я давно заметил, что вместе мы симпатичны окружающим. Когда я один, все совсем по-другому.

А тут Надежда Федоровна сказала:

— Утром за молоком приходите...

Таню забавляли петухи, лохматые дворовые собачонки, а когда мы увидели индюка, восторгу ее не было границ:

— Какой апломб! Какое самомнение!.. При довольно гнусной внешности. Петухи и гуси тоже важничают, но этот... Боже, как похож на Изакона!..

Увидев нас, Михал Иваныч страшно оживился. Страдальчески морщась, он застегнул рубаху на бурой шее. Да так, что загнулись мятые углы воротничка. Потом зачем-то надел фуражку.

— С Борькой живем хорошо, — говорил он, — и насчет поведения, и вообще... В смысле — ни белого, ни красного, ни пива... Не говоря уж про одеколон... Он все книжки читает. Читает, читает, а дураком помрет, — неожиданно закончил Михал Иваныч.

Я решил каким-то образом его нейтрализовать. Отозвал в прихожую:

— Миша, тебе деньги нужны?

— Кого? Это... Давай...

Я сунул ему трешку.

— «Витязь» до одиннадцати, — сказал Михал Иванович, — успею. А то кобылу у Лехи возьму... Эх, где же вы раньше-то были? В микрорайоне «Яблочное» по рупь четырнадцать... Ну, я пошел. Сало там берите, лук, — уже на пороге выкрикнул он.

Мы остались вдвоем. Таня с испугом оглядела помещение.

— Ты уверен, что это жилая комната?

— Было время — сомневался. Я здесь порядок навел. Посмотрела бы, что раньше творилось.

— Крыша дырявая.

— В хорошую погоду это незаметно. А дождей вроде бы не предвидится.

— И щели в полу.

— Сейчас еще ничего. А раньше через эти щели ко мне заходили бездомные собаки.

— Щели так и не заделаны.

— Зато я приручил собак...

Таня коснулась рукой одеяла.

— Боже, чем ты укрываешься!

— Сейчас, — говорю, — тепло. Можно совсем не укрываться. Тебе по крайней мере.

— Это комплимент?

— Что-то вроде.

— А ты похудел.

— Хожу много.

— Тебе идет.

— Кроме того, у меня довольно большие глаза...

— Ужасно глупый разговор, — сказала Таня.

— Вот и прекрасно. Хотелось бы достигнуть полного идиотизма. Купить аквариум с рыбками, пальму в деревянной бочке...

— Зачем тебе аквариум?

— А зачем мне пальма?

— Начнем с аквариума.

— Всю жизнь мечтал иметь парочку дрессированных золотых рыбок...

— А пальма?

— Пальму можно рисовать с натуры. Держать ее на балконе.

— Спрашивается, где у нас балкон?

— Так ведь и пальмы еще нет...

— Господи, о чем я спрашиваю? О чем мы вообще говорим?!

— Действительно, о чем нам говорить?! Тем более когда все решено.

Я посмотрел на окна. Занавесок не было. Любой мог заглянуть к нам с улицы. В деревне с этим просто.

Можно, думаю, шкаф придвинуть. Огляделся — нет шкафа...

— Что нового в Ленинграде? — спрашиваю.

— Я говорила. Одни собираются уезжать, другие их за это презирают.

— Митя не звонил?

— Звонит иногда. У них с Галиной все очень плохо. Там югослав появился... Или венгр, не помню... Зовут — Ахилл...

— Может, древний грек?

— Нет, я помню, что из социалистического лагеря... Короче, Митя бесится. Злющий стал, вроде тебя. Крейна хотел избить...

— А тот?

— А Женя ему и говорит: «Митя, я не боюсь, потому что у тебя есть рога. И следовательно, ты — не хищник...» Их едва растащили.

— Зря...

Мы помолчали.

Я все думал, чем бы окна занавесить? Так, чтобы это выглядело легко и непринужденно...

Десять лет мы женаты, а я все еще умираю от страха. Боюсь, что Таня вырвет руку и скажет: «Этого еще не хватало!..»

Тем не менее я успел снять ботинки. Я всегда снимаю ботинки заранее, чтобы потом не отвлекаться... Чтобы не говорить: «Одну минуточку, я только ботинки сниму...» Да и шнурки от волнения не развязываются... Наверное, тысячу шнурков я разорвал в порыве страсти...

— Кроме того, я познакомилась с известным диссидентом Гурьевым. Ты, наверное, слышал, его упоминали западные радиостанции. Фрида нас познакомила. Мы были у него в гостях на Пушкинской. Советовались насчет отъезда. В доме полно икон...

— Значит, еврей.

— Вроде бы да. Но фамилия русская — Гурьев.

— Это-то и подозрительно. Гурьев... Гуревич...

— Что ты имеешь против евреев?

— Ничего. Тем более что этот — русский. Я его знаю с шестьдесят пятого года.

— Значит, ты опять меня разыгрываешь?

— Все потому, что я — шутник.

— Гурьев такой умный. Сказал, что Россия переживает эпоху христианского возрождения. Что это — необратимый процесс. Что среди городского населения — шестьдесят процентов верующих. А в деревне — семьдесят пять.

— Например, Михал Иваныч.

— Я Михал Иваныча не знаю. Он производит хорошее впечатление.

— Неплохое. Только святости в нем маловато...

— Гурьев угощал нас растворимым кофе. Сказал: «Вы очень много кладете... Не жалко, просто вкус меняется...» А когда мы собрались идти, говорит: «Я вас провожу до автобуса. У нас тут пошаливают. Сплошное хулиганье...» А Фрида ему говорит: «Ничего страшного. Всего сорок процентов...» Гурьев обиделся и раздумал нас провожать... Что ты делаешь?! Хоть свет потуши!

— Зачем?

— Так принято.

— Окно можно завесить пиджаком. А лампу я кепкой накрою. Получится ночник.

— Тут не гигиенично.

— Как будто ты из Андалузии приехала!

— Не смотри.

— Много я хорошего вижу?

— У меня колготки рваные.

— С глаз их долой!..

— Ну вот, — обиделась Таня, — я же приехала для серьезного разговора.

— Да забудь ты, — говорю, — об этом хоть на полчаса...

В сенях раздались шаги. Вернулся Миша. Бормоча, улегся на кровать.

Я боялся, что он начнет материться. Мои опасения подтвердились.

— Может, радио включить? — сказала Таня.

— Радио нет. Есть электрическое точило...

Миша долго не затихал. В его матерщине звучала философская нота. Например, я расслышал:

«Эх, плывут муды да на глыбкой воды...»

Наконец все стихло. Мы снова были вместе. Таня вдруг расшумелась. Я говорю:

— Ты ужасно кричишь. Как бы Мишу не разбудить.

— Что же я могу поделать?

— Думай о чем-нибудь постороннем. Я всегда думаю о разных неприятностях. О долгах, о болезнях, о том, что меня не печатают.

— А я думаю о тебе. Ты — моя самая большая неприятность.

— Хочешь деревенского сала?

— Нет. Знаешь, чего я хочу?

— Догадываюсь...

Таня снова плакала. Говорила такое, что я все думал — не разбудить бы хозяина. То-то он удивится...

А потом запахло гарью. Моя импортная кепка густо дымилась. Я выключил лампу, но было уже светло. Клеенка на столе блестела.

— В девять тридцать, — сказала моя жена, — идет первый автобус. А следующий — в четыре. Я должна еще Машу забрать...

— Я тебя бесплатно отправлю. В десять уезжает трехдневка «Северная Пальмира».

— Думаешь, это удобно?

— Вполне. У них громадный «Люкс-Икарус». Всегда найдется свободное место.

— Может, надо водителя отблагодарить?

— Это мое дело. У нас свои расчеты... Ладно, я пошел за молоком.

— Штаны надень.

— Это мысль...

Надежда Федоровна уже хлопотала в огороде. Над картофельной ботвой возвышался ее широкий зад. Она спросила:

— Это что же, барышня твоя?

— Жена, — говорю.

— Не похоже. Уж больно симпатичная.

Женщина насмешливо оглядела меня:

— Хорошо мужикам. Чем страшнее, тем у него жена красивше.

— Что же во мне такого страшного?

— На Сталина похож...

Сталина в деревне не любили. Это я давно заметил. Видно, хорошо помнили коллективизацию и другие сталинские фокусы. Вот бы поучиться у безграмотных крестьян нашей творческой интеллигенции. Говорят, в ленинградском Дворце искусств аплодировали, когда Сталин появился на экране.

Я-то всегда его ненавидел. Задолго до реформ Хрущева. Задолго до того, как научился читать. В этом — мамина политическая заслуга. Мать, армянка из Тбилиси, неизменно критиковала Сталина. Правда, в довольно своеобразной форме. Она убежденно твердила:

«Грузин порядочным человеком быть не может!..»

Я вернулся, стараясь не расплескать молоко. Таня встала, умылась, застелила постель. Михал Иванович кряхтя чинил бензопилу. Ощущался запах дыма, травы и прогретого солнцем клевера.

Я разлил молоко, нарезал хлеб, достал зеленый лук и

крутые яйца. Таня разглядывала мою загубленную кепку.

— Хочешь, поставлю кожаную заплату?

— Зачем? Уже тепло.

— Я тебе новую пришлю.

— Пришли мне лучше цианистого калия.

— Нет, серьезно, что тебе прислать?

— Откуда я знаю, что в Америке нынче дают?.. Не будем говорить об этом...

Около девяти мы подошли к турбазе. Водитель уже подогнал автобус к развилке. Туристы укладывали сумки и чемоданы в багажник. Некоторые заняли места возле окон. Я подошел к знакомому шоферу:

— Есть свободные места?

— Для тебя — найдутся.

— Хочу жену отправить в Ленинград.

— Сочувствую. Я бы свою на Камчатку отправил. Или на луну вместо Терешковой...

На водителе была красивая импортная рубашка. Вообще, шоферы экскурсионных автобусов сравнительно интеллигентны. Большинство из них могло бы с успехом заменить экскурсоводов. Только платили бы им значительно меньше...

Вдруг я заметил, что Таня беседует с Марианной Петровной. Я почему-то всегда беспокоюсь, если две женщины остаются наедине. Тем более что одна из них — моя жена.

— Ну, все, — говорю шоферу, — условились. Высади ее на Обводном канале.

— Там мелко, — засмеялся водитель...

Я подумал — сесть бы мне тоже и уехать. А вещи привезет кто-нибудь из экскурсоводов. Вот только жить на что? И как?..

Мимо пробежала Галина. Быстро кивнула в сторону моей жены:

— Господи, какая страшенькая!..

Я промолчал. Но мысленно поджег ее обесцвеченные гидроперитом кудри.

Подошел инструктор физкультуры Серега Ефимов.

— Я извиняюсь, — сказал он, — это вам.

И сунул Тане банку черники.

Нужно было прощаться.

— Звони, — сказала Таня.

Я кивнул.

— У тебя есть возможность звонить?

— Конечно. Машу поцелуй. Сколько все это продлится?

— Трудно сказать. Месяц, два... Подумай.

— Я буду звонить.

Шофер поднялся в кабину. Уверенно загудел импортный мотор. Я произнес что-то невнятное.

— И я, — сказала Таня...

Автобус тронулся, быстро свернул за угол. Через минуту алый борт его промелькнул среди деревьев возле Луговки.

Я заглянул в бюро. Моя группа из Киева прибывала в двенадцать. Пришлось вернуться домой.

На столе я увидел Танины шпильки. Две чашки из-под молока, остатки хлеба и яичную скорлупу. Ощущался едва уловимый запах гари и косметики.

Прощаясь, Таня сказала: «И я...» Остальное заглушил шум мотора...

Я заглянул к Михал Иванычу. Его не было. Над грязной постелью мерцало ружье. Увесистая тульская двустволка с красноватым ложем. Снял ружье и думаю — не пора ли мне застрелиться?..

Июнь выдался сухой и ясный, под ногами шуршала трава. На балконах турбазы сушились разноцветные полотенца. Раздавался упругий стук теннисных мячей. У перил широкого крыльца атели велосипеды с блестящими ободами. Из репродуктора над чердачным окошком доносились звуки старинных танго. Мелодия казалась вычерченной пунктиром...

Стук мячей, аромат нагретой зелени, геометрия велосипедов — памятные черты этого безрадостного июня...

Тане я звонил дважды. Оба раза возникало чувство неловкости. Ощущалось, что ее жизнь протекает в новом для меня ритме. Я чувствовал себя глуповато, как болельщик, выскочивший на футбольное поле.

В нашей квартире звучали посторонние голоса. Таня задавала мне неожиданные вопросы. Например:

— Где у нас хранятся счета за электричество?

Или:

— Ты не будешь возражать, если я продам свою золотую цепочку?

Я и не знал, что у моей жены есть какие-то драгоценности...

Таня ходила по инстанциям, оформляла документы. Жаловалась мне на бюрократов и взяточников.

— У меня в сумке, — говорила она, — десять плиток шоколада, четыре билета на Кобзона и три экземпляра Цветаевой...

Таня казалась возбужденной и почти счастливой.

Что я мог сказать ей? В десятый раз просить: «Не уезжай»?

Меня унижала ее поглощенность своими делами. А как же я с моими чуть ли не диссидентскими проблемами?!

Тане было не до меня. Впервые происходило нечто серьезное...

Как-то раз она сама мне позвонила. К счастью, я оказался на турбазе. Точнее, в библиотеке центрального корпуса. Пришлось бежать через весь участок. Выяснилось, что Тане необходима справка. Насчет того, что я отпускаю ребенка. И что не имею материальных претензий.

Таня продиктовала мне несколько казенных фраз. Я запомнил такую формулировку: «...Ребенок в количестве одного...»

— Заверь у местного нотариуса и вышли. Это будет самое простое.

— Я, — говорю, — могу приехать.

— Сейчас не обязательно.

Наступила пауза.

— Но мы успеем попрощаться?

— Конечно. Ты не думай...

Таня почти оправдывалась. Ей было неловко за свое пренебрежение. За это поспешное: «Не обязательно...»

Видно, я стал для нее мучительной проблемой, которую удалось разрешить. То есть пройденным этапом. Со всеми моими пороками и достоинствами. Которые теперь не имели значения...

В тот день я напился. Приобрел бутылку «Московской» и выпил ее один.

Мишу звать не хотелось. Разговоры с Михал Ивановичем требовали чересчур больших усилий. Они напоминали мои университетские беседы с профессором Лихачевым. Только с Лихачевым я пытался выглядеть как можно умнее. А с этим наоборот — как можно доступнее и проще.

Например, Михал Иванович спрашивал:

— Ты знаешь, для чего евреям шишки обрезают? Чтобы калган работал лучше...

И я миролюбиво соглашался:

— Вообще-то, да... Пожалуй, так оно и есть...

Короче, зашел я в лесок около бани. Сел, прислонившись к березе. И выпил бутылку «Московской», не закусывая. Только курил одну сигарету за другой и жевал рябиновые ягоды...

Мир изменился к лучшему не сразу. Поначалу меня тревожили комары. Какая-то липкая дрянь заползала в штанину. Да и трава казалась сыроватой.

Потом все изменилось. Лес расступился, окружил меня и принял в свои душевные недра. Я стал на время частью мировой гармонии. Горечь рябины казалась неотделимой от

влажного запаха травы. Листья над головой чуть вибрировали от комариного звона. Как на телеэкране, проплывали облака. И даже паутина выглядела украшением...

Я готов был заплакать, хотя все еще понимал, что это действует алкоголь. Видно, гармония таилась на дне бутылки...

Я твердил себе:

— У Пушкина тоже были долги и неважные отношения с государством. Да и с женой приключилась беда. Не говоря о тяжелом характере...

И ничего. Открыли заповедник. Экскурсоводов — сорок человек. И все безумно любят Пушкина...

Спрашивается, где вы были раньше?.. И кого вы дружно презираете теперь?..

Ответа на мои вопросы я так и не дождался. Я уснул...

А когда проснулся, было около восьми. Сучья и ветки чернели на фоне бледных, пепельно-серых облаков... Насекомые ожили... Паутина коснулась лица...

Я встал, чувствуя тяжесть намокшей одежды.

Спички отсырели. Деньги тоже. А главное — их осталось мало, шесть рублей. Мысль о водке надвигалась как туча...

Идти через турбазу я не хотел. Там в эти часы слонялись методисты и экскурсоводы. Каждый из них мог затеять профессиональный разговор о директоре лицея — Егоре Антоновиче Энгельгардте.

Мне пришлось обогнуть турбазу и выбираться на дорогу лесом.

Идти через монастырский двор я тоже побоялся. Сама атмосфера монастыря невыносима для похмельного человека.

Так что и под гору я спустился лесной дорогой. Вернее, обрывистой тропкой.

Полегче мне стало лишь у крыльца ресторана «Витязь». На фоне местных алкашей я выглядел педантом.

Дверь была распахнута и подперта силикатным кирпичом. В прихожей у зеркала красовалась нелепая деревянная фигура — творение отставного майора Гольдштейна. На медной табличке было указано: Гольдштейн Абрам Саулович. И далее в кавычках: «Россиянин».

Фигура россиянина напоминала одновременно Мефистофеля и Бабу Ягу. Деревянный шлем был выкрашен серебряной гуашью.

У буфетной стойки толпилось человек восемь. На прилавок беззвучно опускались мятые рубли. Мелочь звонко падала в блюдечко с отбитым краем.

Две-три компании расположились в зале у стены. Там возбужденно жестикулировали, кашляли и смеялись. Это

были рабочие турбазы, санитары психбольницы и конюхи леспромхоза.

По отдельности выпивала местная интеллигенция — киномеханик, реставратор, затейник. Лицом к стене расположился незнакомый парень в зеленой бобочке и отечественных джинсах. Рыжеватые кудри его лежали на плечах.

Подошла моя очередь у стойки. Я ощущал знакомую похмельную дрожь. Под намокшей курткой билась измученная сирая душа...

Шесть рублей нужно было использовать оптимально. Растянуть их на длительный срок.

Я взял бутылку портвейна и две шоколадные конфеты. Все это можно было повторить трижды. Еще и на сигареты оставалось копеек двадцать.

Я сел к окну. Теперь уже можно было не спешить.

За окном двое цыган выгружали из машины ящики с хлебом. Устремился в гору почтальон на своем мопеде. Бездомные собаки катались в пыли.

Я приступил к делу. В положительном смысле отметил — руки не трясутся. Уже хорошо...

Портвейн распространялся доброй вестью, окрашивая мир тонами нежности и снисхождения.

Впереди у меня — развод, долги, литературный крах... Но есть вот эти загадочные цыгане с хлебом... Две темные старухи возле поликлиники... Сыроватый, остывающий денек... Вино, свободная минута, родина...

Сквозь общий гул неожиданно донеслось:

— Говорит Москва! Говорит Москва! Вы слушаете «Пионерскую зорьку»... У микрофона — волосатый человек Евстихеев... Его слова звучат достойной отповедью ястребам из Пентагона...

Я огляделся. Тайнственные речи исходили от молодца в зеленой бобочке. Тот по-прежнему сидел не оборачиваясь. Даже сзади было видно, какой он пьяный. Его увитый локонами затылок выражал какое-то агрессивное нетерпение. Он почти кричал:

— А я говорю — нет!.. Нет — говорю я зарвавшимся империалистическим хищникам! Нет — вторят мне труженники уральского целлюлозно-бумажного комбината... Нет в жизни счастья, дорогие радиослушатели! Это говорю вам я — единственный уцелевший панфиловец... И то же самое говорил Заратустра...

Окружающие начали прислушиваться. Впрочем, без особого интереса.

Парень возвысил голос:

— Чего уставились, жлобы?! Хотите лицезреть, как умирает гвардии рядовой Майкопского артиллерийского полка — виконт де Бражелон?! Извольте, я предоставлю

вам этот шанс... Товарищ Раппопорт, введите арестованного!..

Окружающие реагировали спокойно. Хотя «жлобы» явно относилось к ним.

Кто-то из угла вяло произнес:

— Валера накушавши...

Валера живо откликнулся:

— Право на отдых гарантировано Конституцией... Как в лучших домах Парижа и Брюсселя... Так зачем же превращать науку в служанку богословия?! Будьте на уровне предначертаний Двадцатого съезда!.. Слушайте «Пионерскую зорьку»... Текст читает Гмыря...

— Кто? — переспросили из угла.

— Барон Клейнмихель, душечка!..

Еще при беглом взгляде на молодца я испытал заметное чувство тревоги. Стоило мне к нему присмотреться, и это чувство усилилось.

Длинноволосый, нелепый и тощий, он производил впечатление шизофреника-симулянта. Причем одержимого единственной целью — как можно скорее добиться разоблачения.

Он мог сойти за душевнобольного, если бы не торжествующая улыбка и не выражение привычного каждодневного шутовства. Какая-то хитроватая сметливая наглость звучала в его безумных монологах. В этой тошнотворной смеси из газетных шапок, лозунгов, неведомых цитат...

Все это напоминало испорченный громкоговоритель. Молодец высказывался резко, отрывисто, с болезненным пафосом и каким-то драматическим напором...

Он был пьян, но и в этом чувствовалась какая-то хитрость...

Я не заметил, как он подошел. Только что сидел не оборачиваясь. И вдруг заглядывает мне через плечо:

— Будем знакомы — Валерий Марков!.. Злостный разрушитель общественного покоя...

— А, — говорю, — слышал.

— Пребывал в местах не столь отдаленных. Диагноз — хронический алкоголизм!..

Я гостеприимно наклонил бутылку. В руках у него чудом появился стакан.

— Премного благодарен, — сказал он. — Надеюсь, все это куплено ценой моральной деградации?

— Перестань, — сказал я, — лучше выпьем.

В ответ прозвучало:

— Благодарю и примыкаю, как Шепилов...

Мы допили вино.

— Бальзам на раны, — высказался Марков.

— Есть, — говорю, — рубля четыре. Дальнейшая перспектива в тумане...

— Деньги не проблема! — выкрикнул мой собутыльник.

Он вскочил и метнулся к покинутому столу. Возвратился с измятым черным пакетом для фотобумаги. Высыпал из него кучу денег. Подмигнул и говорит:

— Не счесть алмазов в каменных пещерах!..

И далее, с неожиданной застенчивостью в голосе:

— Карманы оттопыриваются — некрасиво...

Марков погладил свои обтянутые джинсами бедра. Ноги его были обуты в лакированные концертные туфельки.

Ну и тип, думаю.

Тут он начал делиться своими проблемами:

— Зарабатываю много... Выйду после запоя, и сразу — капусты навалом... Каждая фотка — рубль... За утро — три червонца... К вечеру — сотня... И никакого финансового контроля... Что остается делать?.. Пить... Возникает курская магнитная аномалия. День работаешь, неделю пьешь... Другим водяра — праздник. А для меня — суровые трудовые будни... То вытрезвитель, то милиция — сплошное диссидентство... Жена, конечно, недовольна. Давай, говорит, корову заведем. Или ребенка... С условием, что ты не будешь пить. Но я пока воздерживаюсь. В смысле — пью...

Марков запихивал деньги обратно в пакет. Две-три бумажки упали на пол. Нагнуться он поленился. Своим аристократизмом паренек напоминал Михал Иваныча.

Мы подошли к стойке, взяли бутылку «Агдама». Я хотел заплатить. Мой спутник возвысил голос:

— Руки прочь от социалистической Кубы!

И гордо бросил на прилавок три рубля...

Поразительно устроен российский алкаш. Имея деньги — предпочитает отраву за рубль сорок. Сдачу не берет... Да я и сам такой...

Мы вернулись к окну. Народу в ресторане заметно прибавилось. Кто-то даже заиграл на гармошке.

— Узнаю тебя, Русь! — воскликнул Марков и чуть потише добавил: — Ненавижу... Ненавижу это псковское жлобье!.. Пардон, сначала выпьем.

Мы выпили. Становилось шумно. Гармошка издавала пронзительные звуки.

Мой новый знакомый возбужденно кричал:

— Взгляни на это прогрессивное человечество! На эти тупые рожи! На эти тени забытых предков!.. Живу здесь, как луч света в темном царстве... Эх, поработила бы нас американская военщина! Может, зажили бы, как люди, типа чехов...

Он хлопнул ладонью по столу:

— Свободы желаю! Желаю абстракционизма с додекагофонией!.. Вот я тебе скажу..

Он наклонился и хрипло зашептал:

— Скажу как другу... У меня была идея — рвануть отсюда куда попало. Хоть в Южную Родезию. Лишь бы подальше от нашей деревни... Но как?! Граница на замке! С утра до ночи под охраной Карацупы... Моряком пойти в заграничку — сельсовет не отпустит... На интуристке жениться? На какой-либо древнегреческой бляди? Где ее возьмешь?.. Один тут говорил — евреев выпускают. Я говорю супруге: «Верка, это же мыс доброй надежды...»

А супруга у меня простая, из народа. Издевается. «Ты посмотри, — говорит, — на свою штрафную харю... Таких и в кино пускают неохотно. А он чего надумал — в Израиль!..»

Но я с одним тут посоветовался. Рекомендует на еврейке временно жениться. Это уже проще. Интуристов мало, а еврейки все же попадаются. На турбазе есть одна. Зовут — Натэлла. Вроде бы еврейка, только поддает...

Марков закурил, ломая спички. Я начал пьянеть. «Агдам» бродил по моим кровеносным сосудам. Крики сливались в мерный нарастающий гул.

Собутыльник мой был не пьянее, чем раньше. А безумия в нем даже поубавилось.

Мы раза два ходили за вином. Однажды какие-то люди заняли наши места. Но Марков поднял крик, и те ушли.

Вслед им раздавалось:

— Руки прочь от Вьетнама и Камбоджи! Граница на замке! Карацупа не дремлет! Исключение — для лиц еврейской национальности...

Наш стол был засыпан конфетными обертками. Пепел мы стряхивали в грязное блюдце.

Марков продолжал:

— Раньше я думал в Турцию на байдарке податься. Даже атлас купил. Но ведь потопят, гады... Так что это — в прошлом. Как говорится, бывшее и думы... Теперь я больше на евреев рассчитываю... Как-то выпили мы с Натэллой у реки. Я говорю — давай с тобой жениться. Она говорит — ты дикий, страшный. В тебе, говорит, бушует чернозем... А в здешних краях, между прочим, о черноземе и не слышали... Но я молчу. И даже поприжал ее немного. Она кричит — пусти! Тут видно... А я говорю — так жили наши предки славяне... Короче, не получилось... Может, надо было по-хорошему? Вы, мол, лицо еврейской национальности. Так посодействуйте русскому диссиденту насчет Израйля...

Марков опять достал свой черный пакет. Мне так и не удалось потратить четыре рубля...

Теперь мы говорили, перебивая друг друга. Я рассказывал о своих несчастьях. Как это ни позорно, рассуждал о литературе.

Марков обращался в пространство:

— Шапки долой, господа! Перед вами — гений!..

Вентиляторы гоняли по залу клубы табачного дыма. В пьяных голосах тонули звуки автомата «Меломан». Леспромхозовские деятели разожгли костер на фаянсовом блюде. Под столами бродили собаки...

Все расплывалось у меня перед глазами. Из того, что говорил Марков, долетали лишь отдельные слова:

— Вперед на Запад!.. Танки идут ромбом!.. Дорогу осилит идущий!..

Затем ко мне приблизился нетрезвый тип с гармошкой. Мехи ее интимно розовели. По щекам гармониста катились слезы. Он спросил:

— Зачем у меня шесть рублей с аванса вычли?! Зачем по билетно не дали отгулять?!

— Выпей, Тарасыч, — подвинул ему бутылку Марков, — выпей и не расстраивайся. Шесть рублей — не деньги.

— Не деньги? — вдруг рассердился гармонист. — Люди пашут, а ему — не деньги! Да я вот этими трудовыми руками шесть лет отбухал ни за что... Девяносто вторая без применения технических средств...

Марков в ответ задушевно пропел:

— Не плачь, девчонка! Пройдут дожди...

Через секунду их уже растаскивали двое леспромхозовских конюхов. Гармошка с чудовищным ревом обрушилась на пол.

Я хотел встать и не мог.

Затем из-под меня вылетела дюралевая табуретка. Падая, я оборвал тяжелую, коричневого цвета штору.

Встать не удалось. Хотя Маркова, кажется, били. Я слышал его трагические вопли:

— Отпустите, псы! Финита ля комедия!..

Не то, чтобы меня выбросили из ресторана. Я выполз сам, окутанный драпировочной тканью. Затем ударился лбом о косяк, и все померкло...

Очнулся я в незнакомом помещении. Было уже светло. Тикали ходики с подвязанным вместо гири зубилом.

Укрыт я был все той же коричневой шторой. Рядом на полу обнаружился Марков. Видно, уступил мне свою постель. Болела голова. На лбу ощущалась глубокая ссадина.

От кисловатого запаха деревенского жилища слегка мутило.

Я застонал. Марков приподнялся.

— Ты жив? — спросил он.

— Да вроде бы. А ты?

— Состояние — иду на грозу!.. Ты сколько вешишь?

— Не знаю. А что?

— Еле тебя дотащил...

Приоткрылась дверь, вошла женщина с глиняной миской.

— Вера, — крикнул Марков, — дай опохмелиться! Я же знаю — у тебя есть. Так зачем это хождение по мукам? Дай сразу! Минутя промежуточную эпоху развитого социализма...

— Попейте молока, — сказала Вера.

Я с достоинством поздоровался. Марков вздохнул:

— Угораздило же меня родиться в этой таежной глуши...

Вера оказалась бледной, измученной женщиной с тяжелыми руками. Сварливой, как все без исключения жены алкоголиков.

На лице ее запечатлелось выражение глубокой и окончательной скорби.

Я чувствовал себя неловко еще и потому, что занял хозяйскую кровать. К тому же отсутствовали брюки. А куртка была на месте...

— Извините, — говорю, — за беспокойство.

— Ничего, — сказала Вера, — мы привыклише...

Это было типично деревенское жилье. На стенах пестрели репродукции из «Огонька». В углу притаился телевизор с мутной линзой. Стол был накрыт выцветшей голубоватой клеенкой. Над моим изголовьем висел портрет Юлиуса Фучика. Между стульями прогуливалась кошка. Двигалась она беззвучно, как в мультипликационном фильме...

— А где мои брюки? — спрашиваю.

— Вера тебя раздевала, — откликнулся Марков, — спроси у нее.

— Я брюки сняла, — объяснила Вера, — а жакет — постеснялась...

Осмыслить ее заявление у меня не хватило сил.

— Логично, — высказался Марков.

— Они в сених, я принесу...

— Ты лучше принеси опохмелиться!..

Марков слегка возвысил голос. Апломб и самоунижение постоянно в нем чередовались. Он говорил:

— Надо же русскому диссиденту опохмелиться, как, по твоему?!.. Академик Сахаров тебя за это не похвалит...

И через минуту:

— Вера, дай одеколону! Дай хотя бы одеколону со знаком качества...

Вера принесла брюки. Я оделся. Натянул ботинки, вытряхнув сосновые иглы. С отвращением закурил...

Утренняя горечь заслоняла вчерашний позор.

Марков чувствовал себя прекрасно. Стонал он, как мне показалось, для виду.

Я спросил:

— А где пакет с деньгами?

— Тсс... На чердаке, — ответил Марков и громко добавил: — Пошли! Не стоит ждать милостей от природы. Взять их — наша задача!..

Я сказал:

— Вера, извините, что так получилось. Надеюсь, мы еще увидимся... в другой обстановке.

— Ты куда? — спросила Вера. — Опять?!.. Вы уж присмотрите за моим буратиной.

Я кривовато улыбнулся в том смысле, что педагог из меня — плохой...

В тот день мы обошли четыре шалмана. Возвратили с извинениями коричневую штору. Пили на лодочной станции, в будке киномеханика и за оградой монастыря.

Марков опорожнил шестую бутылку и сказал:

— Есть мнение — воздвигнуть тут скромныйobelisk! И поставил бутылку на холмик...

Несколько раз мы теряли пакет с деньгами. Обнимались со вчерашним гармонистом. Были замечены всеми ответственными работниками турбазы. Как утверждает Натэлла, выдавали себя за Пушкина и Баратынского...

Даже Михал Иваныч предпочел быть от нас в стороне. Хотя мы его приглашали. Но он сказал:

— Я Валеру знаю. С ним поддашь — опохмеляться будешь в милиции.

Митрофанов и Потоцкий, к счастью, уехали на экскурсию в Болдино...

Заснули мы на чужом сеновале в Петровском. Наутро повторился весь этот кошмар. От нас шарахались даже леспромхозовские конюхи.

К тому же Марков ходил с фиолетовым абажуром на голове. А у меня был оторван левый рукав.

Логинов подошел к нам возле магазина и спрашивает:

— Как же это вы без рукава?

— Мне, — отвечаю, — стало жарко, и я его выбросил.

Хранитель монастыря задумался и перекрестил нас. А Марков говорит:

— Это вы напрасно... У нас теперь вместо Бога — ленинский центральный комитет. Хотя наступит и для этих блядей своя кровавая ежовщина...

Логинов смущенно перекрестился и быстро ушел.

А мы все шатались по заповеднику.

Домой я попал в конце недели. И сутки потом лежал не двигаясь. Михал Иваныч предлагал вина. Я молча отворачивался лицом к стене.

Затем появилась девица с турбазы — Люда.

— Вам, — говорит, — телеграмма. И еще вас разыскивает майор Беляев.

— Что за Беляев? Откуда?

— Наш батька говорит, что с МВД...

— Этого мне только не хватало!.. Скажите, что я болен. Что я уехал в Псков и заболел...

— Он знает.

— Что он знает?

— Что вы который день болеете. Сказал: пускай, как выспитесь, пойдет.

— Куда?

— В контору рядом с почтой. Вам любой покажет. А вот и телеграмма.

Девица стыдливо отвернулась. Затем вытащила из лифчика голубоватый клочок бумаги, сложенный до размеров почтовой марки.

Я развернул нагретую телеграмму и прочел:

«Улетаем среду ночью. Таня. Маша».

Всего пять слов и какие-то непонятные цифры...

— Какой сегодня день?

— С утра был вторник, — пошутила Люда.

— Когда вы получили телеграмму?

— Ее Марьяна привезла с Воронича.

— Когда?

— Я же говорю — в субботу.

Я хотел сказать: «Так где вы были раньше?» — но передумал. Они-то были на месте. А вот где был я?..

Уехать я мог не раньше вечера — автобусом. В Ленинград попасть — часам к шести...

— Он и про телеграмму знает, — сказала Люда.

— Кто?

— Товарищ Беляев.

Люда чуточку гордилась пронизательностью и всеведением этого злосчастного майора.

— Товарищ Беляев сказал — пусть пойдет до отъезда. А то ему будет взъебка... Так прямо и выразился...

— Какая старомодная учтивость! — говорю...

Я начал лихорадочно соображать. Денег у меня — рубля четыре. Все те же мистические четыре рубля. Состояние жуткое...

— Люда, — спрашиваю, — у вас есть деньги?

— Копеек сорок... Я на велосипеде приехала...

— То есть?

— Берите мой велосипед, а я дойду пешком. Оставьте его у кого-нибудь в поселке...

Последний раз я ездил на велосипеде, будучи школьником. Тогда это казалось развлечением. Но, видно, я постарел.

Дорогу пересекали сосновые корни. Велосипед, подпрыгивая, звякал. Маленькое жесткое седло травмировало зад. Колеса тонули в сыроватом песке. Измученные внутренности спазмами реагировали на каждый толчок.

Я зашел на турбазу, прислонив велосипед к стене.

Галина была одна. Взглянув на меня без испуга, спросила:

— Вы получили телеграмму?..

Думаю, пьянством здесь трудно было кого-нибудь удивить.

Я сказал:

— Дайте мне тридцать рублей из сейфа. Через две недели верну... Только не задавайте вопросов.

— А я и так все знаю. Ваша супруга изменила Родине.

— Увы, — говорю.

— И теперь уезжает на Запад.

— Похоже на то.

— А вы остаетесь?

— Да, я остаюсь. Вы же знаете...

— И будете продолжать работу?

— Конечно. Если не уволят...

— А правда, что в Израиле живут одни евреи?.. Слушайте, вам плохо?! Дать воды?

— Вода тут не поможет. Как насчет денег?

— Только почему из сейфа? У меня есть свои...

Я хотел поцеловать Галину, но сдержался. Реакция могла быть самой неожиданной.

Я сел на велосипед и поехал к монастырю.

День был теплый, но облачный. Тени деревьев едва выделялись на сером асфальте. По обочине шоссе брели туристы. Среди них попадались одетые в непромокаемые куртки.

Я устремился к песчаному склону. Руль приходилось удерживать с трудом. Мимо проносились обесцвеченные серым налетом валуны...

Контору УВД мне показали сразу.

— Следующий дом за почтой, — махнула рукой уборщица из «Лукоморья», — видишь, флаг на крыше?..

Я поехал дальше.

Двери почтового отделения были распахнуты. Здесь же помещались кабины двух междугородных телефонов. Один из них был занят. Блондинка с толстыми ногами, жестикулируя, выкрикивала:

— Татуся, слышишь?! Ехать не советую... Погода на чetyре с минусом... А главное, тут абсолютно нету мужиков... Але! Ты слышишь?! Многие девушки уезжают, так и не отдохнув...

Я затормозил и прислушался. Мысленно достал авто-ручку...

Казалось бы, все так ужасно, но я еще жив. И, может быть, последней умирает в человеке — низость. Способность реагировать на крашенных блондинок и тяготение к перу...

На крыльце управления мне попался Гурьянов. Мы почти столкнулись, и деться ему было некуда.

В университете Гурьянова называли — Леня-Стук. Главной его обязанностью была слежка за иностранцами.

Кроме того, Гурьянов славился вопиющим невежеством. Как-то раз его экзаменовал профессор Бялый. Достались Гурьянову «Повести Белкина».

Леня попытался уйти в более широкую тему. Заговорил о царском режиме.

Но экзаменатор спросил:

— Вы читали «Повести Белкина»?

— Как-то не довелось, — ответил Леня. — Вы рекомендуете?

— Да, — сдержался Бялый, — я вам настоятельно рекомендую прочесть эту книгу...

Леня явился к Бялому через месяц и говорит:

— Прочел. Спасибо. Многие понравились.

— Что же вам понравилось? — заинтересовался Бялый.

Леня напрягся, вспомнил и ответил:

— Повесть «Домбровский»...

И вот мы столкнулись на крыльце чека.

Сначала он немного растерялся. Даже хотел не поздороваться. Сделал какое-то порывистое движение. Однако разминуться на крыльце было трудно. И он сказал:

— Ну, здравствуй, здравствуй... Тебя Беляев ждет...

Он хотел показать, что все нормально. Как будто мы столкнулись в поликлинике, а не в гестапо.

Я спросил:

— Он — твой начальник?

— Кто?

— Беляев... Или подчиненный?

— Не иронизируй, — сказал Гурьянов.

В голосе его зазвучали строгие руководящие нотки.

— И помни. КГБ сейчас — наиболее прогрессивная организация. Наиболее реальная сила в государстве. И кстати, наиболее гуманная... Если бы ты знал, какие это люди!..

— Сейчас узнаю, — говорю.

— Ты чересчур инфантилен, — сказал Гурьянов, — это может плохо кончиться...

Каково мне было выслушивать это с похмелья!

Я обогнул его, повернулся и говорю:

— А ты — дерьмо, Гурьяныч! Дерьмо, невежда и под-

лец! И вечно будешь подлецом, даже если тебя назначат старшим лейтенантом... Знаешь, почему ты стучишь? Потому что тебя не любят женщины...

Гурьянов, пятясь, отступил. Он-то выбирал между равнодушием и превосходством, а дело кончилось грубостью.

Я же почувствовал громадное облегчение. И вообще, что может быть прекраснее неожиданного освобождения речи?!..

К оскорблениям Гурьянов не подготовился. А потому заговорил естественным человеческим тоном:

— Унизить товарища — самое легкое... Ты же не знаешь, как это все получилось...

Он перешел на звучный шепот:

— Я чуть не загремел по малолетству. Органы меня фактически спасли. Бумагу дали в университет. Теперь прописку обещают. Ведь я же сам из Кулунды... Ты в Кулунде бывал? Удовольствие ниже среднего...

— А, — говорю, — тогда понятно... Кулунда все меняет...

Вечно я слушаю излияния каких-то монстров. Значит, есть во мне что-то, располагающее к безумию...

— Прощай, Гурьян, неси свой тяжкий крест...

Я нажал симпатичную розовую кнопку. Мне отворила постная, неопределенного возраста дама. Беззвучно пропустила меня в следующую комнату.

Я увидел сейф, изображение Дзержинского, коричневые портьеры. Такие же, как в ресторане. Настолько, что меня слегка затоснило.

Я опустил в кресло, достал сигареты. Минуту или две просидел в одиночестве. Затем одна из портьер шевельнулась. Оттуда выступил мужчина лет тридцати шести и с глубокой укоризной произнес:

— Разве я предложил вам сесть?

Я встал.

— Садитесь.

Я сел.

Мужчина выговорил с еще большей горечью:

— Разве я предложил вам закурить?

Я потянулся к урне, но расслышал:

— Курите...

Затем он сел и уставился на меня долгим, грустным, почти трагическим взглядом. Его улыбка выражала несовершенство мира и тяжелое бремя ответственности за чужие грехи. Лицо тем не менее оставалось заурядным, как бельевая пуговица.

Портрет над его головой казался более одушевленным. (Лишь к середине беседы я вдруг понял, что это не Дзержинский, а Макаренко.)

Наконец он сказал:

— Догадываешься, зачем я тебя пригласил? Не догадываешься? Отлично. Задавай вопросы. Четко, по-военному. Зачем ты, Беляев, меня пригласил? И я тебе отвечу. Так же четко, по-военному: не знаю. Понятия не имею. Чувствую — плохо. Чувствую — оступился парень. Не туда завела его кривая дорожка... Веришь ли, ночами просыпаюсь. Томка, говорю супруге, хороший парень оступился. Надо бы помочь... А Томка у меня гуманная. Кричит: Виталик, помоги. Прodelай воспитательную работу. Обидно, парень — наш. Нутро здоровое. Не прибегай к суровым методам воздействия. Ведь органы не только лишь карают. Органы воспитывают... А я кричу: международная обстановка сложная. Капиталистическое окружение сказывается. Парень далеко зашел. Сотрудничает в этом... ну... «Континентале». Типа радио «Свобода»... Литературным власовцем заделался не хуже Солженицына. Да еще и загудел по-черному с Валерой-мудозвоном... Ну, кинула жена ему подлянку, собралась в Израиль... Так что, гудеть до посинения?.. Короче, я в растерянности.

Беляев говорил еще минут пятнадцать. В глазах его, клянусь, блестели слезы...

Затем он покосился на дверь и вытащил стаканы:

— Давай слегка расслабимся. Тебе не вредно... если в меру...

Водка у него была теплая. Закусили мы печеньем «Новость».

Отрывисто и резко звякнул телефон.

— Майор Беляев слушает... В четыре тридцать? Буду... И передайте, чтоб менты не лезли в это дело.

Он повернулся ко мне:

— На чем мы остановились?.. Думаешь, органы не замечают всего этого бардака? Органы все замечают получше академика Сахарова. Но где реальный выход? В чем? В реставрации капитализма?.. Допустим, почитал я ваш хвалебный самиздат. Дерьма не меньше, чем в журнале «Знамя». Только все перевернуто. Где белое, там черное, где черное, там белое... Вот, например, проблема сельского хозяйства. Допустим, можно взять и отменить колхозы. Раздать крестьянам землю и тому подобное. Но ты сперва узнай, что думают крестьяне? Хотят ли эту землю получить?.. Да на хрена им эта блядская земля?! Поинтересуйся у того же Валеры-мудозвона. Обойди наши деревни вокруг заповедника. Один дед Тимоха помнит, как лошадей запрягают. Когда что сеять — позабыли. Простого хлеба испечь не могут... Да любой крестьянин эту землю враз на чекушку махнет. Не говоря о полбанке...

Беляев вытащил стаканы и уже не прятал. Он порозо-

вел. Мысль его стремительно развивалась в диссидентском направлении.

Дважды звонил телефон. Беляев нажал кнопку селектора:

— Валерия Яновна! Не соединяйте...

Он заговорил поспешно, темпераментно и зло:

— Желаешь знать, откуда придет хана советской власти? Я тебе скажу. Хана придет от водки. Сейчас, я думаю, процентов шестьдесят трудящихся надирается к вечеру. И показатели растут. Наступит день, когда упьются все без исключения. От рядового до маршала Гречко. От работы до министра тяжелой промышленности. Все, кроме пары-тройки женщин, детей и, возможно, евреев. Чего для построения коммунизма будет явно недостаточно... И вся карусель остановится. Заводы, фабрики, машинно-тракторные станции... А дальше — придет новое татаро-монгольское иго. Только на этот раз — с Запада. Во главе с товарищем Киссинджером...

Беляев посмотрел на часы:

— Ты, я знаю, в Ленинград собрался. Мой тебе совет — не vznikай. Культурно выражаясь — не чирикай. Органы воспитывают, воспитывают, но могут сдуру и покарать. А досье у тебя посильнее, чем «Фауст» Гете. Материала хватит лет на сорок... И помни, уголовное дело — это тебе не брюки с рантом. Уголовное дело шьется в пять минут. Раз — и ты уже на стройках коммунизма... Так что веди себя потише... И еще, к вопросу пьянки. Пей, но в меру, делай интервалы. И не путайся ты с этим чеканутым Марковым. Валера местный, его не тронут. А у тебя — жена на Западе. К тому же опусы в белогвардейской прессе. Выступлений — полное досье. Смотри, заделают тебе козу... Короче, пей с оглядкой. А теперь давай на посолок...

Мы снова выпили.

— Идите, — перешел на «вы» майор.

— Спасибо, — говорю.

Это было единственное слово, которое я выговорил за полчаса.

Беляев усмехнулся:

— Беседа состоялась на высоком идейно-политическом уровне.

Уже в дверях он шепотом прибавил:

— И еще, как говорится — не для протокола. Я бы на твоём месте рванул отсюда, пока выпускают. Воссоединился с женой — и привет... У меня-то шансов никаких. С моей рязанской будкой не пропустят... А тебе — советую. Подумаю. Это между нами, строго конфиденциально...

Я пожал ему руку, кивнул хмурой даме и вышел на залитую солнцем улицу.

Я шел и думал — мир охвачен безумием. Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда...

Я оставил велосипед на почте. Сказал — для Люды из Березина. Пешком забрался в гору. И наконец, дождавшись рейсового автобуса, поехал в Ленинград.

В дороге я заснул и проснулся с ужасной головной болью...

Ленинград начинается постепенно, с обесцвеченной зелени, гулких трамваев, мрачноватых кирпичных домов. В утреннем свете едва различимы дрожащие неоновые буквы. Безликая толпа радуется своим невниманием.

Через минуту вы уже снова горожанин. И только песок в сандалиях напоминает о деревенском лете...

Головная боль не дала мне привычно обрадоваться ленинградской сутолоке, речному ветру и ясности каменных улиц. Чего стоят одни лишь тротуары после надоевших холмов...

Я вышел из автобуса на площади Мира. Затем остановил такси и через пятнадцать минут был дома.

Дверь мне отворила незнакомая смеющаяся женщина в тельняшке:

— Вы от Шахновичей? Вас послали за кофеваркой?

— Нет, — сказал я.

— Ваша фамилия — Азарх?

— Я Танин муж, — говорю...

Вышла Таня с коричневым полотенцем на голове. Появилась дочка, бледная, с испуганными глазами. Сказала:

— А, это папа...

Дом был наполнен таинственными личностями. Из всех присутствующих я узнал только музыковеда Лазарева да еще фарцовщика Белугу.

В квартире было шумно. Незнакомый лысый человек беседовал по телефону. Он то и дело повторял:

— Это практического значения не имеет...

Все по очереди заговаривали с Таней. Худой, бородатый старик почти кричал:

— Надеюсь, господа, тут все свои?! Так что позвольте мне забыть о конспирации. Я должен передать кое-что Александру Исаевичу Солженицыну...

Дальнейшее старик отчеканил хорошо поставленным голосом:

— Я разрешаю Солженицыну опубликовать без купюры мою фронтную поэму «Люська». Причитающийся мне гонорар я отдаю в фонд Солженицына. Упомянуть при этом мою настоящую фамилию категорически запрещается. Мой псевдоним — Андрей Колымский!..

На столах и подоконниках громоздились бутылки. Заметно пьяных не было. Всех связывало что-то общее, хотя здесь присутствовали не только евреи. Кто-то собирал неведомые подписи, размахивая зеленым блокнотом.

На кухне в ряд стояли чемоданы. Это были одинаковые новые чемоданы с металлическими замками. Они вызывали у меня чувство безнадежности...

На кровати валялась гитара...

В разговорах мелькали слова: «овир», «хиас», «берлинский рейс», «таможенная декларация»...

Я чувствовал себя абсолютно лишним. И даже обрадовался, когда незнакомая женщина поручила мне спуститься за чаем.

Перед этим я выпил, и мне стало легче. О вреде спиртного написаны десятки книг. О пользе его — ни единой брошюры. Мне кажется, зря...

Прошло несколько часов. Таня упаковывала забытый фотоаппарат. Маша дарила на память гостям черноморские камешки.

Они несколько раз подходили ко мне. Мы произносили какие-то бессмысленные слова:

— Не скучай, пиши... Все будет хорошо...

Я знал — кошмар начнется завтра. И еще подумал — зато мне достанется выпивка...

Маша сказала:

— А нам выдали доллары. Хочешь посмотреть?

Я сказал:

— Хочу...

Потом обсуждалось какое-то сообщение израильского радио.

Люди приходили, уходили. Таня записывала адреса и поручения...

Не обошлось и без скандала. Лысый парень напился и выкрикнул:

— Ну что, бежите с тонущего корабля?!

Но ему возразили:

— Значит, корабль тонет? И это мы слышим от члена партии?!

— Я — беспартийный, — реагировал скандалист, — мне обидно, что выпускают только евреев!

— Разве ты не еврей?

— Еврей, — ответил лысый...

Я выбрал момент и сказал:

— Таня, будешь в Америке, разыщи Карла Проффера. Он собирался издать мою книгу.

— Сказать, чтобы издавал?

— И побыстрее. Терять мне нечего.

— Я тебе все напишу между строк...

Тут Лазарев сказал, что уже — шесть. Надо было ехать в аэропорт. Мы заказали несколько такси, сели и доехали почти одновременно.

Таня и Маша сразу ушли за барьер — оформлять декларации. Мы бродили по залам. Кто-то захватил из дома бутылку водки.

Белуга подошел ко мне и говорит:

— Молодец, что не падаешь духом.

Я ответил:

— Этого еще не хватало! Женюсь по новой и заделаю кучу ребятишек.

Белуга удивился и покачал головой...

Таня раза четыре подходила к барьеру. Передавала мне вещи, задержанные таможей. В том числе: янтарные бусы, мою армейскую фотографию и роман Гладилина с дарственной надписью.

То, что вернули фотокарточку, очень рассердило Мишу Лазарева. Он сказал:

— Это что за фокусы?! Где справедливость?

Ему возразил Белуга:

— Будь справедливость, тогда зачем и уезжать?!..

Я снова выбрал момент и говорю Тане:

— Как ты думаешь, мы еще увидимся?

— Да, я уверена. Совершенно уверена.

— Тогда я, может, поверю, что Бог — есть.

— Мы увидимся. Бог есть...

Мне бы хотелось ей верить. Я готов был поверить... Но почему я должен верить ей именно сейчас? Я же не верил, когда она говорила, что Альберто Моравиа — хороший писатель...

Затем мы все поднялись на какой-то балкон. Смотрели, как Таня и Маша заходят в автобус.

Время остановилось. Эти несколько секунд я ощутил как черту между прошлым и будущим.

Автобус тронулся.

Теперь можно было ехать домой, не прощаясь...

Одиннадцать дней я пьянствовал в запертой квартире. Трижды спускался за дополнительной выпивкой. Если мне звонили по телефону, отвечал:

— Не могу говорить...

Отключить телефон не хватало решимости. Вечно я чего-то жду...

На четвертый день пришла милиция. Утром в дверь постучали, хотя звонок работал. К счастью, была заброшена цепочка. В дверном проеме блеснул лакированный козырек. Раздалось уверенное, нетерпеливое покашливание.

Я не боялся милиции. Просто не мог разговаривать с властями. Один мой вид чего стоил... Я спросил:

— В чем дело? Предъявите ордер... Существует закон о неприкосновенности жилища...

Милиционер с угрозой выговорил:

— Ордер не проблема.

И сразу же ушел. А я вернулся к моим бутылкам. В любой из них таились чудеса...

Прошло двадцать минут. Что-то заставило меня посмотреть в окно. Через двор шагал наряд милиции. По-моему, их было человек десять.

Я слышал их тяжелые шаги на лестнице. Потом они звонили, резко и нетерпеливо.

Я не реагировал.

Что они могли сделать? Взломать старинную петербургскую дверь? На шум сбежалась бы вся улица Рубинштейна...

Милиционеры топтались на площадке около часа. Один из них прокричал в замочную скважину:

— Дайте разъяснения по нижеперечисленным статьям Уголовного кодекса. Притонодержательство, тунеядство, неповиновение властям...

Статей было так много, что я решил об этом не думать.

Милиционеры все не уходили. Кто-то из них оказался хорошим психологом. Он постучал в дверь и крикнул:

— Можно попросить стакан холодной воды?!

Видимо, рассчитывал на мою сентиментальность. Или на чудодейственную силу абсурда...

Я не реагировал.

Наконец милиционеры сунули под дверь листок бумаги и ушли. Я видел, как они пересекают двор. На этот раз я их пересчитал. Шесть козырьков поблескивали на солнце.

Бумага оказалась повесткой, которую я разглядывал минуты три. В конце говорилось: «Явка обязательна». Фамилии следователя — не было. Названия дела, по которому меня вызывали, — тоже. Не было даже указано, кто я: свидетель, ответчик или пострадавший. Не было даже номера комнаты. Только — время и дата.

Я знал, что такие повестки недействительны. Меня научил этому Игорь Ефимов. И я кинул повестку в мусорный бак...

Милиция затем приходила еще раза четыре. И я всегда узнавал об этом заранее. Меня предупреждал алкоголик Смирнов.

Гена Смирнов был опустившимся журналистом. Он жил напротив моего дома. Целыми днями пил у окна «Шартрез». И с любопытством поглядывал на улицу.

А я жил в глубине двора на пятом этаже без лифта. От ворот до нашего подъезда было метров сто.

Если во двор заходил наряд милиции, Смирнов отодвигал бутылку. Он звонил мне по телефону и четко выговаривал единственную фразу:

— Бляди идут!

После чего я лишний раз осматривал засовы и уходил на кухню. Подальше от входных дверей.

Когда милиция удалялась, я выглядывал из-за портьеры. В далеком окне напротив маячил Смирнов. Он салютовал мне бутылкой...

На одиннадцатые сутки у меня появились галлюцинации. Это были не черти, а примитивные кошки. Белые и серые, несколько штук.

Затем на меня пролился дождь из червячков. На животе образовались розовые пятна. Кожа на ладонях стала шелушиться.

Выпивка кончилась. Деньги кончились. Передвигаться и действовать не было сил.

Что мне оставалось делать? Лечь в постель, укрыться с головой и ждать. Рано или поздно все это должно было кончиться. Сердце у меня здоровое. Ведь протащило же оно меня через сотню запоев.

Мотор хороший. Жаль, что нету тормозов. Останавливаюсь я только в кювете...

Я укрылся с головой и затих. В ногах у меня копошились таинственные, липкие гады. Во мраке звенели непонятные бубенчики.

По одеялу строем маршировали цифры и буквы. Временами из них составлялись короткие предложения. Один раз я прочел:

«Непоправима только смерть!..»

Не такая уж глупая мысль, если вдуматься...

И в этот момент зазвонил телефон. Я сразу понял, кто это. Я знал, что это — Таня. Знал, и все.

Я поднял трубку. Из хаоса выплыл спокойный Танин голос:

— Привет! Мы в Австрии. У нас все хорошо... Ты выпил?

Я рассердился:

— Да за кого ты меня принимаешь?!..

— Нас встретили. Тут много знакомых. Все тебе кланяются...

Я стоял босой у телефона и молчал. За окном грохотал перфоратор. В зеркале отражалось старое пальто.

Я только спросил:

— Мы еще встретимся?

— Да... Если ты нас любишь...

Я даже не спросил — где мы встретимся? Это не имело значения. Может быть, в рай. Потому что рай — это и есть

место встречи. И больше ничего. Камера общего типа, где можно встретить близкого человека...

Вдруг я увидел мир как единое целое. Все происходило одновременно. Все совершалось на моих глазах...

Моя жена сказала:

— Да, если ты нас любишь...

— При чем тут любовь? — спросил я.

Затем добавил:

— Любовь — это для молодежи. Для военнослужащих и спортсменов... А тут все гораздо сложнее. Тут уже не любовь, а судьба...

Потом что-то щелкнуло и все затихло.

Теперь надо было уснуть в пустой и душной комнате...

Июнь 1983 года

Нью-Йорк

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Письмо издателю</i>	<i>3</i>
<i>Зона. Записки надзирателя . . .</i>	<i>5</i>
<i>Компромисс</i>	<i>131</i>
<i>Заповедник</i>	<i>267</i>

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ

ЗОНА

КОМПРОМИСС

ЗАПОВЕДНИК

Главный редактор изданий поэзии и русского зарубежья

Юнна Мориц

Редактор *Нина Лошкарева*

Художественный редактор *Федор Меркуров*

Технический редактор *Лидия Золотухина*

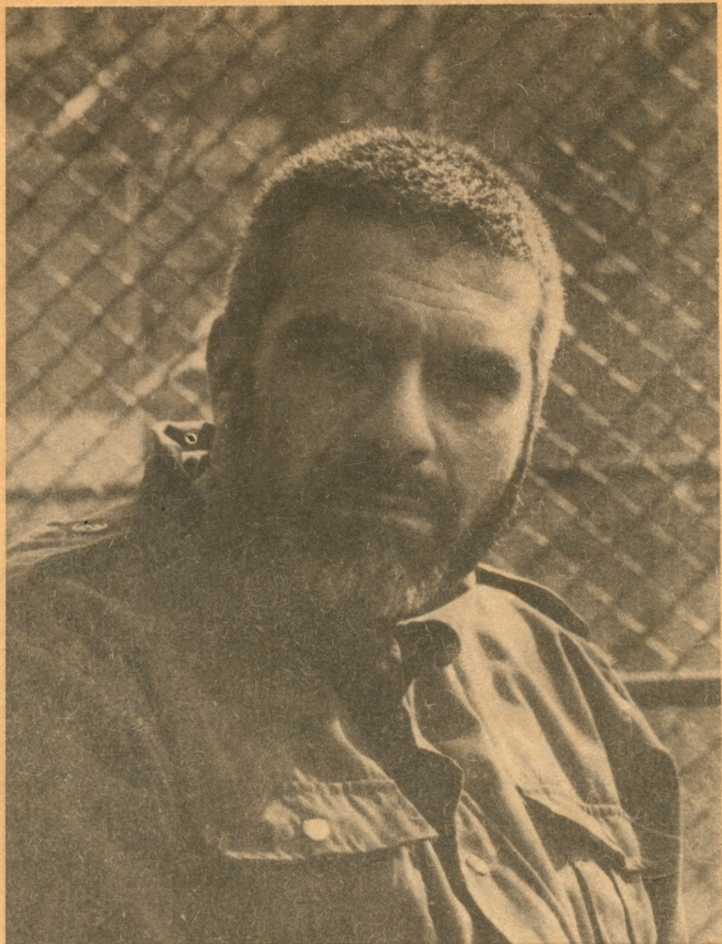
Корректоры *Софья Михайлина, Наталья Худякова*

Сдано в набор 10.10.90. Подписано к печати 25.02.91.
Формат 60 × 90¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура обыкновенная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 22. Тираж 100 000 экз. Зак. № 545.
Цена 8 руб.

Независимое издательство ПИК

103104, Москва, Тверской бульвар, 25

Отпечатано с готовых диапозитивов на Можайском полиграфкомбинате
В/О „Совэкспорткнига“ Государственного комитета СССР по печати.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.



Сергей Довлатов родился в 1941 году в Уфе. Учился и жил в Ленинграде. Был призван в Советскую Армию, где служил надзирателем в уголовном лагере особого режима. Три года работал в Эстонии журналистом, два сезона — экскурсоводом в Пушкинском заповеднике. Публиковать свою прозу в Советском Союзе не мог, набор его первой книги был уничтожен по распоряжению КГБ.

С 1976 года Сергей Довлатов публиковался на Западе, за это был исключен из Союза журналистов СССР. В 1978 году эмигрировал в США, жил в Нью-Йорке, за двенадцать лет издал двенадцать книг, которые вышли в Америке и Европе на пяти языках.

Летом 1990 года Сергей Довлатов скоропостижно скончался в Нью-Йорке в расцвете своей творческой славы, не издав ни одной книги на родине.

ПИК — первое отечественное издательство, пригласившее Сергея Довлатова к сотрудничеству и при жизни автора заключившее договор на публикацию его произведений.